

НОВИЧКИ • СОВРЕМЕННИКА •

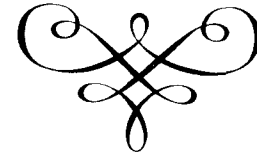
Юрий Нагибин

МУЗЫКАНТЫ



Юрий Нагибин

МУЗЫКАНТЫ



Князь
Юрка Голицын

•
Блестящая
и горестная жизнь
Имре Кальмана

Иллюстрации
В. ЮДИНА

Оформление
В. ГРИГОРЬЕВА

Князь Юрка Голицын



Нагибин Ю. М.

H16 Музыканты: Повести. — М.: Современник, 1986. — 302 с. — (Новинки «Современника»).

В сборник известного советского писателя Юрия Нагибина вошли новые повести о музыкантах: «Князь Юрка Голицын» — о знаменитом капельмейстере прошлого века, создателе лучшего в России народного хора, пропагандисте русской песни, познакомившем Европу и Америку с нашим национальным хоровым пением, и «Блестящая и горестная жизнь Имре Кальмана» — о прославленном короле оперетты, принявшем традиционному жанру новые ритмы и созвучия, идущие от венгерско-цыганского мелоса — чардаша.

H 4702010200 — 326
М106(03) — 86 — 62 — 86

ББК84Р7
P2

С детства и до седых волос его звали «Юрка». Не «Юрий» и не «Georges», как было принято в тех кругах, где он вращался; французов изгнали с горьких полей России, но не из гостиных, не из пансионов и классных комнат — месье и мадам по-прежнему оставались главными наставниками дворянских детей. Аристократы изъяснялись только по-французски, иные, как военный министр, впоследствии шеф жандармов, князь В. А. Долгоруков, не могли набросать по-русски коротенькой записки; сам Николай I, русский царь, бестрепетной рукой писал: «армия», «первый», «пушай». О том, как прижилась к Голицыну, красавцу-богатырю, его кличка, красноречиво свидетельствует такой случай. Когда он женился, молодая Голицына сочла необходимым представиться его тетке Долгоруковой. Красивая, гордая до спесивости дама приняла новую родственницу необъяснимо сухо. Она небрежно осведомилась: «Который Голицын ваш муж?» «Georges», — пролепетала Екатерина Николаевна, маленькая, миловидная, ужасно застенчивая. Долгорукова холодно кивнула и повела своих гостей показывать недавно приобретенные картины. Екатерина Николаевна ушла от нее в слезах. Об этом стало известно другой тетке князя — Потемкиной. При встрече она укорила сестру за дурной прием, оказанный жене Юрки.

— Как — Юрки? — вскричала пораженная Долгорукова. — Что же она сразу не сказала? А выдала себя за жену какого-то Жоржа. Мне и в голову не пришло, что речь идет о Юрке.

И она хотела немедленно ехать к Екатерине Николаевне с извинениями.

Юрку Голицына любили и побаивались. У этого колосса с простодушным, открытым лицом, рано украсившимся величественными бакенбардами, усами и подусниками, был живой, насмешливый ум, острый язык и всегдашняя готовность к действию: мужчину, даже родовитого, он мог запросто поколотить, а потом с величайшим хладнокровием вый-

ти к барьеру, женщину смутить, выставить душой. И все-таки его любили — за сердечность, честность, размах, прямоту. Недаром профессор Московского университета А. З. Зиновьев говорил: «Даже самые недостатки князя Голицына более симпатичны, чем достоинства других».

Голицын принадлежал к одному из лучших родов, ведущих свое начало от Гедимины; лишь Рюриковичи — потомки легендарного варяга — считались еще знатнее. Тот Гедиминович, от которого пошла фамилия Голицын, был сыном боярина Булгака и правнуком князя Новгородского и Ладожского Нормунда (в крещении Глеба), что приходился сыном великому Гедимину. Голицына¹ прославился в походах «мышцей бранной». Он удачно воевал против крымских татар и менее счастливо — против Литвы. Взятый в плен под Оршей, он освободился лишь за два года до смерти, которую встретил послушником в Троице-Сергиевом монастыре.

Его сын умножил воинскую славу Голицыных, удержав хана Саип Гирея на Пахре; в дальнейшем он был одним из главных воевод при взятии Казани. В роду Голицыных числилось двадцать два боярина, три окольничих, два кравчих. Словом, на предков Юрию Голицыну не приходилось жаловаться. Он не кичился своей знатностью, слишком бесспорной и непреложной, идущей из глубины веков, из полупоэтической тьмы. Что не мешало этому противоречивому человеку ронять такие сентенции: «Мне приходилось позволять аплодировать себе даже тем, у кого нет предков». Он был создателем и капельмейстером сперва крепостного хора, а после освобождения крестьян — наемного хора, с которым объездил пол-России.

Как только его не называли: «последний из могикиан российского барства», «обломок всея Руси», — не уместившийся в обычных пределах, он поражал современников перепадами своего оригинальнейшего характера, порожденного русскими пространствами, грозами и ветрами, вьюгами и метелями, печалью бескрайней земли и бешеной удалью, без которой не одолеть, не осилить пустынной разобщенности. И все же мне не пришло бы в голову тревожить тень бывшего баловня гостиных, губернского витии, блистательного камергера, бесстрашного дуэлянта, кутилы, картежника, любимца женщин и остроуслова, если бы он не

¹ Голицына — кожаная рукавица без подкладки, являвшаяся обязательной принадлежностью снаряжения, так сказать, «боевая рукавица». Прозвище это столь же «военное», как «Шишак», «Тигиль».

получил права в исходе своего века сказать: «Я не был рожден помещиком. И конечно, в чужих ли краях буду или на родине, однажды принятого решения я никогда не изменю и останусь тверд в намерении моем — жить собственным трудом».

Его детство складывалось так, чтобы дать полную волю неистовой натуре. Он рано потерял мать, которую обожал; для него, как и для Лермонтова, это оказалось невосполнимой утратой на всю жизнь. Когда служанка принесла ему горестную весть, малютка Гаргантюа сшиб ее с ног ударом кулачка. То была расплата за нестерпимую боль, какую она ему невольно причинила.

Отец его был личностью незаурядной. Высокоодаренный музыкант-любитель, один из лучших виолончелистов тогдашней России, меломан, тонкий музыкальный критик, он удостоился дружбы нелюдимого Бетховена, который написал и посвятил Голицыну увертюру «Освящение дома» и создал по его заказу три знаменитых «голицынских квартета». Усилиями Голицына состоялось исполнение величайшего после 9-й симфонии произведения Бетховена — «Торжественной мессы». Он привлек лучших артистов немецкой оперной труппы, выступавшей в Петербурге, и хор из певчих придворной капеллы.

Таланты Николая Борисовича Голицына не ограничивались музыкальной сферой: он писал стихи и одним из первых перевел на французский язык и лирику, и гражданские стихи Пушкина, за что поэт письменно благодарил его. Участник войны двенадцатого года, храбрый офицер, аристократ с головы до пят, европеец по взглядам, привычкам, всему поведению, он вступил в конфликт с официальной церковью, опубликовав в Лейпциге брошюру, содержащую хулу на русское православие. Он был фигурой своеобразной и вместе с тем типической. Серьезные размышления, окрашенные скепсисом, музицирование, чересчур осмотнительное, ибо он не хотел переступать черты, отделяющей чистоплутное дилетантство от черного пота профессионализма (на это решился его сын), не мешали ему быть дамским угодником, изящным светским пустословом, желанным и усердным посетителем салонов. Недогадливый, очень одаренный и едко умный человек, он прожил как-то сбоку от своего времени, не решившись всерьез вмешаться в его коловращение. Во всем он оставался на пороге: в музыке, поэзии, идейной борьбе — еще шаг, и он бы резко обрисовался, выделился в групповом портрете петербургских и провинциальных

светских львов. Но этого усилия он не сделал — не хотел.

Замечательно его равнодушие к сыну, нарушаемое изредка капризными вспышками нежности. Он охотно говорил, что любит, когда дети плачут. «Почему?» — недоумевал собеседник. «Потому что тогда их выводят из комнаты», — с меланхолической улыбкой отвечал хрупкий, благородно бледный, похожий на фарфоровую статуэтку сибарит. Состояние сыну досталось от матери — большое торговое село Салтыки в Тамбовской губернии, с несколькими тысячами душ, поэтому за его будущее отец был спокоен, впрочем, он и вообще не слишком волновался о судьбе сына, предоставив его заботам многочисленных тетушек, и даже поспешил сложить с себя опекуновство, как только вступил в новый брак. Дав сыну в наследство самое ценное: музыкальный дар, — правда, он и этому обстоятельству не придавал значения, — поклонник и вдохновитель Бетховена был глубоко равнодушен к успехам Юрки в искусстве, как и во всем прочем.

Лишь однажды испытал он чувство отцовской гордости, когда сын сыграл с ним довольно злую и неаппетитную шутку. Юрка рано начал появляться в свете, пожиная лавры сердцееда и остроумца. Он принадлежал к диаметрально противоположному типу мужчин, нежели его изящный, утонченный, с узкой кистью руки отец. Юрка — богатырь, косая сажень в плечах, с огромными лапищами, свободно охватывающими две октавы, румянец во всю щеку, из-под густых бровей ласково, чуть усмешливо смотрят большие коричневые чуть навывкате глаза. И в кого он таким уродился — не понять, мать тоже была нежного сложения, правда, тетки покрупнее, но вообще ни Салтыковы, ни Голицыны предыдущего поколения ни статью, ни дородством не отличались. В ту пору, о которой идет речь, Юрка еще оставался стройным, хотя внимательный взгляд мог высмотреть ту плотную осанистость с намеком на брюшко, которая придет к нему уже в тридцать лет, чтобы потом обрести раблезианские формы. Может быть, в этой несхожести коренилось равнодушие отца к сыну и одновременно дух соперничества: претендуя на особое внимание света, оба шармера — один уходящего, другой наступающего времени — ревниво следили за успехами друг друга, и не было для них большего удовольствия, чем взять верх у какой-то красавицы. Как ни странно, седеющий, сильно надушенный, с вольтеровской улыбкой на тонких бескровных губах и сероватой кожей кавалер нередко побеждал пышущего здоровьем и молодой силой соперника, не обделенного ни умом, ни находчивостью,

ни отвагой; даже характерное заикание придавало особый шарм Юрке.

Однажды после светского раута, на котором цветущая молодость капитулировала перед гниловатым очарованием старости, отец и сын, жившие в ту пору вместе, сошлись перекусить перед очередными визитами. Старый Голицын, одетый с особой тщательностью и изыском, раздушенный и напомаженный, собирался дать сыну последнее решительное сражение и, фигурально выражаясь, сбросить его за борт. И вдруг оказалось, что, подавленный неудачей, тот добровольно уступает поле боя. Лакей как раз принес «живой», невероятно пахучий лимбургский сыр, усладу гурманов. Но старик, хотя у него был легкий насморк, замахал руками, чтобы тот немедленно унес «эту гадость». Юрка остановил лакея. «Папа, я никуда не поеду, мне надо время, чтобы оправиться от вчерашнего фиаско. Останусь утешаться прекрасным сыром и шабли». «Как хочешь, мой мальчик», — самодовольно сказал Николай Борисович и потянулся за крылышком цыпленка. Он не заметил, что Юрка сунул ему в карман кусочек благоуханного сыра. Перед отъездом, сказав, что он весь пропах «гессенской заразой» — чувствительный нос учуял что-то сквозь насморочную слизь, — старый князь spryкнулся крепчайшими духами и в отменном расположении духа отправился с визитами. Каково же было его недоумение, перешедшее вскоре в ужас, когда и в элегантных будуарах он чувствовал гниlostный запах, а дамы, беседуя с ним, держали у носа платок.

Он требовал, чтобы швейцары осматривали его туалет, но все на нем было чисто и безукоризненно. В конце концов, совершенно убитый, он вынужден был прервать визиты и вернуться домой. Ему захотелось поделиться с сыном своей неудачей, но камердинер, помогавший ему раздеваться, сказал, что тот внезапно собрался и поехал с визитами. «Странно!.. — промолвил сбитый с толку князь. — Скажи-ка, любезный, а ты ничего не чувствуешь?» — и он пошевелил в воздухе пальцами. «Как не чувствовать, ваше сиятельство, когда вы изволите носить при себе столь ароматный продукт!» — и камердинер извлек из заднего кармана княжеских брюк смердящий кусочек. Князь расхохотался, ему понравилось, что сын прибегнул к столь низменной уловке, как бы признав тем самым превосходство отца, которого не мог осилить ни внешностью, ни умом, ни обаянием, а лишь куском червивого сыра. Кроме того, при всей утонченности он был страстным поклонником кюре из Медона, равно и Боккаччо, — безобразная выходка в панурговом духе достави-

ла ему радость погружения в пряное веселие ренессанса.

Но все это случилось гораздо позже, когда для Юрки пришла пора мятежной юности, а до этого было много всякой, не слишком веселой жизни. Николай Борисович недолго вдовствовал: через два года после смерти жены он сочетался по любви вторым браком. В знак протеста сын отказался присутствовать при брачной церемонии. Насильно облаченный в нарядный костюмчик, он забился в угол и не дал себя извлечь оттуда, несмотря на все усилия родных, мамушек и дюжих дворовых. Он брыкался, кусался, дрался, ревел и визжал, будто его режут. После этого Николай Борисович окончательно отступился от своего первенца, доверив его любовному, но бестолковому попечению мамушек, теток, бабушек. Потом настал черед гувернеров и учителей. Число семь — роковое в зоревой жизни Юрки Голицына: у него было семь кормилиц, семь нянек, семь гувернеров и семь учебных заведений. Можно подумать, что отсюда пошла поговорка: у семи нянек дитя без глаза. Трудно понять, почему он действительно не окривел, и еще труднее — почему не окривели его попечители. Чуть что, он пускал в ход кулаки, нисколько не соображая ни с возрастом, ни с положением, ни с физической силой истинного или воображаемого обидчика. Уже в Пажеском корпусе он неутомимо дрался на шпагах, лишь маской защищая лицо и пренебрегая остальными доспехами; войдя в раж, он продолжал ожесточенно сражаться с искомлотой рукой, с кровоточащими ранами по всему телу. Он был отважным и ловким бойцом, но пренебрегал обороной, верный одному призыву: вперед, в атаку! Сражаясь так яростно и кроваво, он сам редко наносил раны товарищам, сострадая чужой боли. Это первый и далеко не побочный признак художественной натуры — бережность к любой жизни. Вот почему ни меткий Пушкин, ни отличный стрелок и фехтовальщик Лермонтов, ни бесстрашный Кюхельбекер не побеждали ни на одной дуэли, а первые двое пали на «поле чести».

Под уклон дней Юрий Голицын решил написать воспоминания. Он составил весьма подробный конспект и несколько талантливых набросков, относящихся к разным периодам его жизни; мемуары так и остались в замысле. В той части, где конспект касается его детских лет, пестрят такие записи: «Пущенная чернильница в М. Charlon... Избиение француза Charlon воспитанниками пансиона Робуша в Харькове... Скандал мой с директором Метлеркампом. — Пущенные в него часы. — Небывалый способ

наказания шиповником... Пансион Тритена.— Безнравственность этого заведения и безобразия самого Тритена.— Я уже не дитя!»

Никаких подробностей князь не сообщал, да в них едва ли есть нужда.

Как уже говорилось, Николай Борисович поспешил скинуть с себя докучные путы опекуинства, когда сын находился в самом нежном возрасте; вместо одного полупризрачного отца Юрка получил кучу незримых покровителей, на которых ему нечего было жаловаться: любое его желание, любой каприз выполнялись беспрекословно, хотя и с некоторой канителью. Со школьным образованием Юрки дело явно не заладилось, к тому же рано и резко обрисовавшийся характер сына сулил немало тревог, и любящий тишину Николай Борисович благоразумно решил положить между собой и Юркой тысячу верст, отправив его в Петербург для поступления в Пажеский корпус.

Юрка не испытывал тяги к военной службе, был слишком распушен, своеволен и ничуть не склонен к подчинению даже слабой дисциплине. В нем с мальчишеских лет причудливо уживались мечты о светских победах с тягой к сельской жизни, вроде бы чуждой его живой, горячей и подвижной натуре. Возможно, в нем звучали родовые голоса? Но Пажеский корпус был доступен лишь сыновьям лиц III класса, а Николай Борисович дослужился в армии только до полковничьего чина. Надежду на избавление от Юрки он черпал в давнем полуобещании государя.

Несколько лет назад, когда Юрка жил у своей тетки княгини Екатерины Александровны Долгоруковой, терроризируя ее гостей и весь дом и, тем не менее, пользуясь всеобщей любовью, его взяли во дворец на детский костюмированный бал. Он был одет испанским пажом. Роскошный костюм с кружевами, лентами, золотым шитьем и буфами необыкновенно шел стройному мальчику, и, когда он ловко вел свою кузину в полонезе, вызывая восхищенный шепот придворных, на него обратил милостивое внимание император Николай I.

— Кто этот прелестный паж в красном костюме? — спросил он обер-камергера престарелого графа Головкина.

— Мой правнук Голицын, ваше императорское величество, — с грациозным поклоном вельможи екатерининских времен ответил старый царедворец и льстиво добавил: — От вашего величества зависит превратить его из красного в зеленый.

Николай не принадлежал к «быстрым разумом Невтонам», он уставился рачьими глазами на Головкина, поняв поначалу лишь одно, что к нему обратились с замаскированной просьбой, чего он не терпел на балах, но затем смекнул, что почтенный старец намекает на Пажеский корпус.

— Какого он Голицына сын? — строго спросил государь.

— Николая Борисовича, ваше величество.

— Штафирки? Музыканта?

— Он дрался под Бородином, проделал персидскую кампанию и вышел в отставку полковником.

— Этого мало, граф. Ему надо было дослужиться до генерал-лейтенанта.

Улыбаясь еще более тонко и почтительно, обер-камергер позволил себе напомнить государю, что предком юного Голицына был знаменитый петровский фельдмаршал Михаил Михайлович Голицын.

Николай не был силен в истории, он нахмурился.

— Ты говоришь о том Голицыне?..

— Да, ваше величество, о том самом, — подхватил придворный, — который на приказ Петра Великого снять осаду с Шлиссельбурга сказал посланному: «Передай государю, что я теперь принадлежу богу и России, а потом принесу повинную голову на плаху».

В жилах Романовых, идущих от пьяньенького Петра III, едва ли была хоть капля крови преобразователя России, тем охотнее подчеркивали они свое родство с великим предком, хотя мелочность, косность, приверженность к фрунту и муштре были полным отрицанием петровской идеи и сути.

— Что ж ты не договариваешь, граф, — важно сказал Николай, вспомнив сей исторический анекдот, а возможно и был. — Фельдмаршал взял Шлиссельбург, а на вопрос пращур а, какой он хочет награды, ответил: «Прости Репнина», — хотя князь Репнин был его злейшим врагом. Смелость, преданность, великодушие — надеюсь, твой правнук явит сии неперемненные качества русского дворянина. Он будет зачислен в Пажеский корпус кандидатом.

Но кандидат с самого начала отверг триединство, украшающее истинного русского дворянина: с завидной смелостью он заявил, что плевать хотел на Пажеский корпус и на военную карьеру, явив тем самым отсутствие преданности государю и великодушия к своему старому покровителю. Напрасно князь Илья Андреевич Долгоруков убеждал его, что Россия есть государство по преимуществу военное, стало быть, военная служба выше и важнее

всякой другой. Нигде нельзя так быстро выдвинуться, тем более что в воздухе стойко пахнет порохом, а государь взял на себя ответственность за сохранение всеобщего мира и неизменности европейского порядка. Эта политика надолго, так что рука дворянина должна лежать на эфесе шпаги. Он говорил с племянником, как со взрослым человеком, но взрослость и Юрка Голицын — две вещи несовместные.

Того, в чем не преуспел адъютант великого князя, добилась своим невинным лепетом одна из юных кузин Юрки: ему на редкость пойдет военная форма, он создан для коня, доломана и ментика, и, боже мой, разве устоит перед ним хоть одна красавица!.. Хотя кавалеру не было и одиннадцати лет, сердце его воспламенилось, а руки рванулись к оружию.

Но поступить в Пажеский корпус оказалось далеко не простым делом. Николай любил красивые жесты, любил произвести впечатление щедрости, великодушия, ничуть не заботясь о том, будет ли иметь последствие его милостивое движение. Так было и на этот раз. Кандидатов насчитывалось ни много ни мало сто пятьдесят человек, и большинство из них имело все преимущества перед Юркой Голицыным. Родичи кандидата не знали, как обойти это препятствие. Тревожить вторично Николая престарелый царедворец наотрез отказался. Вместо Пажеского корпуса Юрка попал в надежные теплые руки лучшего из своих гувернеров, месье Мануэля, седьмого по счету.

Этот молодой, миловидный и добродушный блондин, разительно не похожий на других французских наставников князя: чернявых, горбоносых, крикливых субъектов, нашел ключ к характеру маленького дьяволенка, каким Юрка вполне серьезно представлялся многим простым душам; приживалки княгини Долгоруковой настойчиво советовали прибегнуть к изгнанию беса по одному из древних надежных, хотя и опасных для здоровья, даже жизни одержимого, способов.

Мануэль никогда не перечил Юрке, но доводил каждую дурацкую, зачастую рискованную выходку своего воспитанника до абсурда. Юрка мчался на пруд, чтобы кинуться в заросшую рыской тухлую воду и, симулируя самоубийство, выгадать еще больше свободы, без того ничем не сдерживаемой. Мануэль опережал его и в своем голубом сверкающем золотыми начищенными пуговицами фраке кидался с мостков в пруд. Выныривал он облепленный водорослями, с запутавшейся в волосах ситой, до того

жалкий и несчастный, что у Юрки пропадало всякое желание «топиться». Если же он начинал буйствовать, реветь, кочевряжиться, кататься по полу и дрыгать ногами, месье Мануэль не пытался ему помешать, напротив, с заинтересованной улыбкой говорил: «Как славно! Одно удовольствие смотреть. Но не можете ли вы кричать чуточку громче? В прошлый раз у вас лучше получалось. Сегодня вы ленитесь». Мануэль не притворялся, не покусывал губ, чувствовалось, что шумное представление его не раздражает, а раз так, то оно утрачивало всякий смысл. Терпение у месье Мануэля было безгранично, добродушие беспредельно, и, отчаявшись вывести из себя легкого, уравновешенного человека, Юрка потерял вкус к приступам бешенства. К тому же месье Мануэль приятно пел, был ловок в физических упражнениях, не докучал чрезмерно науками, и Юрка всей душой привязался к своему молодому и всегда какому-то праздничному гувернеру.

И тут князем Николаем Борисовичем овладел один из редких приступов отцовской нежности: он решительно потребовал Юрку к себе. Одновременно пришли деньги на покупку лошадей, экипажа и дорожных припасов. Рыдающая княгиня Долгорукова в последний раз прижала к груди «бедного сиротку», которого не только не осуждала за буйный нрав, но любила и жалела всем своим большим теплым сердцем, и экипаж взял путь на Москву.

И сразу начались странности. Еще до выезда из Петербурга к Юрке и его гувернеру присоединилась славная компания: толстая женщина с рыжими волосами, ее чернявая дочь подросткового возраста и какой-то длинноносый субъект с обсыпанным перхотью воротником. Милого месье Мануэля как подменили. Он начал пить в карете, когда миновали Нарвскую заставу, продолжал под сенью придорожных кустов, там расстилалась скатерть-самобранка, в корчмах, на постоянных дворах, где запасы вин рачительно пополнялись. Он ни минуты не был трезвым. О Юрке он напрочь забыл, целиком посвятив себя рыжей толстухе. Он беспрерывно осыпал ее нежностями — целовал, обнимал, тискал и что-то шептал в большое красное ухо, оттянутое тяжелой серьгой. В карете было тесно, и потрясенного, забывшего о всей своей фанаберии Юрку уложили на пол. Он оказался притиснутым к жирным ногам пассивной месье Мануэля, их душное и беспокойное соседство было так нестерпимо, что он поднял крик. Тогда его пересадили на козлы, как казачка или лакея, но и этого унижения оказалось мало, на козлы забралась чернявая и стала просве-

шать мальчика по части тех упражнений, которым успешно предавались в карете ее мать с месье Мануэлем. Юрка не знал, куда деваться от ее унижительных и стыдных прикосновений. Но поднять руку на «женщину» этот рыцарь не мог.

Как ни наивен был Юрка, он быстро разобрался в происходящем: месье Мануэль увез жену от мужа, в похищении ему помогал длинноносый проходивец. Мануэль вовсе не был злодеем, но расслабленным пьяницей, он сразу попал под каблук своей подруги, принеся ей в жертву воспитанника. Он не изменился к Юрке, но был поставлен перед выбором: либо любовь и вино, либо удобства избалованного барчонка, естественно, он выбрал первое и отводил душу после долгого воздержания.

Когда же прибыли в Курск и устроились в гостинице, вся компания внезапно исчезла, как сквозь землю провалилась. Юрке показалось даже, что пьяный сластолюбивый француз, рыжая толстуха, чернявая девка-безобразница и длинноносый сводник, осыпанный перхотью, приснились ему в долгом мучительном сне. Потом он смекнул, что муж сбежавшей красавицы (ее звали мадам Пикар) предпринял розыск, беглецы пронюхали об этом и поспешили скрыться. Больше он никогда не слышал о месье Мануэле, вынырнувшем из заросшего пруда, но потонувшем в водочном разливе.

Дальние родственники Полторацкие снабдили брошенного мальчика деньгами для продолжения путешествия — имение отца находилось в ста восьмидесяти верстах от Курска. Юрка купил лишь самое необходимое: два тульских пистолета, шпоры, кинжал в бархатных ножнах и саблю «тупого достоинства». В таком виде он отважно пустился в путь и благополучно прибыл в Богородское, ошеломив чуть не до мозгового удара добрую бабушку Веру Федоровну своим видом разбойника из комической оперы.

Но как ни худо было путешествие с пьяным Мануэлем на полу кареты или на козлах с чернявой девкой, то была увеселительная поездка по сравнению с новым вояжем. Отцовские чувства Николая Борисовича и вообще-то прохладные, окончательно остыли, когда он понял, какое сокровище получил. Он посылал Юрку в разные сомнительные учебные заведения, но ничего, кроме кратких передышек, это не приносило. Буйный отпрыск возвращался в родной приют еще более ожесточенным, и отчаявшийся поэт-меломан взмолился, чтобы петербургские родственники любыми способами определили Юрку в Пажеский корпус. Способ

такой нашелся: Юрку можно было устроить экстерном, что давало все преимущества пажа, но жить и столоваться надо было у офицера-воспитателя.

То ли на свете действительно слишком много плохих людей, то ли Юрка обладал свойством притягивать их, как магнит, но по сравнению с тем человеком, которому Николай Борисович поручил доставить сына в Петербург, грешный Мануэль был образцом порядочности и чистоты. Самое странное, что чиновник Э., ехавший по казенной надобности в столицу, пользовался в Одессе, где тогда проживали Голицыны, репутацией «рыцаря честности». Получив на экипировку своего подопечного 2 500 рублей ассигнациями (ехать предстояло по зимнику), достойный Э. купил ему волчью шубку («даже не хребтовую, а из-под лопаток» — жалуется Голицын в своих записках), козловые ботинки, ушанку, рукавицы и ямщицкий красный кушак. Выехали в разгар зимы тройкой, но уже после первой станции продолжали путь парой, ибо честнейший Э. клал себе в карман прогоны за третью лошадь. Морозы заворачивали круто, и в своей дрянной одежонке Юрка совсем бы замерз, если бы не согревался в борьбе с Э., пристававшим к нему с гнусными домогательствами. Юрка был не по годам сильный мальчик, он умел дать отпор, но это лишь распалало его покровителя.

Между Мценском и Тулой повозка опрокинулась, придавив Юрке ноги. Г-н Э., разумеется, не пострадал. Все усилия поставить возок на полозья ни к чему не привели. Ямщик отпряг лошадей и вместе с Э. поскакал в ближайшую деревню за подмогой. Пуржило, и тамошние мужики заломили, как показалось Э., непомерную цену за оказание пустяковой помощи. Тогда он спросил себе самовар и стал отогреваться чаем с ямайским ромом, ожидая, когда уляжется пурга и мужики станут сговорчивей. Но метель завернула круто — на всю ночь.

Когда же утром распогодилось и умерившие свою алчность мужики прибыли на место происшествия и увидели под опрокинувшимся возком занесенного снегом мальчика, они чуть не убили г-на Э. «Нехристь ты, барин! Сказал бы сразу, что человек погибает, мы бы задаром пошли». «Знаю я вас, бестии! — отозвался Э. — Вы бы вдвое заломили!» «Как тебя земля носит?» — горько сказал дюжий мужик, извлекая из-под возка кричащего от боли мальчика. «Поговори еще, — пригрозил Э. — Живо к становому отправлю».

У Юрки оказались поморожены ноги, его кое-как от-

терли, но в петербургский дом дяди внесли на руках. Э. не стал задерживаться для выслушивания благодарности и сгинул, подобно славному Мануэлю. Болел Юрка долго, и это на полтора года отсрочило его поступление в Пажеский корпус.

А через много лет на bals-paris в петербургском собрании к нему подошел хорошо ожиревший господин и спросил с любезно-иезуитской улыбкой: «Вы меня не узнаете, ваше сиятельство?» «Очень даже узнаю, — громко ответил князь. — Вы тот самый негодяй, с которым восемнадцать лет назад я ехал из Одессы в Петербург». Г-на Э. как ветром сдуло.

Не было, наверное, в корпусе другого подростка, столь равнодушного к воинским подвигам и воинской славе, как Юрка Голицын. Еще в ранние годы он ощутил в себе странное, неосознанное влечение к тому, что в конце концов стало его судьбой. Он любил духовное пение и усердно посещал церковь; если представлялась возможность, охотно пел на клиросе рано переломившимся из петушиного хриповатого дисканта в мягкий баритон голосом. Его волновали крестьянские песни, которые доводилось слышать то в людской, то в поле, то на гумне или на деревенских уличных гуляньях во время гостевания у своих многочисленных сельских родичей. И всегда ему казалось, что можно петь еще лучше, складнее, чище и разливистей, если вникнуть в тайную душу песни.

Может быть, очарование народной песни и влекло его к сельской жизни. В редкие минуты раздумий о будущем он видел господский дом с белыми колоннами, домовую церковь с маленьким, но вышколенным хором, которым он сам управляет; ему рисовались патриархальные, неспешные радости, долгое многолюдное застолье, скандалы над зеленым сукном карточных столов, бестолковые, шумные, хмельные псовые охоты (хотя сам не любил охотиться, жалея зверя и птицу), вся густота провинциального дворянского быта, над которым звенит и томится песня. Нет, он не собирался жиреть в барском безделье, он видел себя благодетелем края, дворянским предводителем, свято блющим шляхетские права и вольности, но не забывающим и о сырых мирах сего, внушающим всюду любовь и трепет, он видел себя в е л ь м о ж е й. Конечно, ему придется порой являться ко двору в парадном мундире со звездой и золотым камергерским ключиком, но он не из паркетных шаркунов и, хлебнув пряного столичного успеха, поспешит назад к своим пенатам, трубкам, лошадям, музыке

и песням. Да, странны были подобные мечты у сорванца, драчуна, позже повесы и бретера, первого безобразника в Пажеском корпусе. Иные пажи любили бороться, Юрка клал на лопатки всех. Но распластанным задирам мерещились лавры Суворова, Багратиона, Ермолова, а их могучий победитель видел себя либо на клиросе, либо на диване с вишневой трубкой в зубах, дремлющим под пленительную тихоструйную музыку. За первородный грех люди расплачиваются внутренним разладом: огнедышащий вулкан мечтает о покое, мелкий ручеек — о буре.

Проказы юного Голицына навсегда вошли в анналы Пажеского корпуса. Конечно, они бледнеют перед гомерическими подвигами воспитанников юнкерского училища, воспетого Лермонтовым, но ведь Пажеский корпус был привилегированным заведением, за которым не ленился приглядывать сам государь.

Иные проделки Голицына были вполне невинного свойства, но в те суровые времена, когда крепкая рука Николая душила всякое проявление свободы и целых народов, и отдельных личностей, мелких провинностей не существовало. Серо-голубые навывкате глаза с равной зоркостью подмечали легчайшее смещение равновесия в Европе и плохо пришитую пуговицу на солдатском мундире или не по форме длинный офицерский темляк, — все отступления от канона были равно преступны в сознании государя с его наследственным педантизмом и диким испугом, пережитым в начале царствования. Кары были неравнозначны проступкам, мнимый правопорядок знал лишь крайние меры.

С детских лет Голицын обожал представления, а в юности стал заядлым театралом. Его совсем не устраивали те редкие посещения театра, которые разрешались и даже предписывались пажам для развития в них чувства прекрасного. Голицын испытывал неодолимую потребность куда чаще утолять свою эстетическую жажду, особенно если на сцене гремел неистовый Каратыгин или уносила душу в горнее царство божественная Воробьева.

Однажды, раздобыв штатское платье и слегка загримировавшись, — взбил волосы, приклеил баки, подчеркнул молодые усы, — он отправился в Итальянскую оперу и взял кресло в партере. Еще не грянула увертюра к Россиниевой «Семирамиде», как он обнаружил в угрожающей от себя близости директора Пажеского корпуса. Конечно, можно было скрыться, воспользовавшись суматохой, какую неизменно создают снобы-меломаны, появляясь в зале перед взмахом дирижерской руки, но не таков был Юрка. Он

понял, что и отец-командир его приметил, и решился на отчаянный шаг. Купив в антракте коробку шоколадных конфет, он подошел к генералу, чуть волоча ногу, изысканно поклонился и представился: князь Голицын из Харькова, по делам в столице, и попросил передать конфеты своему шалуну-племяннику. Голицын сильно и очень характерно заикался, что делало его игру вдвойне рискованной. И директор сказал с насмешкой, умеряемой не окончательной уверенностью:

— Я как будто слышу голос вашего племянника.

— Н-не голос, ваше превосходительство, — словно подавляя легкую досаду, сказал «приезжий». — В-вы им-меете в виду н-наше фамильное з-з-з-заикание! — на последнем слове князь так запнулся, что окружающие стали оборачиваться.

— Господь с вами, ваше сиятельство! — смутился добрый старик, забывший в эту минуту, что ни один из знакомых ему многочисленных Голицыных и не думал заикаться, кроме шалуна-пажа. — Я с удовольствием п-передам! — невесть с чего он заикнулся и густо покраснел: не хватало, чтобы князь принял это за передразнивание. Но язык будто связало. — П-почту з-за честь выполнить ваше п-поручение.

Князь Голицын подозрительно глянул на несчастного генерала и строго спросил:

— Н-не шалит?

— Упаси бог! — воскликнул вконец смутившийся генерал.

Князь отвесил церемонный поклон и смешался с толпой.

На другой день директор с перевязанной бомбоньеркой явился в класс и вызвал Голицына.

— А! В-вот и мои к-конфеты прибыли! — обрадовался тот.

Это случайно вырвавшееся у Юрки восклицание не насторожило генерала. Внушительным и добрым голосом директор — его не переставало мучить раскаяние перед щепетильным провинциалом, которого он невольно — нечистый попутал! — передразнивал, — сказал кадету несколько милостивых слов, призвал почитать родственников и выразил сожаление, что не свел более близкого знакомства со столь достойным человеком.

— Не т-теряйте н-надежду, в-ваше превосходительство, — дерзко ответил кадет. — Ведь я с-сам себе дядя.

Зная Юрку как отпетого шалуна, директор счел это мало удачной остротой и, ничуть не подвергнув сомнению лич-

ность своего вчерашнего знакомого, внушительно произнес:

— Не остроумничайте, Голицын. Пора бы и повзрослеть. Я хорошо аттестовал вас вашему дяде, не заставляйте меня жалеть о своих словах.

Он вышел, оставив насмешника с открытым ртом...

Но не все проделки Голицына носили столь безобидный характер, случались и похуже.

Одна из них едва не привела к весьма плачевным последствиям.

Они практиковались в неурочное время в фехтовальном зале. Все было, как обычно: Голицын дрался самозабвенно и рыцарственно, без колета и наручей, в батистовой рубашке с расстегнутым воротом. Его исколотая грудь сочилась кровью, но, не обращая внимания на раны, он одолевал одного соперника за другим: или обезоруживая их, или приставляя к горлу кончик шпаги. Потом уже никто не помнил, с чего все началось и почему Голицын вдруг расхвастался предками. «Местничество» было чуждо родовой, но ироничной молодежи корпуса, а Голицын вообще стоял выше всех счетов. Но тут из него хлынуло безудержное бахвальство. Помянуты были восторженным словом и те, кто оставил приметный след в русской истории: и Василий, друг сердечный царевны Софьи, уничтоживший местничество в армии, столь мешавшее успехам русского оружия, закрепивший за Россией Киев и увенчанный лаврами за неудачный Крымский поход, и знаменитый Верховник Дмитрий Михайлович, пытавшийся ограничить самодержавную власть хилым подобием английского парламента, и возведенные разошедшимся Юркой в величайшие полководцы России: Юрий Михайлович, осрамивший Саип Гирея и бравший Казань, и его внук Василий Васильевич, воевода полка левой руки под Нарвой (о двусмысленных действиях этого гибкого мужа в пору двух самозванцев Юрка деликатно умолчал, зато очень одобрил его младшего брата Андрея, сковырнувшего второго Лжедмитрия), о Борисе Алексеевиче, пестуне молодого Петра, он говорил со слезой, не жалел похвал двум фельдмаршалам, особенно Александру Михайловичу, прошедшему военную выучку у самого Евгения Савойского, а закончил панегириком Дмитрию Владимировичу, блестяще проявившему себя под Бородином. Возможно, Юрка наивно и бессознательно хотел объяснить истоки своего боевого бесстрашия.

— Что было бы с Россией, если б не Голицыны! — насмешливо сказал юный граф К-в, раздраженный этим хвастливым словоизвержением.

Может быть, графа К-ва, лучшего фехтовальщика корпуса, разозлили лихие победы Юрки, пошатнувшие его репутацию, но скорей всего тут было другое: граф К-в принадлежал к новой знати, которую Рюриковичи и Гедиминовичи и знатью не считали. Юркино хвастовство великими предками, совершавшими свои подвиги, когда К-вы прозябали в торговых рядах на Красной площади или в Китай-городе, взорвало самолюбивого юношу. Бледный, тонколицый, гибкий и сильный, он казался куда большим аристократом, чем массивный Голицын, утративший эльфическую легкость, столь пленившую некогда императора Николая. Это было странно и необъяснимо, ибо там, где у Голицына красовались окольные и кравчие, у К-ва зияла черная пустота, в которой смутно роились торговцы скобяным товаром, продавцы пирожков с несвежим ливером, где у Голицына сияли звездами государственные мужи и полководцы, у К-ва сверкал бритвой пронзливый брадобрей, умевший ловко отворять кровь, что вознесло его на вершину почета и богатства.

Искусавший губы чуть не до крови, К-в воспользовался паузой, когда рубака и ритор Голицын утирал рушником честной боевой пот, и напомнил ему, как улепетывал под Болховом от сброда второго самозванца столь хвалимый им Василий Васильевич Голицын, кончивший малодостойную жизнь в плену у Сигизмунда.

— С кем не бывает, — благодушно отозвался Юрка, которому уже надоели его предки со всеми их амбициями, взлетами и падениями.

— Кстати, и Голица, которым ты так гордишься, чуть не полжизни провел в плену, а потом постригся в монахи.

— Голицыны всегда были богобоязненны, — отшутился Юрка.

Но была в этой шутке и серьезная нота, поскольку сам Юрка усердно посещал церковь, принимая наслаждение дивными распевами за усердие веры.

— Что верно, то верно, — не отставал К-в. — Александр Николаевич Голицын, министр духовных дел и народного просвещения, немало порадел для уничтожения последнего. — И, сделав вид, будто вспоминает, прочел ломким юношеским голосом:

Вот Хвостова покровитель,
Вот холопская душа,
Просвещения губитель,
Покровитель Бантыша!

— Как там дальше?

Напирайте, бога ради,
На него со всех сторон!
Не попробоват ли сзади?
Здесь всего слабее он.

Кадеты замерли, предчувствуя столкновение, выходящее за пределы обычных полудетских ссор.

— Пушкин был известный насмешник, — улыбаясь сказал Юрка. — Помнишь?..

Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князя не прыгал из хохлов...

Ответ был быстр и разящ, как выпад на рапире, кадеты дружно расхохотались.

Мертвенно побелев, К-в сказал:

— Не знаю, как с блинами... Но шут царский среди Голицыных точно был. Квасник, почтенный супруг чаровницы Бужениновой.

У Юрки дыхание сперло. Удар пришелся под вздох. Был, был, ничего не попишешь!.. Был среди Гедиминовичей пошлый шут, едва ли не самый жалкий в шутейной стае Анны Иоанновны. А прозвищем своим обязан он был тому, что обносил квасом государыню, Бирона и приближенных. Причем матушка-государыня не забывала выплеснуть остатки кваса, коли квасок был хорош, в лицо своему шути, а коли горчило — хренку переложили, или сластил не в меру от избытка изюма и сахара, — то и всю чашу. Подражая матушке-государыне, так же поступал Бирон, случалось — и другие придворные. В обязанности князя Голицына входило высиживание цыплят из теплых яиц прямо из-под курицы, и победное крылохлопанье, когда цыпущка благополучно вылуплялся; если же князю несчастливилось раздавить яйцо или ненароком задушить цыпущку, его нещадно били по щекам. От всего этого князь, бывший некогда смышленным юношей, отобранным Петром I для прохождения курса наук в Сорбонне, потом ловким молодым дипломатом в Риме, где он женился на римской девушке, запил горькую и тронулся в уме. Кстати, поводом для превращения потомка старинного рода в шута послужила его женитьба на католичке и тайное принятие католической веры, поскольку родители любимой девушки не отдавали ее за православного. Когда это обнаружилось,

итальянку-жену выслали из Петербурга, князя насильно развели и определили в шуты.

Конечно, не измена вере была главной причиной гнева государыни: хотелось ей унижить ненавистную фамилию. После страха, которого она натерпелась при вступлении на престол от Верховника Дмитрия Михайловича, возненавидела она, тяжело и душно, всех Голицыных. Мстительная злоба Анны не находила утоления, и Квасника-Голицына женили на любимой шутихе императрицы девице Бужениновой, а свадьбу сыграли в ледяном дворце, возведенном по приказу кабинет-министра Волынского. Придворный пиита Тредиаковский воспел эту свадьбу в непристойных стихах, а молодые, упившиеся вусмерть и забытые во льдах, чуть не замерзли. Вконец окоченевшего князя-шута отогрела на своей мягкой и горячей груди крепенькая камчадалка Буженинова, ранее него пришедшая в чувство. Но тут начиналась другая история, не имеющая отношения к нанесенному оскорблению.

Юрка знал, что при зловещем дворе Анны Иоанновны были и другие титулованные шуты: князь Волконский и граф Апраксин, но ни один из них не подвергался таким издевательствам, как Голицын. Волконский был зятем сильного при дворе Алексея Бестужева-Рюмина, кабинет-министра, и нес свою срамную службу без особого усердия, докуки и обид, которых ему, впрочем, и не чинили, памятуя о важном положении его тестя. Любопытно, что последнего нисколько не смущала шутейная должность родича, — чем она хуже любой другой дворцовой службы: и пожалованиями не обходят, а по отставке положен изрядный пенсион. Апраксин же был нрава столь добродушно-покладистого, к тому же окрыленного легким безумием, что, похоже, вовсе не страдал.

А черт с ними, какое ему дело до Волконских и Апраксиных? Он — Голицын. И благородно ли попрекать через век носителя славного имени жертвой монаршего гнусного произвола? Неужели жалких несчастий одного не покрыли деяния других Голицыных? Наверное, можно было пристыдить графа К-ва, не обделенного при всей своей задиристости и самолюбии выскочки ни умом, ни благородством, но в душе Юрки уже звучала музыка — грозная, пьянящая, насылающая красный туман в глаза, заставляющая сердце биться так сильно, что трепыхалась рубашка на исколотой груди, и так громко, что больно давило изнутри на ушные перепонки, — музыка войны и победы. Сейчас бы кинуться в бой на вражеский редут с обнаженной саблей в руке, с громким кли-



чем, чувствуя на затылке горячее дыхание солдат, и чтоб гремели выстрелы, свистели пули и смерть витала рядом, и на гребне этой музыки добраться до сердца врага. Но не было ни редута, ни засевших за ним неприятелей, а ярость нуждалась в раскрепощении, и перед ним зыбилося, то расплывалось, то четко собираясь нацельно, узкое юношеское лицо, бледное от злобного торжества, непреклонное лицо человека, стремящегося всегда поставить себя выше других. «Но разве я мешал ему в этом? — скользнула мысль, и чуть слышно прозвучал ответ: — мешал... мешал просто тем, что я есть...» Музыка нахлынула, как волна бурового моря, захлестнула, потрясла, почти выбила из сознания, князь поднял руку молотобойца и совсем не по-княжески, а в духе озорника Буслаева, залепил своему обидчику оглушительную оплеуху.

Светский кодекс рассматривает пощечину как символический жест презрения, достаточно коснуться кончиками пальцев щеки оскорбителя, и следует вызов, присылка секундантов, короткое обсуждение условий дуэли, барьер, выстрелы, — обычно мимо, — затем хлопают пробки клико — дворянский кодекс соблюден.

Но затрепина, от которой противник летит на пол, — такого не бывало среди благородных людей. Юрка и сам это понимал, но не мог ничего поделаться с собой, иначе его задумала бы страшная музыка гнева и мести.

К-в поднялся весь дрожа, с перекошенным белым лицом и трясущейся челюстью.

— Драться будем на саблях. Пока один не падет.

Голицын слышал каждое его слово, музыка ярости замолкла в нем при звуке пощечины. И все происшедшее разом исчерпалось: и существо спора, и обида за свой род, и едкая память о Кваснике, и ярость против мальчишки, старавшегося ужалить побольнее, и страсть к бою и победе. Он уже не был воином, рвущимся сквозь пули на врага, он стал обычным добродушным, незлобивым, хотя и легко вспыхивающим Юркой, славным парнем, хорошим товарищем, ветрогоном и шалопаем. И как-то понуро он предложил своему противнику:

— Слушай... может, лучше — до первой крови?..

— Я, кажется, ясно сказал, — прозвучал ледяной ответ.

Юрка пожал плечами. В нем начинала звучать другая музыка — нежная, добрая и печальная. Она уже ждала его в высоком, просторном помещении, где находились лишь рояль и два стула, остальное пространство заполнялось звуками. Он брал частные уроки пения у знаменитого капельмейстера и композитора Гавриила Якимовича Ломакина, с кото-

рым связан наивысший расцвет шереметевского крепостного хора.

Едва выйдя из пропахшего потом фехтовального зала, Юрка начисто забыл о ссоре, о дуэли, которая будет нешуточной: его соперник считался лучшим фехтовальщиком корпуса, а условия он поставил самые жестокие. По-медвежьи сильный князь Юрка никогда не стремился к совершенству ни в одном роде физических упражнений. Он хорошо фехтовал, но лишь за счет безудержной отваги, умел крепко держаться в седле, стальные мускулы и врожденная какая-то звериная грация позволяли ему не ронять себя ни на плацу, ни в танцевальном зале, но любил он по-настоящему только музыкальный класс. А еще он любил жизнь: с пуншевой чашей, с жаркими, но не обидными спорами, с познанной уже в отрочестве женской лаской. Любовь требовала немало ухищрений и риска. Живя на хлебах у офицеров, он пользовался куда большей свободой, чем действительные кадеты, но никаких нравственных послаблений ему не полагалось. И попадись он на служении Эросу, его карьера была бы погублена.

Но Юрка об этом не думал. Он вообще редко думал, не хватало времени. Ведь надо было жить, бедокурить, иначе он потерял бы всякое обаяние в глазах товарищей, да и в своих собственных, и надо было руководить пажеским церковным хором, брать уроки музыки, самому сочинять да еще предаваться бесу рифмоплетства. Где уж тут рассчитывать свои поступки!..

Людям малопроницательным Гавриил Якимович Ломакин казался педантом и сухарем. Он был вечно занят и озабочен до мрачности. Всегда куда-то спешил и едва замечал окружающих. Он избегал всяких излишаний, дружеских перемиываний косточек ближним, не говоря уже об иных, дорогих русскому сердцу способах отдохновения от трудов, обид и забот. Отчужденность Ломакина объяснялась не только его жесткодисциплинированным характером, не разменивающимся на житейщину, но и служебной замороченностью. Великий князь Михаил, очарованный «методом Ломакина», пригласил его в Павловский кадетский корпус, а затем пожелал, чтобы он преподавал во всех важнейших военных учебных заведениях, и в первую очередь — в Пажеском корпусе. Вокал почему-то считался неотделимым от ратной службы. Быть может, потому в русском офицерстве было столько умельцев петь под гитару. На плечи Ломакина легла неимоверная обуза. Но мало того: чтобы не отставать от великого князя, августейшая покровительница пяти институтов бла-

городных девиц поручила заботам Ломакина голосовые связки воспитанниц. Ко всему еще у него не хватило духа оставить своих старых учеников: лицеистов и студентов правоведения.

День Ломакина был расписан не по часам, а по минутам. Крестьянский сын, не жалуясь, тянул непомерный воз, но он был хоровым капельмейстером милостью божьей, без этого жизнь утрачивала всякую радость. И поугрюмел приветливый, открытый человек.

Свои первые шаги в музыке Юрка Голицын сделал под рукой этого редкостно одаренного самородка. В корпусе среди младших воспитанников попадались неплохие голоса, и Юрка собрал хор, с которым вскоре стал петь на клиросе в корпусной церкви. Не довольствуясь этим, он обратился к сочинениям Бортнянского, самого Ломакина и Дегтярева. Заглянув однажды в «репетиционную», Ломакин задержался там, хотя, по обыкновению, куда-то спешил, а после сказал Юрке: «Вы — князь по званию, дирижер — по призванию». То был самый счастливый миг в сумасбродной юности Юрки. Ломакина удивило, что музыкальный юноша знаком с сочинениями Степана Аникеевича Дегтярева, погубленного «талантом и рабством». Семилетним мальчиком был взят Дегтярев в крепостной хор графа Шереметева за дивный дискант, а по прошествии лет стал регентом, а там и капельмейстером. Он сочинял прекрасную музыку, дирижировал огромным хором и оркестром, покоряя слушателей и теща родовое тщеславие Шереметевых, а сам оставался рабом. Скрипичного мастера Батова, русского Страдивариуса, хоть на старости лет отпустили на волю стараниями заезжей знаменитости, а Дегтярев так и не дождался свободы. Не дожив до пятидесяти, он спился с круга и умер. Свободному духу не ужиться в рабьей оболочке.

Поверив в талант Юрки Голицына, Ломакин, сам бывший крепостной, сдержанно рассказал ему о горестной судьбе своего предшественника по шереметевскому хору. Владелец нескольких тысяч душ, Голицын не понял, какого рожна не хватало Дегтяреву при таких богатых, знатных и любящих искусство господах.

К нему самому не раз являлись ходоки из Салтыков и с воплями: «Ты наш отец, мы твои дети!» — валились на колени, целовали ему руку и плакались о каких-то притеснениях и неправдах, над ними учиняемых. Бурмистры, старосты, приказчики и прочие утеснители салтыковских мужиков путались в голове князя, он не понимал сбивчивой крестьянской речи, чуждой его офранцуженному слуху, но, рисуясь перед

товарищами (сцены эти разыгрывались в вестибюле корпуса), говорил со снисходительным и вполне «отеческим» видом: «Ладно, ладно, разберемся. Ужо я приеду и наведу порядок». «Отеч родимый, не забудь детей своих!» — зывали мужики, а старик-швейцар с медалью за альпийский поход Суворова, смахивая слезу, говорил: «Добрый, до чего же добрый барин, как мужика чувствует! Хорошо за таким баарином жить». — За что тут же получал на шкалик и деловито гнал обнадеженных мужиков вон.

«А так ли уж хорош был ваш Дегтярев?» — важно спросил Юрка, исполнившийся сословной солидарности. Небольшой, коренастый, с начинающей лысеть ото лба к темени головой и твердыми грустными глазами, Ломакин тихо спросил: «А я вам хорош?» Юрка густо покраснел. Он преклонялся перед Ломакиным, смотрел на него «с колен». Да ведь не признаешься в таком, и он неловко пробормотал: «Хорош, конечно». — «А Дегтярев был на десять голов выше». — «Уж вы скажете!.. Почему же Шереметевы не дали ему вольную? Ведь отпускали других. Меценаты, сколько народных талантов открыли. У них лучший хор, театр!..» — «А известно ли вашему сиятельству, что ни один крепостной не пошел добровольно в их капеллу, предпочитая долю землепашца? Старый граф объявил в Борисовке, откуда и мы с Дегтяревым родом, что положит басам и тенорам по пятидесяти рублей в год жалованья, довольствие продуктами и платьем, а семьям даст облегчение от налогов». «Это благородно!» — вскричал Юрка. «Очень. Только все равно никто не полюбился, и тогда в хор стали брать силком. Иные голосистые мужики и бабы нарочно хрипоту и сипоту на себя наводили, чтобы только в хор не идти». «Какой дикий народ!» — неискренне возмутился Голицын. Как ни далек он был от деревенской жизни, а все же понял: нужны веские причины, чтобы предпочесть капелле полевые работы и барщину. Видать, крепко спрашивали с певучих мужиков и баб в шереметевском хоре! И, словно подтверждая его мысли, Ломакин произнес почти шепотом: «Дальше от барина, дальше от смерти».

Голицын был сбит с толку. Он не раз слышал — чаще краем уха, — что мужик строгость любит, и не пытался вникнуть в истинность этого утверждения. Оно казалось непреложным, как бытие бога. Не нужно доказательств, что бог есть, — оглянись вокруг, и ты во всем увидишь дело его рук. Так же очевидно, что мужика надо держать крепко, иначе он и сам пойдет в распыл, и завалится вся стройная система миропорядка. Мужик сам это понимает, потому и вопит: «Отеч наш, яви милость!» — и бухается на колени. А если мужик петь

способен, то ничего от этого не меняется, он все делает из-под палки, ибо по низменной природе своей ленив, нерадив, беспечен, лжив и вороват. И пьян при малейшей возможности. Недаром сокрушался его дядя Долгоруков, редкой доброты человек, что русский мужик всякую минуту жизни в чем-нибудь виноват: он или украл, или прибил жену, или обманул соседа, или обругал ребенка, или совершил дурное над бессловесной тварью, или согрешил против господ. Щадя мужицкое самолюбие бывшего крепостного, выхваченного редким даром из подлого состояния, Голицын возразил как можно мягче: конечно, и Шереметевым случалось обижать своих людей, но к строгим, принудительным мерам вынуждало непослушание мужиков, косное и темное непонимание ими собственного блага.

Нездорово бледное лицо Ломакина вовсе обескровилось. Он сказал бесцветным, слабым голосом, каким никогда не разговаривал во время урока, держась тона строгого и внушительного:

— Птица и в неволе поет, только под синим небом куда как лучше. А соловьиную клетку надо вовсе платком накрывать, чтобы он забыл о своей тюрьме, иначе петь не будет. Песне свобода нужна. Страх и музыка несовместны.— И, перебив самого себя:— Пустословлю я, простите, князь... Но чувствую... чувствую в вас артиста, жалко будет, если...— Чего будет жалко, не договорил, сломал фразу.— Ладно. Наше дело — сольфеджио.

Подобные разговоры случались редко и вроде бы не проникали глубоко в легкомысленную душу юнца, но что-то, видать, оставалось. На это и рассчитывал Ломакин. Он был убежден, что Голицын рано или поздно заведет крепостной хор, но в отличие от Шереметевых будет сам его вести. В таланте его Ломакин не сомневался, но важнее для опытного педагога было другое: Голицын обречен музыке, он стремится овладеть ею, а она уже владеет им, пока еще не безраздельно: дурашливая, слепая пора — молодость, но придет время, и останется с ним одна лишь гармония. И Ломакину хотелось, чтобы Голицын относился к хористу не как к поющему мужику, а как к артисту, почти равне.

...Голицын разучивал с хором пажей «Достойно есть» Бортнянского, сочинение редкой красоты и трудности, на которое он не посягнул бы без призора Ломакина, но Гавриил Якимович, взявший себе за правило всякий раз заглядывать на хоровые спевки, находился рядом, и хоть, по обыкновению, не вмешивался, князь чувствовал исходящее от него пламя и, напрягаясь всем существом, вел хор к той чистой

правде, которая, верно, и есть искусство. Позже, отпустив девчих, он сказал Ломакину:

— А вы, Гаврила Якимович, как Калиостро... Ваш взгляд мне в лопатки входит, я даже колотье чувствую.

— Чувствительная у вас натура, князь, хоть с виду вы непроницаемый богатырь,— по обыкновению не сразу, а будто проговорив фразу сперва про себя, отозвался Ломакин.— Дирижеру надо быть немного магом, или, как выражаются французы, *hypnotiseur*’ом, уметь внушать музыкантам не словами, а взглядом, движением лицевых мускулов, чего он от них хочет. Вести не жезлом, а нутром. Хор и оркестр тогда звучат, когда артисты в такой сосредоточенности, что трансу подобна, сну наяву, и душа их сливается с богом. Только бог,— Ломакин понизил голос,— имеет зримое воплощение в дирижере. Думали вы когда-нибудь всерьез, до чего трудно быть дирижером?.. Не палочкой размахивать, а управлять себе подобными, такими же, как ты сам, грешными, рассеянными людьми, которые на минуты или часы возводятся в небесный чин?.. Это очень, очень трудно,— сказал он усталым голосом пахаря, наломавшего за сохой.— Надо знать каждого, кого вы ведете, каждую его неприятность, особенно беду, чтобы из разных, не схожих между собой людей сделать одного одухотворенного человека, художника. Именно так! Не безликий манекен, которого ты вертишь, как хочешь, а носителя высшей жизни, глубоко чувствующего и понимающего то, что выпевается из груди, творится дыханием.

Вот на такие разговоры не скупился с Юркой замотанный, задерганный, не имеющий для себя минуты свободной Ломакин! Юрка не просто слушал, а впитывал его слова, как губка влагу. Но не все принимала душа.

— Я понимаю вас, Гаврила Якимович, коли речь идет о народной песне, церковной музыке, да и то не всякой, но неужели мужик поймет Баха или Генделя? Втемяшить можно что хочешь: был бы слух, но понимание?..

— А Бах и Гендель для кого сочиняли? Для прихожан — городских и сельских жителей. Думаете, князь, наш мужик глупее немецкого? Что, в нем меньше души? Тяги к лучшему?.. Он замордован, измучен, перебивается с хлеба на квас, спит на лавке, топит по-черному, а сердцевинкой своей никого не плоше. Русский крестьянский мальчик с белобрысой вшивой головенкой посметливее иного немчика, закормленного цукертортом. Вы тянетесь к народному мелосу, а сами вы иностранец. Не сердитесь на старика,— добавил совсем не молодой годами Ломакин,— но вы француз, ваше сиятельство.

— Вот кого я на дух не переносу,— признался Юрка.—

Ужас, как я от них натерпелся! Что ни губернёр — изверг. У себя дома — последняя шушера, а здесь — Нерон и Сенека в одном лице. Как они меня тиранили! Я, правда, огрызался, да ведь силенки-то детские. Попадись они мне теперь хоть всем скопом, я бы повыжал из них сок...

В дверь музыкального класса постучали, и сразу, не дожидаясь разрешения, вошел долговязый воспитанник с тонкими губами, по кличке Иезуит. Ломакин немедленно откланялся.

— Что за крайность, ей-богу! — накинулся на приятеля Голицын. — Кто тебя звал? Ненавижу дружескую фамиллярность!

Иезуит недоверчиво и чуть насмешливо посмотрел на него:

— Неужто забыл? Эх ты, дьячок!.. У тебя же — дело чести.

— Господи! — хлопнул себя по лбу Голицын. — Совсем из ума вон. Разве это сегодня?.. Вот уж не к месту! — Трудно было от Ломакина, его вразумляющих слов, от милых образов Баха, Генделя, Бортнянского, Дегтярева перейти в воюющий зал, во власть чужой злобы, размахивать саблём, которой он и владеть-то не умеет, да еще кровь — красная, липкая, кислая... — и все из-за глупой мальчишеской ссоры, которая выеденного яйца не стоит. А главное, предстоящее было так плоско, бездарно и ненужно, так чуждо его внутреннему состоянию, что он сказал почти заискивающе, когда они шли в фехтовальный зал:

— Слушай, Иезуит, помори нас.

Тот облизнул тонкие губы и не ответил.

— Ты силен в истории, — наседали Юрка. — Помнишь, кто-то из старой знати высмеивал перед Наполеоном принцев и герцогов, которых он пек, как блины, из своих рубак. Наполеон ловко обрезал насмешника: вся разница в том, что вы потомки, а мои — предки. Как ты думаешь, не сойдет эта шутка за извинение? Посмеемся, выпьем шампанского и разойдемся по-хорошему.

Иезуит посмотрел на него искоса.

— Трусись, что ли?..

— А что такое трусость? — задумчиво сказал Голицын. — Боязнь смерти, боли, наказания? Я ничего такого не боюсь. Мне просто не хочется сейчас драться.

— Надо было раньше думать.

— А вот этого я не умею, — вздохнул Юрка. — Я сперва сделаю, а потом буду думать... или не буду. А рассчитывать заранее — не умею. Скучно.

— Вот и скучай, — злорадно сказал Иезуит.

Но скучать не пришлось. Когда они вошли в зал, там царило раздраженное нетерпение. К-в уже скинул мундир и упражнялся с саблей возле «кобылы», нещадно кромсая ее деревянные бока. При входе Голицына он даже не оглянулся. Юрка извинился за опоздание, тоже скинул мундир, взял саблю и, видя, что секунданты намерены разыграть обычную комедию примирения, крикнул резко:

— Не будем терять время!

К-в кинулся на него с яростью, несколько искусственной. Конечно, не было недостатка в живой, ничуть не смягчившейся злобе, но ему хотелось ошеломить, подавить малоискусного в сабельном бое противника. Раз-другой острый клинок прошел в опасной близости от лица Голицына. «Эдак изувечить может», — озабоченно и удивленно подумал тот. Юрка был невероятно вспыльчив, порывист и в хорошем, и в дурном, но вовсе неспособен к долгой ненависти. Мгновенно посчитаться с обидчиком — это было по нему, но вынашивать мстительное чувство и сохранять его горячим не то что в днях, в часах, — этого он не умел.

А К-в заварил кашу вполне серьезно. Он уже дважды задел Голицына, на плече и ключице выступила кровь, но это не укротило рвения злого мальчишки. Неужто он впрямь решил его прикончить? За что? За честь основоположника рода, выбившегося в вельможи из лакеев, за то, что так короток список титулованных предков? Какая чушь!.. Сейчас Юрка был глубоко безразличен к бесконечной чреде глупых воевод, стольников-прилипал, неумных честолубцев, посредственных военачальников, ловких или бездарных интриганов, шутов в духе Квасника и шутов в пошибе Александра духовного брата и мужеложца, — плевать он на них всех хотел! Но за ним были Бортнянский и скорбный Дегтярев, дивный Ломакин и гениальный Глинка, а впереди ждал многоголосый хор, который в его руках обернется единым золотым горлом, единой глубоко дышащей грудью, и между ним и этим светлым миром затесался вздорный, самолюбивый, неугомонный злюка — с этим надо кончать.

Юрка впервые дрался на саблях, не знал приемов, к тому же не хотел убивать своего противника — от слова «противный», более сильных чувств тот не вызывал, — но у него достало фехтовальной быстроты и ловкости поймать лезвием сабли вражеский клинок и отвести в сторону. Когда же К-в попытался освободить клинок, увести его и невольно ослабил хватку на эфесе, Голицын сильнейшим ударом выбил у него саблю, которая, описав дугу, со звоном упала на пол. Юрка ки-

нулся вперед, чтобы придавить ее ногой и тем вынудить К-ва к прекращению дуэли, но тут произошло непредвиденное. Так и осталось непонятным, кто проявил неосторожность, похоже, что оба. К-в наткнулся на выброшенную вперед Юркину саблю, клинок прошел под мышкой, распоров кожу на груди. Как потом оказалось, рана была чепуховая, хотя и очень кровавая. К-в относился хладнокровно лишь к виду чужой крови, он лишился чувств. Секунданты вынесли вердикт: дуэль прекращена, К-в восстановил свою честь.

К сожалению, на этом дело не кончилось. Кто-то, скорее всего Иезуит, проболтался, и слухи о дуэли поползли по городу, достигли дворца, в корпус явился сам государь-император.

Дуэли давно были запрещены, но в предыдущее царствование на них смотрели сквозь пальцы. Иное — при Николае. Он искренне ненавидел дуэли и дуэлянтов. Не то чтобы он отрицал дуэль как удобную возможность избавиться (чужими, разумеется, руками) от слишком беспокойного человека, который все же не давал повода кинуть себя в каземат или сгноить на рудниках. Но сам царь никогда бы не вышел к барьеру. И он это знал, потому что человек думает обо всем, и бодрый красавец государь, наделенный великолепной статью и железными мускулами, не раз представлял себя с пистолетом или шпагой в руке, хладнокровно поджидающим противника. Но от одной мысли об этом внутри начинало противно дрожать и стыдно тянуло низ живота. Слишком велико было в нем сознание уязвимости своего огромного, холеного, прекрасного тела, которое он так любил. Наверное, тут коренится нередкая на войне физическая робость больших, рослых людей: они чувствуют себя легко уязвимой мишенью. Всякое правило знает исключения. Не уступавший Николаю ростом, а в зрелости много превосходивший его дородством, Голицын ничуть не боялся ни пуль, ни острой стали, что доказал не только на поле чести, но и на поле брани. Перед собой Николай оправдывался тем шоком, в который поверг его огромный усатый одноглазый с черной повязкой через смуглое лицо вооруженный Якубович, наскочивший на него в разгар событий на Сенатской площади с принесением раскаяния. С перепугу Николай простил его, но затем расквитался за позорный страх жестоким приговором.

Юрку оторвали от репетиции с хором, приказав немедленно явиться в директорский кабинет. Он пошел, ругаясь на чем свет стоит, распахнул дверь и оказался перед осо-

бой императора. Никакого потрясения Юрка не испытал — государь нередко жаловал Пажеский корпус своим посещением.

Мелочный, как все Романовы после Петра, Николай любил вникать в дела, вовсе не достойные монаршего внимания. Ну, подрались два молодых петуха, жертв не было, увечий тоже, — так, игра молодых сил, — разобраться в случившемся и примерно наказать виновных было вполне по силам корпусному начальству, но что-то потянуло его вмешаться. При этом он склонен был считать разговоры о дуэли пустой сплетней. Уж больно не хотелось, чтобы два сопляка сделали то, на что он сам никогда б не отважился.

Николай не без удовольствия окинул взглядом рослую фигуру юноши, вспомнил, что когда-то его благодетельствовал, и уж готов был вовсе расположиться к Голицыну, как вдруг заметил непорядок в туалете кадета.

— Почему не по форме? — гаркнул он, ткнув в незастегнутую пуговицу.

В ответ прозвучало коротко и благолепно:

— С клироса меня сняли, государь, разучивал с хором «Богородица, дева, радуйся».

— Сие похвально, — сразу смягчился Николай, вспомнив о религиозном рвении Голицына, добровольного регента корпусного хора. — Ну, а теперь кайся.

— Грешен, государь, — простодушно сказал юноша, — и во всех своих грехах покаяться на исповеди.

— В чем грешен? Признайся своему государю.

— На девушек заглядывался, нерадив в учении был, спал много и соблазнительные сны видел.

— Какие? — поинтересовался государь.

— Купающуюся нимфу, — покраснев, признался Юрка.

Николай коротко хохотнул: ну и простец же ты, братец! Мы в твои годы к этим нимфам в постель лазали. Такой верзила, здоровяк, а при мысли о голой девке краснеет.

«Врет! — ожгло вдруг холодом изнутри. — Все врет, подлец. И про сны, и про девок. Была дуэль, черт бы их побрал!»

Ему враз стало остро и интересно. Происходящее как-то странно связалось с давно прошедшим, когда он, молодой, неискушенный, не приваженный к государственным делам человек, днялся вмиг на недостигаемую высоту. Видения пятнадцатилетней давности пронесли перед ним.

...Окна были в ледяном узор, золотистом от солнца. Он приказал доставлять их к себе — зачинщиков, самых твердых, упрямых, закоренелых. Эти русские Дантоны и

Робеспьеры, чей заговор был известен брату Александру со дня возникновения, с каменными лицами, тесно сжатыми челюстями, готовые принять мученическую смерть, но не проговориться, раскалывались, как лесные орехи, от одного доверительного слова. Лишь Трубецкого — в диктаторы метил, трус и рохля! — швырнул он к своим ногам резким окриком и властно-брезгливым жестом, но его Николай просто презирал, а к другим: Пестелю, Муравьеву, Рылееву чувство было неизмеримо крупнее — бешеная ненависть. И странно, что грубое чувство подсказало ему тончайшее поведение. Следственная комиссия за год не добыла бы тех сведений, что Николай получал в считанные минуты. Царь не знал за собой такого таланта, хотя склонность к притворству испытывал с ранних лет, не находя ей достойного применения. Но тут!.. «Жаль, что вы не открылись мне раньше. Я был бы с вами!» От подобных фраз мгновенно таяли вчерашние смелые вояки и дерзкие витии. Казалось, они заварили кашу только для того, чтобы выплакаться на широкой груди императора. Николай наслаждался унижением людей, заставивших его пережить одуряющий, позорный страх, и упивался своим лицедейством. Великий человек во всем велик! Решил устроить из допросов спектакль и вмиг явил себя несравненным актером. Что Нерон с его мнимыми артистическими победами, когда насмерть запуганные старцы венчали его лавровым венком, а он, утирая пот и отдуваясь, говорил самоуничижительно-хвастливо: «Коли оставим трон, прокормимся ремеслишком». Жалкий фигляр!..

И Николаю захотелось добиться признания и у этого, пока еще симпатичного ему юнца. Фамилия Голицын — в отличие от многих других стариннейших и знатнейших — не вызывала у Николая раздражения, хотя один из Голицыных и был привлечен по делу декабристов. Николай даже не помнил его имени: Валериан, что ли?.. Одно это доказывало, что тот не играл сколько-нибудь заметной роли ни в бунте, ни в процессе, царю и в голову не вспало спрашивать его. Пешка, случайный попутчик... Зато те Голицыны, которых он лично знал, были отличнейшими людьми: и почтенный старец, член Государственного совета, пожалованный титулом «светлости», и друг сердечный покойного брата, ревнитель благочестия и гроза вольнодумцев Александр Николаевич, ударивший Магницким и Руничем по университетской распущенности. Много ли найдется людей, кто сочетал бы высочайшую культуру с глубокой религиозностью и неустанной заботой об умонастро-

рении общества, как неугомонный Александр Николаевич! Есть преданные, испытанные мужи: Бенкендорф, Орлов, Чернышев, Паскевич, отличные администраторы, вроде Клейнмихеля, тонкие умы, как Нессельроде во внешней политике и Дубельт в святом деле сыска, но Александр Николаевич незаменим. А этот юноша, бездельник и шалопай, как почти все пажы, весьма усерден в вере, по донесению начальства, что уже немало в нынешнее морально пошатнувшееся время, не хотелось бы его терять. Но для этого он должен открыть душу государю, облегчить себя признанием.

— Неискренен ты со своим государем, Голицын, — огорченно сказал Николай. — А государю ты должен открывать даже то, что утаишь на исповеди. Впрочем, бог и так все видит, — счел нужным поправиться августейший следователь. — Ты ведь, Голицын, кровь пролил.

— Чью, ваше величество?

— Графа К-ва, своего товарища.

— Каюсь, государь, без вины виноват. Это он свою кровь пролил. Наткнулся на мою саблю, показывая прием, как одним махом снести голову янычару. У неверных этот прием «секим башка» называется.

Николай был сбит с толку: неужто этот вырви-дуб так прост или придуряется? Он сказал печально:

— А нам донесли о заправской дуэли.

— Кто дрался? — с жадным юношеским любопытством спросил Голицын.

— Некто Голицын, — помолчав, сказал Николай.

— Ого, мой родич! — золотистый, медовый свет лился из больших чистых светло-карих глаз, паж даже не пытался скрыть своей заинтересованности. — Который Голицын?

«Нельзя так переигрывать, — подумал Николай. — Не полный же он идиот. Кто-то из философов сказал, что самое неправдоподобное — это правда. Да не было тут никакой дуэли, — обычные петербургские враки. И зря я мучил самолюбивого, нервного К-ва, зря пытал этого простодушного, недалекого богатыря. В корпусе здоровый дух, тут не делается ничего запретного. Но все-таки человек не бывает вовсе ни в чем не виноват: вот, сам же признался, что ленив, плохо учится, долго дрыхнет и смотрит сны про голых девок».

— Ты о себе лучше подумай, — нахмурился Николай. — Недоволен я тобой, Голицын. Не такого я от тебя ждал. Слезы наполнили уголки теплых светло-карих глаз.

— Если так, государь, если я... — голос прервался, огромным усилием воли юноша проглотил слезный ком, пытаясь скрыть недостойную мужчины и воина слабость. — Нет мне пощады... Накажите меня, ваше величество, без всякого снисхождения.

Николай любил трепет. Не подобострастие, а изнутри, из живота идущую растерянность перед величием, воплощенным в его особе.

— Ладно, ладно, Голицын. Вижу твоё раскаяние. И верю, что из тебя ещё сделают хорошего человека.

Николай повернулся и пошел прочь, прямой, будто кол проглотил, в натянутых чуть не вразрыв лосинах и высохших сочно ступающих сапогах.

«Экая дубина! — думал Юрка. — Ишь, следствие учредил, как над теми... Сам взялся допрашивать и позволил двум мальчишкам обвести себя вокруг пальца. А мы и сговориться толком не успели. Я наугад лепил, и все — в точку. Знал, каков графчик ни на есть, товарища сроду не выдаст. «А нам донесли о заправской дуэли», — передразнил он голос Николая. — А как же те?.. — резанула мысль. — Как же они оплошали! Зрелые люди, светлые головы, с идеей, с жизненным опытом, и поддались такому дурню!.. Наивные они были, доверчивые, как дети. Разве не детская это мысль: совершить переворот под Конституции и жену его Конституцию! Поверить трудно!.. А ведь было, все было, и виселица была, и Нерчинский острог...»

— Коль славен наш господь в Сионе!.. — попробовал запеть Юрка, чтоб перебить тягостные мысли, и словно поперхнулся гимном. — Плыви, моя гондола, озарена луной!.. — нет, баркарола тоже не пошла.

Не было в нем музыки и не будет, пока он не выплюнет из себя обожаемого монарха. «Пропади все пропадом! — решил он. — Пойду к девкам».

Поскольку занятия были в самом разгаре, пришлось спуститься по водосточной трубе во двор, пересечь его, хоронясь за подстриженными деревьями, перелезть через забор с риском нарваться на прохожего офицера, но бог милостив — он уже на Садовой, отсюда до девок рукой подать, за углом, против Апраксина рынка.

...В свою очередь Николай, уже покинув Пажеский корпус, ощутил неприятный осадок от разговора с пажем. Вроде все было как надо. Невинность Голицына — вне сомнения, раскаяние в мелких прегрешениях — до слез искренне; собою Николай был тоже доволен: он быстро установил истину, отмел очередную глупую сплетню, держал

себя строго и отечески, как и подобает государю с будущим защитником отечества. И все же что-то ему мешало. Что?.. Ответ ускользал, и Николай вдруг решил, что надо удовлетворить ходатайство генерал-лейтенанта Дубельта об увеличении штата тайной полиции еще на семьдесят человек. В чем, в чем, а в сыском деле нельзя скарденничать. И тут умный, радетельный Леонтий Васильевич сплочовал: увеличить штат надо не на семьдесят, а на сто человек! И, представив себе удивленно-обрадованно-смущенное лицо Дубельта, когда он увидит царскую резолюцию, Николай обрел хорошее настроение. Не надо ждать дурного от добрых и наивных великанов; их производят на свет для единственного боя, в котором им предназначено сложить голову за бога, царя и отечество. А один убитый — это даром потраченная врагом пуля, — народу в России все равно хоть завались. Окончательно успокоившись насчет Голицына и даже возлюбив его, Николай решил навестить фрейлину Корсакову, простудившуюся на балу у князя Шереметева...

...Голицыну неохота было возвращаться к своему офицеру-воспитателю, седьмому по счету и самому противному: скупому, занудному и вьедливому немцу. Он решил переночевать в корпусе. Это было строжайше запрещено экстернам, но в том и состояла особая прелесть: лишний раз нарушить запрет. Место свободное всегда имелось — пажи частенько болели, либо сказывались больными, чтобы избежать плаца, попить в госпитале горячего пунша и послужить страницы соблазнительного романа Поля де Кока. Но ему не везло сегодня: вместо знакомого дядьки дежурил коренастый унтер из старослужащих, и он заступил дорогу князю, не польстившись даже на пятак. Девка попалась Голицыну плохая: суетливая и бестолковая, к тому же с худыми ляжками. Юрка любил не спеша раздувать свой пламень, а с этой сорокой, тьфу, вроде бы все было — и ничего не было. И музыка по-прежнему молчала, хоть бы какой-нибудь паршивенький мотивчик шевельнулся возле сердца. Всю скопленную за день злость он сорвал на унтере, надавав ему оплеух.

Видимо, это помогло: укладываясь спать на чужой кровати, он слышал в себе, пусть тихо, из огромной дали, начало Героической симфонии Бетховена...

...Государю не замедлили донести о новом проступке воспитанника Голицына. От чего только не зависит хрупкая человеческая жизнь! Она может оборваться от мышинного писка и уцелеть во вселенском крушении. И был бы

Юрке конец после новых его художеств, но его спасла... история.

Николай находился как раз посредине своего царствования: между позором его начала и позорным концом, между захлесткой, задушившей лучших сынов России, и крысиным ядом, которым он трусливо оборвал собственную опустошенную жизнь в разгаре неудачной Крымской войны. Но в изображаемое время Николай испытывал величайшее довольство собой, своим блистательным правлением, необыкновенной удачливостью во всех делах, внутренних и международных. Он чувствовал себя хозяином Европы, и действительно ни одно дело не могло завариться на континенте без оглядки на северного колосса. Его армия была вымуштрована так, как не снилось его предшественникам, знавшим толк в немецком фрунте: солдаты столь безупречно производили любой маневр, ружейный артикул и печатали шаг, что у брата Михаила — золотое сердце, настоящий фанатик строя! — выступали слезы умиления. Николаю выпало редкое для монарха счастье: сочетать удачливость в государственных и военных делах с роскошной жизнью сердца. Ему было отменно хорошо в семье и ничуть не хуже вне семейного круга. Женщины любили его не за скипетр — туго натянутые лосины исключали необходимость иных аргументов.

Он сам ежеминутно ощущал в себе то органическое величие, которое отмечает лишь немногих избранных. И это понял возлюбленный старший брат Александр, ангел во плоти, но слишком мягкий ангел, когда, прознав про заговор, скинул правление на его молодые, но крепкие плечи — в обход прямого наследника, а сам отправился в Таганрог умирать.

Сознание Николаем своей исторической значимости, безукоризненности во всех делах и поступках, безошибочности суждений, проницательности и тончайшего нюха не могло примириться с тем, что его обманул какой-то пажишко. Если раскаявшийся до слез после отеческого внушения Голицы, нашлавшийся невесть где, колошматит сторожа, значит, возможно все остальное: дуэль, обман, насмешка над государем. Этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда. И Николай сказал, налившись тяжелой кровью:

— Вранье!.. Он сам себя поколотил.

На миг ему почудилось, что нечто подобное он уже слышал. Но как ни трудил Николай память, он так и не вспомнил гоголевского «Ревизора», на премьере которого

хохотал до упаду, а потом обмолвился исторической фразой: «Всем тут досталось, а мне больше всего».

Голицын еще раз обманул так верившего в него обожаемого монарха, он не только не стал «хорошим человеком» в понимании Николая, но и не пошел по окончании учения в военную службу, нарушив предначертание судьбы: пасть в первом же бою. Он выбрал штатское положение и был выпущен четырнадцатым — последним классом.

Но если бы в матрикул шли оценки не по военным дисциплинам, а по успехам в музыкальном классе, Юрка, конечно же, кончил бы первым. Он много взял от Ломакина: пошел куда дальше азов дирижерской техники, уверенно работал с хором, знал и старинные русские распевы, и нынешние народные песни, творения современных иностранных и русских композиторов, сам отлично пел и был распахнут любой музыке: от северной величальной до Глинки, от петровских хоров и маршей до ломакинских ораторий, от Баха и Генделя до Мейербергера и Шопена. А кроме того, он был настоящим светским человеком: ловко танцевал, писал изящные альбомные стихи, но не чуждался и живого, искреннего выражения чувств в поэтической форме, его остроты уже повторяли в обществе. Он так и не научился писать грамотно ни на одном языке, но свободно, с отличным произношением, болтал по-французски, по-английски, по-немецки и, что было редкостью в высшем свете, — по-русски.

Не положено выходить из Пажеского корпуса в «штафирки», но Юрка был так ленив во всем, что не касалось музыки и развлечений, так манкировал строем, изоощренно придумывая себе все новые болезни (особенно мучили его — зачастую всерьез — помороженные в детстве ноги), что корпусное начальство не чаяло сбывать его с рук.

И — «вот мой Онегин на свободе»... Его ничуть не смущало, что чин коллежского регистратора носили разве что станционные смотрители, которых нередко бивали царские курьеры, нетерпеливые офицеры да и горячие на руку партикулярные путешественники. В смотрители он не метил, а поколотить, проткнуть шпагой или пристрелить мог сам кого угодно.

Главное — покончено с учением. Можно забыть о дисциплине (почти призрачной), о жадных и глупых офицерах-воспитателях, у которых он жил и столовался, о каких бы то ни было ограничениях: будь то посещение девок против Апраксина рынка, оперы или балета. О своей карьере Юрка не заботился, его устройством займется весь

громадный клан Голицыных — Долгоруковых. Сейчас он должен осуществить то главное, на что его навели вопли салтыковских ходоков: «Ты наш отец, мы твои дети!» Он явится своим заждавшимся детям... он не потерпит... он наведет порядок... он покажет!.. Чего не потерпит, кому покажет, какой порядок наведет, князь понятия не имел. Но твердо знал, что дальше так продолжаться не может. Опять же что не может продолжаться, осталось неизвестным, но он ощущал себя реформатором, Петром I, в чем сам потом со стыдом признавался. Он опьянел от свободы, от воя вольных ветров широко распахнувшейся жизни и ничем не ограниченной самостоятельности. Князь Юрка Голицын неоднократно спотыкался и падал, но, пожалуй, никогда не падал он так низко, как в эту переломную пору, никогда не был так глуп, пошл, самонадеян и непривлекателен.

Великая реформаторская деятельность потребовала прежде всего экипировки. Опекуны не поскупились и отвалили круглую сумму владельцу богатейшего имения и новоявленному администратору. Он сам не заметил, как уже был записан по министерству внутренних дел чиновником особых поручений при харьковском генерал-губернаторе князе Николае Андреевиче Долгорукове, одном из своих бесчисленных родичей.

Отправился он в Салтыки хорошо снаряженным. Приобретено было: 50 жилетов, 60 пестрых галстуков, несколько десятков трубок «от маленькой пипки до саженого чубука с двухсотрублевым янтарным мундштуком». Обставил он свое появление в наследственном владении с большой помпой. По эстафете, как царская грамота, был выслан приказ-уведомление, что в троицын день князь прибудет к поздней обедне в приходскую церковь. Предписывалось оповестить о сем торжественном событии духовенство, местных помещиков и зачитать приказ на мирском сходе.

Напечатано уведомление было на тугой и гладкой бristolской бумаге, вложено в конверт казенного формата и запечатано гербовой печатью величиной с ладонь.

Внушительен был выезд из двух колясок: в первой, зеленой и позолоченной в стиле «l'Empereur», ехал сам князь с двумя лакеями: один в ливрее, другой в военной форме, — этим, видимо, отдавалась дань недавней принадлежности хозяина к военной касте, — а также черным тяжело дышащим водолаз ростом с бычка-годовика; на другой — поплоче — тряслись секретарь, повар и неизбежный в каждом помещичьем обиходе пожилой при-

живальщик. Неведомо, откуда он появился в должный час и уверенно занял возле Голицына положенное ему место.

И потянулся княжеский поезд с петербургских туманных болот, над которыми безлунный блеск прозрачной белой ночи сменялся румяной зарей, к далекой сиреневой Тамбовщине с глубоким, набитым звездами небом, по великой российской пустынности, где лишь «версты полосаты попадаются одне». Ехали сперва по Петербургскому тракту, от Москвы до Усмани — грунтовой дорогой, дальше — большаком. Путешествие — порядком томительное и однообразное, но для Голицына оно скрашивалось воспоминаниями о прежних путешествиях: сперва с очаровательным месье Мануэлем и похищенными им сабинянками, затем с честнейшим г-ном Э. Как все изменилось с той поры в его жизни!..

В Усмани князю поднесли хлеб-соль от землепашцев, явились представиться луковоняющие чиновники из земского и уездного судов в вицмундирах, их ретивость подогревалась надеждой и дальше греть руки на делах опекуинства. Крестьянское брашно и льстивые речи засаленных крючкотворов были приняты милостиво, хотя и в некоторой поспешности, князю не терпелось достичь «родных пенатов», как он уже называл про себя салтыковское имение, где никогда не бывал. В пятнадцати верстах от села, в деревеньке Малые Салтыки, грозного барина поджидали две тройки: в одной раздувал усы, исходя рвением, становой, другая, составленная из легконогих, гривастых башкирских лошадок, должна была лететь впереди, чтобы сообщить о приближении барина.

Башкирская тройка разом скрылась в золотистой пыли, за ней, действуя всей мочью на ямщика, но все-таки отставая, неся становой, в полумерсте следовал экипаж Голицына. Въезд получился торжественный, как и воображалось.

Но дальше пошло хуже. На беду, в Салтыках звенела и пенилась, гомозилась и кудрявилась ярмарка, самая большая и богатая в году — Троицкая, и появление барского экипажа хотя и не осталось вовсе незамеченным — мужики на всякий случай снимали шапки, — но питейные заведения, балаганы, ломящиеся под снедью лотки, побитие мелких воришек, снующие в толпе ястреболикие цыгане, сулящие уступить за бесценнок настоящего орловца, смуглые азиаты в тюбетейках и стеганых халатах, развратившиеся лица баб и девок — вся пленительная пестрота и су-

эта настолько задурила крестьянские головы, что Голицын не услышал ожидаемого «ура», не узрел всеобщего колеснопреклонения. Правда, когда зеленая с золотом коляска въехала на плотину, ударили колокола, но благовест потонул в грубом шуме расходившейся ярмарки, а духовенство не вышло навстречу с хоругвями и святой водой.

Было от чего прийти в ярость и человеку не столь горячему, как Юрка. Никем не встреченный, словно рядовой прихожанин, вошел он в храм, окинул орлим оком его ненаселенность и тут же обнаружил непорядок, да что там — святотатство!

В боковом приделе, у иконы Божьей матери, пономарь, с длинными сальными косицами, ругал матерно черных старушек, похожих на летучих мышей. Крепко подвыпивший и впавший в скверну, церковнослужитель придумал такую методу: только поставит старушечка свечку в заляпанный воском свечник, как он тут же эту свечечку вынимает, гасит, посплюнув пальцы, и прячет в карман. А потом все нахищенное сбудет на ярмарке, а выручку пропьет в кабаке. Старушки бессильно протестовали.

Юрка глазам своим не верил. Как мудры речи простого народа: «Пономарь близко святости топчется, а во святых нету их». Вспомнилось и другое: рыба гниет с головы. Чего ждать от темной деревенщины, очумевшей от ярмарочного разгула, коли само духовенство такой пример подает? Этот вот пьянчуга и вор не встретил на паперти князя своего, только вполсилы брякнул раз-другой в колокол — и шась старушечьи свечки, на последний грошик купленные, прикарманивать. Да еще сквернословит, прихожанок забирает и господу в лицо плюет! И все это во время святой службы!..

Юрка подошел, молча накрутил на руку сальные косицы пономаря и провел его через всю церковь к алтарю, где священник совершал проскомидию. Голицын переложил власы пономаря из правой руки в левую, осенил себя крестом и своим звучным голосом, смягчить который мешали и оскорбленное религиозное чувство, и долг реформатора, и гулкость храмовых пространств, сообщил о бесчинстве пономаря и потребовал сурового для него наказания. Ему и на ум не вспало, что бесчинство совершает он сам. «Вы не на конюшне, ваше сиятельство, а в храме», — прошелестел шепот священника, а бледно-голубой взгляд укоризненно скользнул по могучей фигуре блюстителя храмовой чистоты, после чего поп спокойно продолжал службу. Голицын понял, как глубоко зашла порча и сколь

своевремен был его приезд, но не стал пререкаться перед алтарем, а тем же макарон провел пономаря через храм, выволок на паперть и здесь дал волю своему гневу. Рыча, аки лев, он сорвал с пономаря стихарь и велел посадить его под арест при конторе, а благочинного вызвать в дом для наставления.

Старый умный священник не заставил себя долго ждать. Хладнокровно претерпел княжеские громы и молнии, заверил, что с пономаря строго спросится, и просил отпустить его из княжеского узилища для отправления положенных обязанностей, ибо заменить некем.

Несколько остыв и утомившись этой пустой и неяркой историей, к тому же уверенный, что дал хороший урок нерадивым пастырям, Голицын приказал выгнать пономаря из места временного заключения. И тут, внезапно наскучив всем окружающим, не пожелав даже свидетельств со своими «детьми», заигравшимися в ярмарку, Юрка решил ограничиться для начала лишь церковной реформой, остальное отложить до лучших дней, и ускакал в Харьков на приготовленное ему место.

По свойству своего отходчивого характера он довольно быстро забыл об учиненных ему обидах и не держал зла на салтыковцев, захваченный новой заботой. Его главная мечта проснулась в нем. Он словно вспомнил, что теперь ничто не мешает ему собрать хотя бы небольшой хор из крепостных Долгоруковых, обучить их и потрясти харьковчан таким пением, какого они сроду не слышали.

Сказано — сделано. Он набрал тридцать мальчиков и стал обучать их правильной методе хорового пения. Поставив им голоса, он принялся разучивать с ними старинные русские песни, которые сам же обрабатывал, а также отдельные сочинения Бортнянского и Ломакина. Дело пошло на удивление споро. Он объяснял это и тем научением, которое сам прошел у Ломакина, с присущим ему — теперь он в этом не сомневался — магнетизмом, без которого нет дирижера, и природной одаренностью маленьких певцов. Поначалу зажатые страхом и приниженностью, они лишь бессмысленно тарасили глаза, тряслись мелкой дрожью, не слышали ни единой ноты, не попадали в тон, но через несколько спевов, привыкнув к строгому лишь по виду барину, убедаясь в его терпении и добродушии, начали делать удивительные успехи. И до чего же они были смыслеными! Голицына не могли обмануть ни безупречный слух, ни старательность, ни хорошие верхи, он мгновенно чуял, по-

нимают ли певцы, что поют, или бездумно разевают рты. И эти мальчишки по ним а ли, заниматься с ними было куда интереснее, нежели с пажами. Он с благодарностью вспоминал слова Ломакина о сообразительности деревенских ребятишек; поверив старому капельмейстеру, он сэкономил и время, и душевные силы.

Тогда уже находились люди, относящие быстрые успехи Голицына в обучении хора к тому трепету, который этот верзила и громобой внушал яремной покорности рожденных в рабстве. Но причина была в прямо противоположном. Нервный, дерзкий, несдержанный до буйства, князь был научен видеть в участниках своей капеллы равных с ним перед лицом искусства сотоварищей. Ко всем хористам от мала до велика он относился не только терпеливо, но и уважительно. И чем дальше, тем проще и естественней это ему давалось. Они могли сбиваться, фальшивить, терять какие-то ноты, упорствовать в непонимании, он не раздражался, не повышал голоса, спокойно и настойчиво пробивался к тому роднику, где зарождается песня. Верный ломакинским наказам, он щадил человеческое достоинство подневольных людей. Оказывается, даже в самых забитых, замордованных есть некая хрупкость, которой нельзя касаться. И хористы скоро начинали понимать, что строгий, грозный великан вовсе не страшен, он любит песню и хочет от них лишь одного — чтобы они хорошо, с душой пели. Да ведь и они — в подавляющем большинстве — были по призванию песенными людьми и тоже хотели, чтобы песня жила, дышала.

Вскоре небольшой детский хор Голицына стал нарахват. Хор пел не только в домовых церквях генерал-губернатора, но и в сельских церквях многочисленных долгоруковских родственников, в частных домах, даже в благородном собрании, где устраивались концерты духовной и светской музыки.

Но если представить себе харьковскую жизнь Юрки Голицына лишь в свете его музыкальных увлечений, когда в просветленной сосредоточенности начинало ровно, сильно и ритмично биться его слишком беспокойное сердце, то картина будет, мягко говоря, односторонней. Он все-таки оставался любителем — «аматёром», как тогда говорили, отдавая музыке часы, остающиеся не от службы, разумеется, — нынешнее безделье превосходило пажеское, — а от светской жизни, балов, бесконечных визитов, карточной игры, всегда убыточной для азартного и нерасчетливого князя, флирта, сочинения альбомных стишков, цыган и зап-

равских романов одновременно с несколькими дамами, принадлежащими к верхушке харьковского общества. Его репутация бретера, основанная на ложных слухах и безобманной уверенности, что он всегда готов выйти к барьеру, заставляла мужей закрывать глаза на слишком милостивое отношение своих жен к князю. Это хорошо и удобно объяснялось материнской снисходительностью к одинокому юноше. К тому же над Юркой простиралась охраняющая длань генерал-губернатора, мягкого, как воск, лишь с родней и вышестоящими.

Впрочем, сам Долгоруков в конце концов счел нужным одернуть разнуздавшегося «протеже». У него произошло серьезное объяснение с Юркой из-за старого брюзги графа Сиверса, с которым они оба состояли в довольно близком родстве.

— На тебя жалуется граф Сиверс, — строго сказал генерал-губернатор коллежскому регистратору, плевавшему со скуки во все четыре угла приемной, — он был в этот день дежурным. — Ты ему нагрубил.

— Вот те раз! — искренне удивился Юрка. — Это оговор, ваше превосходительство.

— Побойся бога!.. У тебя нет ни малейшего уважения к старшим.

— Уважения?.. Да я благоговею перед графом. Где бы мы ни встретились, я почтительно и нежно целую его в обе щеки.

— Не насмешничай, шалун! Ты прекрасно знаешь, что граф ненавидит целоваться с мужчинами.

— Зато очень любит с женщинами, несмотря на свой преклонный возраст.

— Что ж, это звучит ободряюще. Но ты — мальчишка и вполне мог бы целовать графа Сиверса в плечико.

— Он мне это и предложил. Вернее сказать, дал на выбор: чмокать его в руку или в плечико.

— А ты что ответил? — пряча улыбку, спросил Долгоруков в предчувствии очередной Юркиной выходки.

— Я со всем смирением сказал: очень рад, дядюшка, по крайней мере, я не буду колотиться о вашу трехдневную щетину.

— Ай-ай-ай! — укоризненно покачал головой Долгоруков, в глубине души довольный унижением чванливого и глупого родственника, корчившего из себя екатерининского вельможу. — Надеюсь, при этом не было дам? — спросил он, рассчитывая как раз на обратное.

— Увы!.. — понурился грешник. — Дамы присутствовали

при нашем разговоре. Я как-то не подумал о них в юношеской своей простоте.

— Понятно, что он так разъярился!

— Лучше я вообще не буду его целовать, — с таким видом, словно нашел наилучший для всех выход, сказал Юрка. — На него не угодишь.

— Вся беда, Голицын, в том, — строго произнес губернатор, — что ты бездельничаешь. Ветер в голове. Некуда силы девать. Я сам виноват: потакал твоей лени. Довольно порхать по гостиным, надо служить. Чтоб с завтрашнего дня ты занимался делом!

— Каким? — наивно спросил Юрка.

Вопрос застал губернатора врасплох.

— Дел непочатый край, — сказал он уклончиво. — Не буду тебя принуждать, нет хуже — работать из-под палки. Ты должен сам найти себе занятие. По уму, способностям и стремлениям. И не сидеть сложа руки.

На другой день, корпя в своем кабинете над бумагами, смысл которых не постигал, поскольку едва владел русским, а кудряво-провинциальный слог чиновничьих докладных повергал его в столбняк, генерал-губернатор услышал какой-то треск, вернее, шелк из соседнего помещения: то звонкий, то глухой, он повторялся через равные промежутки времени, примерно через каждые десять секунд — высчитал Долгоруков, которого этот необъяснимый назойливый шум вначале раздражал, потом заинтриговал, потом стал бесить своей необъяснимостью и наконец подействовал усыпляюще. Строки канцелярского велебрания запрыгали в глазах, рассыпались, князь погрузился в дрему, а когда вновь вынырнул в явь, успев увидеть короткий дурацкий сон, будто он взнуздан Юрку Голицыну и прискакал на нем к своему дворцу, а княгиня выскочила в пеньюаре и в слезах с криком: «Бедный мальчик, его даже не подковали!» — шелк за стеной продолжался. Долгоруков сперва услышал эти неотвязные звуки, потом лишь обнаружил что-то массивное, красноречивое и усатое возле своего письменного стола.

— Защиты прошу, ваше высокопревосходительство!.. — жалобно произнес незнакомец.

— Кто вы такой?..

— Здешний помещик, полковник в отставке Сергей Сергеевич Скалозуб, — услышалось князю, и он понял, что еще не окончательно проснулся.

— Кто вас сюда впустил? — спросил он, чтобы собраться с мыслями.

— Допущен чиновником вашего сиятельства как имеющий просьбу до вашей милости! — отпартовал отставной полковник.

Юркины проделки, подумал Долгоруков, я же запретил пускать ко мне этих бурбонов. Но суровое лицо губернатора смягчилось. Бурбон был из местных помещиков, и, надо думать, не из самых мелких. Опыт научил Долгорукова не слишком доверять внешности: какой-нибудь неотесанный мужлан, медведь косолапый, оказывался владельцем тысяч душ, а лохотонный англоизированный джентльмен — заложенных-перезаложенных «Сопелок» о три двора.

Просьба у бурбона оказалась самая неожиданная: образумить его молодую жену, от которой он терпит всякое притеснительство.

— Г-м, — откашлялся Долгоруков, удивляясь причудам жизни, налагающей на генерал-губернатора посредничества между дураком-мужем и вздорной бабенкой.

— Я так понял, Сергей... э-э Сергеич, что супруга моложе вас. Сколько же ей?

— Восемнадцать уже стукнуло, ваше сиятельство.

— А вам?..

— Мне еще и на седьмой десяток не шагнуло.

— А она... что... бьет вас?

— До этого еще не доходило, — бурбон всхлипнул. — Но никакого уважения не оказывает, а ведь я верой и правдой служил царю и отечеству, военным крестом награжден. И ничем, ваше сиятельство, не обижен: именице порядочное — до тысячи душек, сад эдемский, пруд с карасями, лошадок скаковых ей для баловства держу, картины в золоченых рамках развесил, журналы из Питерсбурха выписываю, кажись, живи и радуйся, так она все уязвить норовит и до себя не допускает. Явите божескую милость, ваше высокопревосходительство, пришлите чиновника, чтобы ее вразумил, научил, как с мужем обходиться. Пенаты мои недалеко: двадцать верст по Московскому тракту. Село Кушелево.

— Хорошо, Сергей Сергеич, я подумаю.

— Век буду господу богу за вас молить!.. — слезы заложили горло старому воину.

Он вышел, а в уши, в мозг Долгорукову вновь застучал железный клюв. Отшвырнув кресло, он быстро прошел в соседнюю комнату.

За столом сидел Юрка Голицын и деревянным молотком колот грецкие орехи. Перед ним высился Эльбрус

пустых скорлупок, а по левую руку стоял берестяной туес, доверху полный орехов.

— Экая же ты свинья, Юрка! — в сердцах сказал Долгоруков. — До мигрени довел.

— Выполняю ваше приказание, — деловито ответил Юрка. — Ваше сиятельство изволили пожелать, чтобы я нашел себе занятие по уму, интересу и способностям и чтоб предавался ему со всем усердием. Что я и выполняю, не щадя живота своего.

— Меня ты не щадишь, лоботряс! Но хватит, завтра ты выезжаешь с особым поручением. В Кушелево, на Московском тракте. Ты должен будешь наладить семейную жизнь тамошнему помещику, полковнику в отставке и кавалеру.

— Дядюшка! — в отчаянии вскричал Юрка, ближайшие планы которого связывались вовсе не с налаживанием чужей семейной жизни, а с прямо противоположным. — Я не справлюсь!

— Справишься, мой друг. И пока не справишься, назад не возвращайся. В священном писании сказано: жена да убоится своего мужа, сию истину ты должен вложить в голову супруге почтенного Сергея Сергеевича.

— Дядюшка! Ваше превосходительство! Да как же я смогу втемяшить эту благоглупость в голову какой-то крокодилице?

— Довольно! Исполнять! Живо! — это был сладостный миг расплаты за все бесчинства племянника. — Орешки можешь захватить с собой.

— Досталось же мне на орешки, — пробормотал Юрка, прикрывая шуткой свое поражение...

На другой день он прибыл в Кушелево. Он не ожидал, что именно окажется таким справным: большой барский дом с флигелями, где располагались службы, с двумя каменными львами перед парадными дверями (у одного из царей пустыни была отбита морда), с садом и густым парком, оранжереями и каскадом прудов, — все это великолепие стоило, надо полагать, немалых денег, и полковник был вправе требовать от своей благоверной внимания и благодарности. Отставной денщик, наследие боевого прошлого хозяина поместья, проводил Юрку в господский кабинет. И тут образ цивилизованного помещика разом померк. Цепкая память Голицына навсегда сохранила в мельчайших подробностях вид и «содержимое» этого кабинета, никогда не отвечавшего своей прямой цели — умственному труду: облезлые турецкие диваны, персидские настенные ков-

ры, служившие ярким фоном воинским и охотничьим атрибутам тульского изделия, литографии, изображающие исторические победы русского оружия под Хотином, Ахалцихом, взятие Варшавы и заключение славного Адрианопольского мира. Привлекал внимание поясной портрет хозяина в золоченой багетной раме: военный сюртук с жирными эполетами либерально расстегнут «а-ля Ермолов». Правда, все ластивые потуги живописца не смогли придать топорным чертам и тусклому взгляду полковника крутой ермоловской значительности. По другую сторону был заветный угол хозяина: над засаленным диваном и ковром с турецким всадником широко раскинулись ветвистые рога марала, что выглядело как-то двусмысленно. Хорошо смотрелся письменный стол, на котором не было ни чернильницы, ни перьев, ни бумаги, ни разрезного ножа, лишь кучки пепла, кремнь, трут, огниво, длинный гвоздь ковырять в трубках, колотушка для орехов, заставившая Юрку поморщиться, медный залитый воском подсвечник. Умственную жизнь представляли разрозненные номера «Губернских ведомостей». Зато трубочный ставок приютил множество хорошо обкуренных трубок, помещенных по ранжиру: одни с надломленными янтарными мундштуками, залепленными красным сургучом, другие — с траурными перышками.

Когда появился чуть запыхавшийся хозяин, Голицыну показалось, что они давно знакомы: меньше всего этому способствовал сильно приукрашенный портрет, но весь его облик, вполне соответствующий внутренней сути, являлся как бы естественным продолжением продавленных турецких диванов, персидских ковров, неопрятного письменного стола, вонючих трубок, кавказского оружия тульского производства. Но за этим дремучим образом ощущалась прочность: деньги позволяли степняку держаться независимо, даже нагло.

— Не ожидал!.. Не ожидал!.. Видит бог, не ожидал!.. — закричал он еще с порога, неприязненно сверля Юрку медвежьими глазками.

— Чего вы не ожидали? — лениво процедил Юрка, смутить которого было нелегко.

— Не ожидал, что губернатор так странно воспримет мою просьбу. Я ждал, что мне пришлют человека солидного, рассудительного, имеющего опыт жизни, а не... — он не договорил и схватился за трубку.

— А не мальчишку, — так же лениво подсказал Юрка. — Кстати, разрешите представиться: князь Голицын.

— Очень приятно, — хмуро кивнул хозяин. — Лещук Сер-

гей Сергеевич... Но рассудите сами, князь, по вашим годам вы могли быть моим внуком.

— Но и братом вашей жены,— сказал Юрка с поклоном.

Тут дверь кабинета распахнулась, и Голицын разом перестал жалеть о возложенном на него поручении. Вместо ожидаемого крокодила в комнату впрорхнуло бабочкой очаровательное существо с золотой головой и черными глазами — вчерашняя институтка во всем обаянии юности, своенравия и не подавленной еще жажды жизни.

Голицын вскочил.

— Сонечка,— с кислым видом произнес муж.— Знакомься: князь Голицын.

— Рада приветствовать вас, князь, в нашем грустном уединении,— на превосходном французском сказала Сонечка и протянула ему узкую, изящную руку, которую князь почтительно поднес к губам.

Чем больше узнавал Голицын Сонечку, тем сильнее пленялся ею. Развитая, начитанная, одаренная художница, прекрасная музыкантша, ученица Гензельта, она бегло играла самые трудные фортепьянные пьесы, очаровательно пела. Она оказалась смелой наездницей, неутомимым ходокон и, самое удивительное, терпеливым рыболовом. Голицын не встречал существа женского пола, столь щедро одаренного природой и столь прилежно умножавшего эти дары. Боль, сожаление наполняли его широкую грудь: экая досада и несправедливость, что в провинциальной глуши расцветают столь благоуханные цветы, пестуются в столицах, и возвращаются назад в глушь и духоту, на печальное одиночество, увядание и смерть. А все потому, что пусто в кармане у разорившегося папашки. И старый варвар с вонючими трубками, траченными молью коврами и засаленными диванами, тупой и темный солдафон получает власть над таким эльфическим созданием. Правда, в данном случае власть несколько призрачная. Какое счастье, что тонкая, как тростинка, девочка (язык не поворачивается назвать ее «женщиной») наделена сильным, стойким характером. Наверное, несладко приходится дедушке Лещуку, если потащился с жалобой к губернатору. Но как бы то ни было, чиновник по особым поручениям обязан выполнить возложенную на него миссию: внести покой и лад в жизнь семьи, избавить старого воина от притеснений со стороны юной, но непочтительной супруги. И Голицын впервые загорелся служебным рвением.

Уже через несколько дней Юрка понял, что готов до конца дней налаживать семейную жизнь старого бурбона. Некоторые излишние трудности создавал сам муж-страдалец.

Он неотступно следовал за ними: они верхом — он верхом, они в лес — он в лес, они в музыкальную комнату — и он туда же. С кислым, недовольным видом старик внимал эгегическому дуэту «Не искушай меня без нужды» и страстным всплескам «В крови горит огонь желанья» — под бурный Сонин аккомпанемент. Возбужденные лица певцов отражались в черно-зеркальной крышке рояля. Он даже на стильную рыбалку притаскивался со своим бивуачным ревматизмом и, надсаживаясь утренним мокротным кашлем завязанного курильщика, спугивал рыбу и получал от жены нагоняй, смягчаемый присутствием чиновника по особым поручениям. Когда же после обеда они катались на лодке, он мотался по берегу в каком-то бабьем салопе, чтобы не простудиться от воды, и с подзорной трубой, а по вечерам дремал в гостиной под декламацию пушкинских и лермонтовских стихов. Голицыну казалось, что старый Лещук только мешает воцарению полного мира в семье. Он же видел, как расцветала жена от музыки и сладкозвучья рифм, от быстрой скачки по полям и лугам, от всей радости напряженной, насыщенной жизни, которую он не мог и не хотел ей дать. А ведь Соня перестала шпынять его, унижать, изводить капризами и насмешками, он обрел долгожданный покой, но покой этот оказался хуже прежних мучений.

Как ни был простоват в науке страсти нежной старый помещик, он все же понимал, что за стихами, музыкой, прогулками и рыбной ловлей скрывается нечто большее, нежели простое партнерство, и места себе не находил. Он учредил слежку за молодыми людьми, поскольку сам иной раз не поспевал,— лакеи, казачки, горничные, все дворовые бездельники были пущены по следу быстрой пары. Пусть знают, что они всегда под неусыпным наблюдением. С одним лишь не мог сладить ревнивый бурбон: когда по вечерам начиналось чтение вслух романов леди Ратклиф или Жан-Жака Руссо, глаза у него склеивались, трубка выскальзывала из рук, голова падала на грудь.

Сонечка и Юрка не сразу поверили, что он и в самом деле проваливается в глубокий сон, подозревая хитрую уловку. Когда же наконец поверили,— «в тот вечер они не читали»...

Не читали и в следующий вечер...

Похоже, что отставному полковнику снились тяжелые сны,— еще через день он отправил нарочного с письмом к губернатору, умоляя отозвать чиновника по особым поручениям и клятвенно заверяя, что никогда больше не обременит его превосходительство своими семейными неурядицами.

Князь Голицын спел, нет, взрыднул, в последний раз гли-

ковским «В крови горит огонь желанья», сдержанно попросился с Лещуком под ветвистыми рогами марала, почтительно поцеловал руку Сонечке, взяв с нее слово не уподобляться библейской Юдифи и не делать «секим башка» кушелевскому Олоферну, и укатил.

В цокоте лошадиных копыт ему звучало, замирая:

Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина.

— Осмелюсь доложить,— рапортовал он князю Долго-рукову,— что ваше распоряжение выполнено. Во все время моего пребывания в Кушелеве между супругами царили мир и согласие. В почтенного Сергея Сергеевича не было запущено никаким предметом домашнего обихода, он не подвергался ни физическому, ни моральному оскорблению, тишина дома нарушалась лишь музыкой, чтением стихов, шуршанием страниц и его храпом. Супруга тоже полностью удовлетворена.

— Ты этого хотел, Жорж Данден! — вздохнул князь.

— Мне кажется, я заслуживаю награды,— заметил посланец.— Ну, хотя бы скромную Аню на шею.

— Если и заслуживаешь, то не на шею...— вскипел князь.— Ладно, ты все же избавил меня от этого смешного и докучного человека.

— Тронут милостивыми словами вашего сиятельства! Могу я вернуться к орехам?

— Вон!.. Чтоб духу твоего не было! Ты хорош только в гостиных и на клиросе. Отныне я буду использовать тебя исключительно по особо важным поручениям... деликатного свойства.

— Не смею утруждать!..— и очень довольный Голицын покинул канцелярию генерал-губернатора.

Он вернулся к обычным шалостям, но вдруг все оборвалось: волокитство, кутежи, картежные баталии; неугомонный Юрка Голицын круто изменил весь образ жизни.

Окружающие терялись в догадках. Высказывались самые невероятные предположения: что ему было небесное знамение, потрясшее его душу и навсегда отвадившее от греховных помыслов. Душа князя и впрямь была потрясена, но не явлением призрака или огненных писем, или вещим сном, или таинственным гласом, нет — вполне земным образом маленькой, тоненькой, стройной девушки — одной из дочерей популярного в Харькове и небезызвестного в столицах Николая Дмитриевича Бахметьева — Екатерины, Кати, Катеньки!..



На каком-то не очень пышном балу Юрка приметил миниатюрную девушку, прячущуюся за спины подруг. Он и сам не мог понять, почему эта Золушка привлекла его внимание, когда вокруг было столько ослепительных существ женского пола. Может быть, именно по контрасту?.. У нее были темно-русые волосы, правильные мелкие черты лица и очень темные, как наклеенные, брови над светлыми задумчивыми глазами. И эти глаза как-то жалко-радостно вспыхивали с приближением очередного кавалера и, казалось, молили: ну заметьте меня! Но приглашали других девушек. Две из них были очень похожи на Золушку, только ярче, приметнее, особенно старшая — настоящая красавица, статная, кареглазая, с соболиной бровью. Но и младшая из трех сестер — Юрка догадался, что они сестры, — была прелестна полудетским задором и живостью бесенка. А Золушка как будто остановилась на пороге красоты, не смея его перешагнуть. На каждом балу встречаются такие вот серые мышки, они столь же обязательны, как подагрический старичок — неугомонный танцор, как претенциозная толстуха лет под пятьдесят, которую наперебой приглашают смеха ради, как надменный молодой человек из Петербурга, пользующийся бешеным успехом, но не устаивающий вниманием провинциальных львиц, как подвыпивший дворянин из уездной глуши, которого незадолго перед концом собрания выводят под руки, а он отчаянно цепляется ногами за стулья, столы, дверные косяки, как многое другое, что неотделимо от провинциальных праздников средней руки. И Голицын уделял незадачливым девицам не больше внимания, чем подагрическому старичку, толстухе, напыщенному столичному щеголю, подвыпившему дремучему дворянину, у него всегда была точная цель, которую он преследовал с упорством хорошего гонца. Была и здесь такая цель — дебелая жена полицмейстера, но внезапно охотничий инстинкт погас в нем. Что-то случилось, может, вспомнилась Сонечка, с которой так хорошо было кататься на лодке, петь дуэтом и читать романы Руссо, отмякшее сердце пожалело тихую, всеми пренебрегаемую девушку. Он решительно двинулся к трем сестрам. На этот раз у Золушки не мелькнуло даже тени надежды: с какой стати будет ее приглашать самый лучший танцор, самый блестящий молодой человек города, знаменитый своими эскападами, остроумием, бесстрашием, равно знатностью и богатством, — князь Голицын! И она неловко оглянулась сперва на старшую, потом на младшую сестру, когда князь с поклоном протянул ей руку. Это было так трогательно, так простодушно, что в душе у него зазвучала музыка нежности, печали и уми-

ления. И вдруг до Золушки дошло, что рука зовет ее, что случилось уже нечаемое чудо — принц явился. Девушка улыбнулась радостно и жалко и как-то по-детски рванулась к нему, словно боясь, что он передумает.

Юрка заранее смирился, что она не умеет танцевать, что они будут смешны и нелепы: он — такая громадина, она — такая крошка, — беспомощно топчущиеся посреди зала, но танцевала девушка легко и летуче, грациозно и упоенно. Он сказал: «Вы прекрасно танцуете, странно, что я никогда не встречал вас на балах». «Меня редко берут с собой». — «Почему?» «Я же некрасивая», — как о чем-то само собой разумеющемся сказала девушка. Разговор велся по-французски, и Голицын отметил ее истинно парижское произношение. По-русски она говорила хуже, с легким украинским акцентом. Голицын сказал ей об этом. «Ничего удивительного, — засмеялась девушка. — По-французски меня обучали парижанки, а русскому — священник-малоросс. Он говорил: «пьять», «пьятница», «звоните». Я взяла всего «пьять» уроков, но когда заговаривала дома по-русски, гувернантка прищипливала мне на платье красный язык. Почему-то это казалось ужасно стыдным». — Она засмеялась, в ней не было и тени жеманства, равно и кокетства, ее слова впрямую выражали то, что она думает, а лицо, улыбка, смех — то, что она чувствует. И еще — не было обиды на злую дуру-гувернантку, ни на домашних, которые не брали ее на балы, убедив, что она дурнушка. «У вас суровый отец?» — спросил Голицын. «О, нет! Он очень добрый!» — «Строгая мать?» Что-то страдальческое мелькнуло на миловидном скромном лице. «Нас у мамы много. Мои сестры такие красавицы! Мамы не хватает на всех». И тебя принесли в жертву сестрам, — подумал Голицын. Теперь он знал, что перед ним одна из Бахметьевых. Ее сестры росли и вызревали на солнце, что читалось в их броской внешности, а она — в темном углу, куда не достигал золотой луч. Но стоило ей покружиться в танце, услышать добрые, заинтересованные слова, и лицо ее чудно оживилось, щеки порозовели, заискрились светлые, серебристого оттенка глаза. Да ведь она куда привлекательнее своих выхоленных, забалованных сестер. Она настоящая красавица, а не эти куклы! — с обычным пересолом решил Юрка.

А когда начался разъезд и девушка в последний раз мелькнула перед ним в шляпке из тонкой соломы, стянутой ленточкой под нежным, чуть выостренным подбородком, и серебристые добрые глаза благодарно задержались на нем, Голицын уже знал, что ему не нужно ничего в мире, кроме любви этой девушки. Истаял без следа черты кушелевской

Сонечки, стерлись, как письма с грифельной доски, все иные женские образы, Юрка стал юношей, каким он никогда не был, исполненным благоговения перед таинственной женской сущью.

Первым почувствовал свершившуюся в Голицыне перемену хор: теперь вместо псалмов пели о земном томлении, о любви, о непорочной деве, но то была явно не богородица.

Деятельная натура влюбленного не могла довольствоваться мечтами, музыкальными излияниями и редкими краткими встречами на балах. Маленькая Бахметьева должна стать его женой. Она предназначена ему, а он ей. Князь сознавал, что достичь этого будет непросто. Конечно, он был прекрасной партией для любой девушки — и куда более родовитой, богатой, нежели Бахметьева, но мешало одно обстоятельство: между двумя фамилиями существовала вражда, не столь ожесточенная, как между Монтекки и Капулетти, но вьезшаяся в кожу синь-порохом. Юркина бабушка по отцу, знаменитая княгиня Грузинская (это она выписала из Грузии бедного родственника князя Багратиона, будущего героя Отечественной войны), имела брата князя Грузинского, предводителя разбойничьей шайки. Высокородный Стенька Разин, но без свободолюбия и социальных устремлений «атамана свободы дикой», держал на Волге несколько ватаг, грабивших всех без разбора. В конце концов он попался, было учинено следствие, которое вел молодой, энергичный жандармский офицер Бахметьев. Несмотря на все семейные связи князя Грузинского, который через сестру оказался в родстве со знатнейшими фамилиями России, честный, неглупый, упорный офицер, выдержав дружный и бесчестный натиск влиятельных заступников, довел следствие до конца. Князя осудили. Конечно, он избежал справедливого возмездия, но был сослан в принадлежащее ему село Лысково под домашний арест и там кончил свои позорные дни.

Князя Грузинские и весь их клан не простили жандармскому офицеру его ретивости и непреклонности, он же в свою очередь отнюдь не укрепился в уважении к семейству, защищавшему недозволенными способами закоренелого преступника.

Юрка Голицын, хотя и относился с комической симпатией к далеко не княжескому поведению своего двоюродного деда, просто из приверженности ко всяким безобразиям, куда больше уважал честность и твердость Бахметьева. Но ведь в нем, в Юрке, была капля буйной крови преступного князя, и едва ли он мог рассчитывать на расположение Бахметьева. Тем более что за недолгое пребывание в Харькове покрыв себя

ненужной славой, сделав все возможное, чтобы испортить свою репутацию. Опасения имели под собой почву, он не был в чести у Бахметьевых. Но это лишь поддавало ему жару. Надо было найти брешь во вражеской обороне.

Он пытался расспрашивать Катю о ее семье. Застенчивая и гордая девушка старалась не проговориться лишним словом о своих близких, тем не менее у Голицына сложилась весьма безрадостная картина ее домашней жизни. Он с первого знакомства заподозрил, что мать ее не любит, считает дурнушкой и не скрывает этого. Так оно и было. В детстве Катя была отдана под бесконтрольное попечение французской гувернантке, редкой гадине. Она измывалась над доброй и незащищенной девочкой, придумывая для ее невинных проступков изощренные наказания. Однажды Катя увидела, как кормят грудью ее новорожденного брата.

— Ах! Если б у меня был такой прелестный ребенок, я ни за что бы не отдала его кормилице.

— А что бы ты сделала? — вкрадчиво спросила гувернантка.

— Кормила бы его сама, — простодушно ответила девочка.

Шокированная гувернантка взвизгнула и едва не лишилась чувств. Виновицу нарядили в просторный сарафан кормилицы, повязали крестьянским платком, сунули под кофточку — для пущего сходства — подушку, дали в руки куклу и позвали детей полюбоваться ее унижением. «А как же ваша матушка позволила?» — скрипнув зубами, спросил Голицын. Он успел мысленно заголить гувернантку, привязать ее к хвосту скакуна и промчать по кочкарнику и чертополоху. «Мама не вмешивалась в мое воспитание», — пролепетала Катя.

Ничего себе воспитание! Это воспитание требовало, чтобы, собирая в лесу землянику, Катя самые крупные и красные ягоды отдавала сестрам, чтобы она первой просыпалась по утрам и будила гостей, которым рано в дорогу. Ее звали — гнусное лицемерие! — ранней пташечкой.

Естественно, что девочка, так мало обласканная людьми, обратилась к богу. Она была очень религиозна. Голицын, любивший в детстве прислуживать в церкви, чтобы выставиться перед прихожанами, петъ на клиросе, а недавно проявивший себя борцом за чистоту церковных нравов, искренне считал себя человеком богобоязненным. Он и Катя, столь тепло верующие, были созданы друг для друга.

Некоторый урон Катина религиозность потерпела при посещении в Киеве известного подвижнической жизнью схим-

ника Парфения. Катя призналась святому человеку в своем намерении уйти в монастырь. Оглядев миловидную и крепенькую при всей деликатности сложения девушку из-под густых нависших бровей, Парфений сказал с мужицкой грубостью: «Еще чего!.. Иди тогда, когда мать божья сама поведет тебя за руку. А до того и думать не смей. Живи по данному тебе господом естеству, выполняй предназначение истинной жизни». Катя не поняла. Тогда схимник положил ей широкую ладонь на грудь, чувствительно надавил и рек: «Сему живительному источнику не должно засохнуть».

«Ах, старый козел! — взныло в Голицыне. — Рассластился, хохлацкий Тартюф!» — И он дал себе слово при первой возможности съездить в Киев и оттащить за бороду старого сластолюбца, прикидывающегося святым угодником.

К его желанию стать Катиным мужем примешивалось что-то мессианское: он должен вырвать бедную девочку из дома, где с нею так дурно обращаются, из когтей нелюбящей матери, этой слепой и злобной карги. Но и папаша Бахметьев хорош — подкаблучник, рохля. Небось когда князя Грузинского допекал, был куда отважнее. Голицын понимал, что прямой путь ему заказан. Мелькнула мысль взять Катю увозом, но сразу была отброшена: она ни за что не пойдет за него против воли родителей. Тогда он ринулся напролом, сделав предложение по всей форме. Ему дали от ворот поворот, а Катеньке запретили видаться с ним. Ее перестали вывозить в свет. Она оказалась под домашним арестом, более тягостным, чем томивший когда-то князя Грузинского. Юрка ответил действиями, быть может, не говорящими о его зрелости, но весьма затеяливыми.

Прежде всего он нанял дом поблизости от Бахметьевых. Разделял их только большой сад. Юрка купил белую козочку, выдрессировал ее и превратил в письмоносицу. Козочка проникла на вражескую территорию и схоронилась в кустах. А когда Катя осталась одна, вышла из убежища и подставила ей шейку. При всей своей сообразительности козочка не могла сказать Кате, что под зеленой ленточкой скрывается записка. Но скромная, невинная Катя проявила вдруг сообразительность, ничуть не уступающую козочкиной, и сразу нашла записку и послала ответ с тем же почтальоном. Барьер немоты был преодолен, между влюбленными завязалась оживленная переписка. Белая шубка козочки и ее острые деликатные рожки то и дело мелькали в садовых зарослях и густой траве, и казалось, она понимает свою высокую миссию. Переписка велась по-французски, но, как уже говорилось, Юрка не умел писать толком ни на одном языке. У грамма-

тики любви свои законы, и Катя, переставшая скрывать свое чувство и от себя, и от любимого, целовала корявые и неграмотные строчки.

Конечно, князь не мог довольствоваться перепиской, ему необходимо было видеть Катю. И вот однажды на реке, протекавшей через огромный сад Бахметьевых, показалась гондола, лакированная венецианская гондола с задранной кормой, устланная ковровыми дорожками, с гондольером в расшитой шелком и бисером короткой курточке, с двумя смуглыми горбоносими гитаристами и рослым кудрявым певцом в роскошном одеянии из бархата цвета раздавленной вишни и серебристой парчи: на всех, кроме гондольера, были бархатные полумаски. Простор огласился звуками хорошо поставленного баритона, певшего о любви, звездах, тоске, любви и море — брачном ложе и могиле влюбленных.

Предупрежденная заранее козочкой, Катя первая оказалась на берегу реки, за ней во весь дух примчались сестры, дворня и приживалы, затем пожаловали и хозяйева дома.

Итальянцы в Харькове!.. Было от чего потерять голову. Последний раз итальянцев видели в Харькове два года назад. Они выступали в летнем городском театре — пели, танцевали, кидали ножи друг в дружку, не причиняя увечий. Когда они чуть поспешно уехали, распространился слух, что потомки древних римлян прибыли из Молдавии, где пользовались повышенным вниманием полиции. На этот раз все поняли, что имеют дело с настоящими итальянцами. Ликованию не было предела. Итальянцы исполнили серенаду с уплыли на своей едва колышущей воду длинной лодке. Лишь сам Бахметьев — старый жандармский волк — учуял неладное и без труда докопался до истины. Катю стали запирают, и козочка напрасно томилась в кустах с запиской под зеленой ленточкой.

Надо было искать новые пути. Голицын сведал, что неподалеку от Харькова в своем имении Водолаги доживает прабабушка его возлюбленной, древняя Мария Дмитриевна Дунина, вдова екатерининского генерал-аншефа, соратника Потемкина, Румянцева и Суворова. Генерал Дунин не терпел разлуки с любимой женой, и с дней Очаковской осады Мария Дмитриевна неизменно находилась при муже. Знаменитые главнокомандующие не только мирились с этим, но и чттили отважную, преданную, прямую до резкости женщину. Она родила шесть дочерей и единственного сына, погибшего в Бородинском сражении. Он был наз-

начен состоять при главнокомандующем, но сказал: «Пока идет сражение, я, сын израненного генерала, должен быть с полком. Я адъютант после сего». Но никакого «после» уже не было. Когда Марии Дмитриевне привезли известие о гибели сына, она спросила только: «Как он погиб?» «Как герой», — ответили ей. «И слава богу!» — сказала она, не проронив слезинки.

Она вдовела без малого полвека, у нее было двадцать четыре внука и семьдесят два правнука, все молились на нее, как на икону. Живая история: она видела капризы, дикие выходы и тоску Потемкина, чудачества Суворова, живописное самодурство Румянцева, ей было пресно среди нынешних прилизанных, послушных, правильных в каждом жесте и слове людишек. На том и строился расчет Голицына.

План был до гениальности прост и доказывал, что восемнадцатилетний лентяй, кутила и безобразник неплохо знал людей. Он приехал в Водолаги к поздней обедне и в малонаселенной церкви истово молился, прося господу ниспослать ему милость: дать в жены ту, которую он любит больше собственной жизни. Жаркие эти моления были подслушаны старушками из церковной десятки и самим благочинным. По окончании службы он приветил усердного богомольца, узнал, что это князь Голицын, чем, естественно, был немало польщен. Князь поразил и обрадовал священника глубоким знанием всех тонкостей евхаристии, столь редким, почти небывалым в современном юношестве, а осведомленность его в акафистах и псалмах была прямо-таки уму непостижимой.

Из церкви князь прошел к управляющему имением, назвался, откушал чай, важно беседуя о нуждах края, — обрывки случайно услышанных разговоров в приемной и кабинете дяди-губернатора, — особенно занимали ум молодого помещика тонкорунные овцы, увеличение посевов кукурузы, дающей небывалый нагул мяса, и нужды дворянства в связи с назревавшей необходимостью экономической реформы. Старый и честный управляющий никогда не встречал среди молодых помещиков столь ответственного, серьезного и глубокого понимания своих обязанностей перед обществом. Князь скромно отклонил предложение быть представленным генеральше Дуниной, сказав, что считает себя не вправе беспокоить столь почтенную даму, свидетельницу блистательных побед России и деяний величайших мужей, просил выразить ей свое высочайшее уважение и укатил на каравой тройке, впряженной в легкую англий-

скую коляску. — красивый, как герои Древней Греции, скромный, как девушка, и чуть меланхолический от двойной заботы, обременяющей душу: личной и общественной. Вся дворня и все не занятые в поле селяне выбежали на улицы, чтобы посмотреть на чудесного зашельца, будто с неба спустившегося в их сонную тишину.

Конечно, генеральше было немедленно доложено о явлении князя со всевозможными лестными и для него, и для нее преувеличениями. Не верящая в современную молодежь, как все выходцы из другой эпохи, генеральша была очарована его набожностью, скромностью и серьезностью, взволновалась описанием его богатырской стати, пробудившей память о князе Таврическом, который был к ней весьма неравнодушен, и что-то молодое, не убитое годами, всколыхнулось в ней. До слез тронула горячая молитва влюбленного князя. Да, так любить могли лишь колоссы ее дней, а нынешняя мелюзга только приданным интересуется.

Генеральша Дунина была последней представительницей того патриархального самодурства, которое рудиментарно сохранилось в Юрке Голицыне. К примеру: своих дочерей она выдавала замуж по старшинству. Когда приехал свататься пожилой генерал Н., на очереди оказалась миловидная личиком, но горбатенькая дочь. Генерал смутился, он метил на ее младшую сестру. «Ишь рассластился, старый хрыч, — сказала генеральша. — Бери, что дают». Тот послушался и никогда не жалел об этом.

Естественно, что привыкшая поступать подобным образом, генеральша сразу подумала, что знатного и просвещенного юношу, набившего шишки на лоб в ее домашней церкви, следовало бы окрутить с одной из бесчисленных правнучек, что, кстати, излечило бы его от неудачной любви. Написав в Харьков, Дунина с восторгом узнала, что господь бог, предупреждая ее желания, поселил страстную любовь в сердце князя к одной из самых невзрачных ее правнучек Кате Бахметевой. Узнала она также, что он держит церковный хор, сам отменно поет на клиросе, но при этом пользуется репутацией бретера, дебошира и насмешника. Такими были и лучшие мужчины ее времени, совмещавшие глубокую веру и безрассудную отвагу с необузданным разгулом и чудачествами в часы отдохновения. Граф Суворов кукарекал и руками размахивал, будто петушьими крылами, а самого Бонапарте победил. Григорий Потемкин в кабаке глаз потерял, а был самовластным правителем России. Старуха сообразила, что визит Голи-

цына в Водолаги был неспроста: ему хотелось привлечь ее на свою сторону, но за уловкой влюбленного скрывалась вера в ее могущество, и это льстило гордой, нравной старухе. Значит, не списали ее в резерв, а к покровительству прибегать не брезговали ни Румянцев-Задунайский, ни ее муж генерал-аншеф Дунин, царствие ему небесное.

Она велела запрягать, чтобы разобраться во всем на месте. Из сарая выкатили допотопный дормез, хаживавший еще под Яссы, запрягли четверик сытых коней, и старуха покатила в Харьков в сопровождении громадного штата дворни, включавшего двух карликов и шутиху. Генеральша ничего не ела и не пила, а это требовало куда больше хлопот от obsługi, нежели любое чревоугодие, да и вообще обладала множеством старческих причуд, слабостей, капризов, привычек, которые обеспечивались лишь наличием бесчисленной дворни. Причудливый поезд славных дней «богоподобные Фелицы» благополучно, хотя и не скоро, достиг Харькова; старую генеральшу вынули из дормеза, растерли, облегчили от загустевшей в затылке крови, прочистили горькой пилюлей, выдержали сколько положено в постели, после освежили разными туалетными водами, собрали, упаковали во все положенные по ее достоинству одежды, насурьмили, sprыснули крепкими духами и отвезли на бал, а там ей представили Юрку Голицына.

Его облик превзошел самые радужные ожидания старой дамы.

— Господи, до чего же ты с князем Григорием схож! — поразила ее она. — Ростом, статью, плечом!.. Выбить бы тебе глаз да повязать черной тряпкой — вылитый Потемкин младых своих лет!

— Если вашему превосходительству угодно, — почтительно сказал Голицын, — можно и глаз выбить, — и он склонился к руке Дуниной.

— Ты очень уважительный молодой человек, — заметила Дунина, прекрасно понимая, что это за птица, да ведь таким, только таким должен быть настоящий мужчина и русский дворянин.

Не оскудела, не устала, видать, древняя кровь Голицыных, если забурлила в жилах такого удалыца. А славной, нежной, хрупкой, застенчивой, чуточку вялой Катюше только такого мужа и надо. Он ее разбудит, расшевелит, и славных ребятишек они нарожают. Добродушный, но скользковатый и упрямый Бахметьев неожиданно легко поддался уговорам праматери рода.

— Быть посему, бабинька, коли вы того желаете и да-

же здоровья своего и покоя не пожалели, дабы порадовать о счастье нашей Катеньки, — смиренно сказал он, крайне озаботив своей покладистостью пронизательную старуху.

Голицына и Катеньку открыто объявили женихом и невестой, и допотопный дормез, скрипя на ухабах, вздымая клубы пыли, пустился в обратный путь.

А жениха ждал весьма неприятный сюрприз. Когда он явился к будущему тестю с просьбой назначить день свадьбы, то был ошеломлен неожиданным условием, которое нельзя было считать ни нарушением слова, ни обманом доверия прабабушки, но которое откладывало неизвестно на какой срок бракосочетание. Теперь Голицын понял, что благодушный, улыбчивый, уютный коротыш не случайно носил голубой мундир и смог упечь мощно защищенного князя Грузинского. Оказывается, на Голицына заведено дело в родных тамбовских местах по обвинению в святотатстве. «Да если человек, столь чтящий божий храм с самых младых ногтей!..» Бахметьев движением пухлой руки остановил княжеские излияния. «Не нужно лишних слов, князь. Ваше усердие в делах веры общеизвестно. Но не случилось ли у вас столкновения со служителем вашей сельской церкви?» — «Неужто вы о пономаре говорите?» — «О нем самом». — «Да, я слегка проучил подлеца, воровавшего свечки у старух». — «Совершенно верно. Вы протащили его за волосы через всю церковь, вторглись в алтарь, когда священник совершал проскомидию, за что получили его отеческую укоризну. Но вы не оставили пономаря, а выволокли его на паперть, обругали площадной бранью и посадили под арест. Послушайте старого человека: какими бы благородными чувствами вы ни руководствовались, ваше поведение будет сочтено поруганием храма. А знаете, чем это грозит по закону? — Он потянулся за толстой книгой в заплевываемом кожаном переплете. — Лишением всех прав дворянства и ссылкой в Сибирь, на каторгу».

Голицына как громом расшибло. Вот результат его реформаторской деятельности, а ведь он хотел всего лишь дать предметный урок безобразнику пономарю, опозорившему храм. Да есть ли справедливость на земле? Что-то подсказывало ему, что справедливости нет, и он крепко влип. Но не таков был Юрка Голицын, чтобы предаваться отчаянию. Подлая история: церковники крепко друг за дружку держатся и ради выжиги пономаря готовы погубить потомка древнего рода. Но он найдет на них управу. Будут знать, как с ним связываться. Он пойдет прямо

к губернатору и добьется, чтобы виновных строго наказали.

— От всей души желаю вам удачи, — и что-то холодное, едкое, следовательское глянуло из голубых озерец слегка обабившегося отставника святого дела сыска. — Но имейте в виду, князь, моя дочь не декабристка и в Сибирь за вами не пойдет... Мы не пустим, — уточнил он жестко.

— Хорошо, — сказал Голицын. — Я еду в Тамбов. Через неделю буду назад. Надеюсь, все будет подготовлено к бракосочетанию. Вы дали слово, и я вам его не возвращал.

Бахметьев наклонил голову.

А ночью, нежась в супружеской постели, он сказал жене: «Ну, душечка, похоже, мы сбили с рук этого громилу. Ему не выкрутиться. Надо подыскать Катеньке не столь бойкого жениха». «Или пусть идет в монастырь, как собиралась», — ответила нежная мать.

Раскаленный яростью, Голицын уже мчался в Тамбов. Он решил потребовать от губернатора примерного наказания для клеветников. Конечно, генерал-губернатор не волен над их головами, это дело архиепископа, но в ответственные минуты светская власть и духовная всегда выступают рука об руку. А здесь обнаружился гнойник, который необходимо вскрыть.

...Он был полон той грозной музыки, которую исполняют на тромбонах (любимый инструмент небожителей) ангелы господни в судный день, и, оглушенный этой музыкой возмездия и уничтожения, долго не понимал вразумляющих слов старого чиновника, служащего при канцелярии генерал-губернатора Корнилова, чтобы он не подавал жалобы ни правителю края, ни тем паче — архиерею.

— Дело ваше можно замять, — втолковывал ему чиновник, — если, конечно, пойти на небольшие расходы.

— Что замять?.. Какие расходы?.. — гремел Голицын. — Я сгною негодяя пономаря в темнице, а попишку сошлю в заштатный монастырь.

— Т-с!.. — прикладывал палец с желтым прокуренным ногтем к бескровным губам старый канцелярист в засаленном, покрытом перхотью мундирчике и все приоткрывал дверь: не подслушивает ли кто — разговор происходил в номере лучшей тамбовской гостиницы «Пивато», где всегда пахло клопами и морилкой, в отличие от других городских гостиниц, где клопов не обижали.

Чиновник явился к Голицыну незванный, с облезлым бьюваром под мышкой, в котором находилась жалоба Го-

лицына, переданная им накануне в канцелярию для вручения его превосходительству. Написанная весьма высокопарным слогом, жалоба дышала гражданским негодованием и оскорбленной честью. Юрка гордился своим посланием — он проверил по словарю правописание каждого слова. И вот этот сивенький старичок, этот мозгляк принес его прошение назад, да еще уверяет, что за взятку «дело» может быть улажено. Голицын и сам не понимал, почему не раздавил его, как только он появился, да ведь не раздавил, лишь обрушил на лысеющую сивую голову поток громких фраз и даром перетрудило голосовые связки. Но особенно раздражали его маневры с дверью.

— Что вы там все смотрите? — спросил он с яростью.

— Не подслушивает ли кто, ваше сиятельство, — пояснил сивенький старичок. — Такое дельце надо тихесенько проверить.

Голицын хотел вспылить, но вместо этого вдруг спросил, понизив голос:

— О каком «дельце» вы все толкуете?

— Святотатство, ваше сиятельство, самое худое, что только может быть: не спасут ни знатность, ни богатство, ни даже связи. Решает все патриарший суд, а к нему не подступишься. В очень опасную историю вы попасть изволили, слава те господи, что я жалобу вашу успел изъять, — и он истово перекрестился.

— Ладно, — сказал Голицын высокомерно, но с легким холодком в животе. — Говори, как мне упечь пономаря?

— Куда упечь? — с чуть приметной улыбкой спросил сивенький старичок.

— В отдаленный монастырь! — отрубил Голицын.

— Ваше сиятельство, дельце сие весьма и весьма приискорбное... Исключительной тонкости требует. Я вам так скажу: есть у меня куманек, персона не знатная и не чиновная, но он может такое, что даже архиерею с губернатором не по силам.

— Ладно, давай своего куманька, — небрежно бросил Голицын.

— Ваше сиятельство, — сказал старичок, приложив руки к груди, — есть у меня дрожки, вот бы к ним сивенькую или пегенькую кобылку! А хомут, сбруя, потник — это все есть, не извольте беспокоиться!

— О чем еще я не должен беспокоиться? — взревел Голицын.

— О сбруе, хомуте, потнике, седелке, — как-то очень

спокойно ответил сивенький старичок, и Голицын понял, что за тихой наглостью — сознание своей силы.

— Ладно, — с княжеской небрежностью, которая не могла обмануть и менее ушлого человека, чем засаленный чиновник, решил Голицын, — будет тебе кобылка сивенькая, как ты сам.

— Премного благодарен! — захихикал старичок.

Вечером он привел куманька, предлинного мужа с крошечной головкой набок. При виде этой жалкой личности Голицын заколебался было, но, ухватив взгляд косых, мутных и холодных глаз, мгновенно преисполнился доверия: такой и невинного в каторгу упечет, и убийцу из петли вынет, и любое несправедливое дело обделает с отменной легкостью и спокойствием. Это был гений, но не заносившийся высоко: за все хлопоты он брал восемь золотых, еще два выпросил себе сивенький старичок «на овес».

Голицын тут же дал распоряжение приказчику уплатить деньги, а равно отвести на двор старичку сивенькую кобылку.

Вечером Юрка отличился в мазурке — на танцевальном вечере в дворянском клубе — с очаровательной Р-вой, после ужина проиграл ее мужу семьсот рублей в карты и под утро выехал в Харьков весьма довольный собой.

Вскоре он узнал, что пономарь сослан на два месяца в монастырь на покаяние и на тучное монастырское брашно с кваском особого приготовления, отчего у братии соловели глаза и краснели носы. Конечно, осквернитель храма отделался сущими пустяками, но Юрке уже осточертела вся эта чепуха.

Важно было другое: теперь он явится к Бахметьевым с гордо поднятой головой, сообщить, что дело не только улажено, но виновный понес наказание, и нет никаких причин откладывать свадьбу. Бахметьев был немало удивлен тем, как сумел вывернуться его будущий зять из обстоятельств крайне щекотливых, да еще наказать обиженного, и впервые в голубых, как жандармский мундир, глазах мелькнуло что-то похожее на уважение.

За год до совершеннолетия князь Юрка Голицын повел невесту к аналою в Харьковском соборе под пение «Гряди, голубица». Брачная церемония удалась на славу, не омрачило ее и то, что жених показал увесистый кулак сфальшивившему певчему.

После предотвращенной благородством и дружеством графа Сухтелена дуэли: Юрка за неверный ход швырнул ему карты в лицо, но граф, щадя молодожена и еще больше молодую, ограничился тем, что устыдил обидчика до

бурных слез раскаяния, чета Голицыных укатила в наследственную вотчину Салтыки Усманского уезда Тамбовской губернии.

Дочь князя Голицына Елена Юрьевна Хвощинская рассказывает в своих немудреных искренних воспоминаниях, как патриархально произошла новая встреча князя Голицына со своими подданными. На этот раз он не воображал себя реформатором, нетерпеливым, скорым на руку Петром Великим, нет, все было разыграно в духе священной русской старины, по обычаю и законам дедов.

«...В Салтыках отец приказал ехать прямо в церковь, где весь причт в облачении ждал новобрачных.

После благодарственного молебна молодой барин обратился к народу:

— Вот моя жена и ваша княгиня. Служите ей, как мне, хорошо и верно — она всегда будет к вам добра, будет ваша защитница и помощница в ваших нуждах.

Народ был одет по-праздничному, бурмистр со старостой поднесли на серебряном подносе большой сдобный папошник, заказанный в Воронеже и украшенный цветами, бабы по очереди подходили к матери: «касатушка наша, красавица»...

Молодые супруги приехали в Салтыки в конце сентября, а на Покров около дома были раскинuty столы и всех крестьян от мала до велика позвали обедать. После обеда народ пел, плясал и получил в подарок кто рубашку, кто кушак, а бабы — серьги, кокошники, дети — сласти...

Тон был задан. Дальше все пошло в том же патриархальном роде — с отеческой заботой и самодурством, радением о душе и плоти рабов своих в формах то тепло человеческих, то издевательских, и без малейшего сомнения в своем праве, истинности выбранного пути, верности божественному предначертанию.

Двадцатилетний шалопай правил своей вотчиной, словно удельный князь. После гомерических попок, укреплявших его связи с местным дворянством, Юрка исполнялся — по контрасту — великим религиозным усердием, от которого солоно бывало окружающим.

Войдя в быт крестьян, с которыми он обходился отечески-строго, тщательно наблюдая, чтобы бурмистр не заставлял их работать больше трех дней в неделю на барина (придет время, он вовсе отменит барщину), навещая больных — при всей своей мнительности, — врачую их нехитрыми лекарствами, а также возложением рук, по примеру старых французских королей, Голицын обнаружил вскоре

зияющие бездны невежества. Не в том дело, что почти никто не умел ни читать, ни писать, даже к азбуке не прикасался, но эти темные люди не знали ни молитв, ни заповедей. Голицын набросился на священников, требуя, чтобы не мешкая была заделана брешь в религиозном образовании народа. Он запретил венчать, если жених и невеста не выдержат соответственного экзамена. Конечно, это было ни с чем несообразно, но в Салтыках уже убедились, что против барина не пойдешь. Началось повальное обучение. Мужики и бабы до одурения талдычили про себя молитвы: в поле и на току, во саду ли, в огороде, у печи и на печи; мальчишки — пася гусей, скача на неоседланных лошадях в ночное, расквашивая друг дружку носы; девчонки — играя в тряпичные куклы, подсобляя матери по хозяйству. Молитвенное бормотание, подобно комариному, шмелиному или мушину гуду, стояло над селом. Особенно усердствовали те двадцать пар, которые готовились к венцу. Парней наставлял священник, с девками занималась княгиня Голицына, но, как ни старались пастыри и паства, дело шло туго, не удерживали крепкие крестьянские головы, споро соображавшие в полевых работах, торговле и домашнем деле, божественную мусть и ни к чему не применимые правила, отвергаемые всем опытом их жизни. Когда же богомольный князь отлучился в Тамбов по дворянским заботам, Екатерина Николаевна уговорила священника быстро всех обвенчать.

Счастье молодоженов было непродолжительным. Князь вернулся из отлучки и, узнав, что венчание произведено без строгого экзамена, устроил перезкзаменовку и обличил всех в чудовищном невежестве. Ничтоже сумняшеся он отменил свершенное перед лицом бога таинство, баб отослал на переподготовку к княгине, которую подверг немилости за обман, мужиками занялся сам. Молодые люди, разъединенные таким жестоким образом, с надсадой вызубрили положенное и были допущены к отправлению супружеских обязанностей.

Надо сказать, что молодую княгиню, воспитанную в духе истинного благочестия, к тому же натерпевшуюся от нравных повадок матери, отнюдь не восхищала подобная деятельность мужа, и первая легкая трещинка пронизала их отношения.

Но князь проявлял и совсем другие черты характера. Он был ласков и внимателен к дворне. Из людской к Голицыну приносили обед на пробу; если было невкусно, нежирно или пресно, он бранил эконома и приказывал

заменить кушанье. Соседи-помещики сетовали, что князь балует своих людей, на что тот отвечал вызывающе: «Я живу для людей, а не для собак, у меня и псарни-то нет». Псарня, правда, была, но сам Юрка не любил ни гона, ни ружья и устраивал охоты с борзыми и гончими лишь для окрестных помещиков, ибо так поступали все большие бары. Вообще в молодые годы Голицын многое делал из подражания. Дегустирование дворовых шей да каши пошло от прабабушки Дуниной, рассказывающей, что генералиссимус Суворов непременно пробовал из солдатского котла. Подражателем был и Юркин вельможный демократизм, расцветавший пышным цветом на пасху. На пасхальной службе все селяне, приложившись к образам и похристосовавшись с причтом, тоекратно лобызались с князем и княгиней. «Христос воскрес!» — шамкала беззубым ртом старушка. «Воистину воскрес!» — мощно звучал баритон князя, и трижды прижимались румяные уста к ветхой плоти крепостной. На другой день все старшие от каждой семьи усаживались за длинными столами, в ведро — на барском дворе, в ненастье — в покоях господского дома. Голицын усаживался с мужиками, его жена — с бабами, тут же находилось духовенство. Чтобы не смущать крестьян, приборов не ставили, горячее ели из чашек деревянными ложками, а остальное — руками по обычаю предков. На третий день Христова праздника князь и княгиня отправлялись в гости к тем мужикам, которые их приглашали. И не было случая, чтобы несдержанный Голицын позволил себе хоть одну дурную выходку. Молодая княгиня убеждалась в доброте и бесхитростности большого сердца мужа и любила его, как в первый день.

Отношения князя с крестьянами и дворней хорошо наладились из-за музыки. По приезде в Салтыки вхождение в помещичий круг не обошлось, конечно, без жарких карточных баталий, в которых горячий князь не знал удержу, как и во всем ином. Азарт в сочетании с доверчивостью сделал его легкой добычей поседевших за ломберными столами заядлых картежников, а также профессиональных шулеров, слетавшихся в его гостеприимный дом, будто стервятники на падаль. Князь оглянуться не успел, как проиграл двадцать тысяч. Не выдержала кроткая и покорная княгиня. Чувствуя под сердцем трепет новой жизни и с ужасом думая о том, что наследнику или наследнице останутся одни голые стены, если князь будет и дальше столь удачно вистовать, понтировать и держать банк, так умело загигать углы и отписывать мелом, она яви-

лась в разгар очередной жаркой и бесчестной баталии и громко сказала, к досаде и гневу князя:

— Неужто, милый друг, тебе не надоело быть дойной коровой этих людей?

— Что вы говорите, княгиня? — попытался разыграть возмущение один из ловцов удачи. — Счастье может улыбнуться вашему мужу.

— Нет, — жестко сказала княгиня, — не может. Вам все равно нечем будет расплатиться.

Партнер тут же испарился, а князь, глубоко оскорбленный и униженный, спросил жену, как могла она, такая деликатная и добрая, жестоко обидеть достойного человека, к тому же гостя.

— У тебя странное представление о достоинстве, мой друг, — спокойно сказала Екатерина Николаевна. — И он не гость, а жулик, забравшийся в дом. Его следовало бы сдать в полицию. Впрочем, он и так больше никогда не появится.

Княгиня не ошиблась. Через некоторое время Юрка признался, что терпеть не может карт, а любит только ее и музыку. Тут он говорил правду: его молодое чувство к жене переживало наивысший расцвет, а безотчетная тяга к музыке, сродни назойливому капризу, которому охотно поддаешься, становилась истинной страстью. И сейчас, укрепившись в своих феодальных правах, покончив с картами, попойками и охотами, Юрка всерьез занялся теорией музыки и принялся собирать крестьянский хор.

На этот раз он остановил выбор на женских голосах, привлекавших глубиной и проникновенностью интонации. С детьми, подростками и взрослыми мужиками он уже работал, а с женщинами было для него ново. Впереди ему мерещился громадный, человек на полтора, смешанный хор, но прежде надо было обучить певунов-милостью-божьей музыкальной грамоте да и самому основательно поучиться.

Юркин слух вел как бы самостоятельное существование. Его рассеянный владелец мог предаваться любой житейской суете, а чуткое ухо улавливало даже самую тихую, далекую музыку в пространстве. Сквозь грубые бытовые шумы ему звучала песня птицы и молодницы, усталое бормотание нищего на дороге, переплач колоколов за краем зримого простора, шорох опавшей листвы в перелеске за бугром, змеинный шип тающих снегов, первая звенья капли. Он любил всю дивную озвученность мира, но более всего любил песни, рождающиеся в груди человека. И те, что помо-

гают работать в поле и на току, и те печальные, бесконечные, как степная дорога, что тоскуя поют ямщики, и хмельной песенный галдеж загулявших на праздники мужиков, и песни девичьих посиделок, вечеров дворовых людей, лихие, часто непристойные, запевки под балалайку или ливенку, мальчишеские самозабвенные оры на неоседланных лошадях, старушечий гугнеж на завалинках, песни ярмарочных игрищ, обрядовые песни, отпевания, свадебные — до изумления разные: от невыразимой грусти до невыносимой гнуса, но и тут прекрасные безмерностью народного характера. А как славно поют солдаты на марше, вздымая сапогами дорожную пыль, а гусары — под гитару семиструнную, о цыганах и говорить не приходится, даже жиды сопровождают свой шабаш поразительными по древней горькой печали и тончайшей музыкальности стопами. А как дивно поют в церквях, коли хорошо подобран хор и регент — артист в душе! Хуже всего поют в гостиных: не по-русски скованно, жеманно, но и тут случаются чудесные голоса, чаще всего женские, и неподдельное чувство. А вообще хорошо поют в России, во всех четырех сторонах света, но недаром же говорится: своя сопля солонее — Юрке казалось, что нигде нет таких чистых, звонких, богатых голосов, как на Тамбовщине, такого свободного дыхания и чувства песни. А в самой Тамбовщине всех за пояс заткнет Усманский уезд, а в уезде том — большое торговое село Салтыки.

И дворня, а местные крестьяне и подавно не могли взять в толк, зачем молодой барин, картежник и выпивоха, отважный всадник и юбочник, как все грешники, но не зловерный, не прижимистый, даже приметливый к чужой нужде, — все в девичью норовит, хотя до сих пор не завел себе Цецилию, почему, ни уха ни рыла не смыслил в землешастве, так часто бывает в поле, на скотном дворе, на птичнике, где, правда, ни во что не суется. «Работайте, работайте, я — так!..» — постоит да и пойдет прочь; и на посиделки заглядывает, и в гости к мужикам охотно ходит, и в церкви ни одной службы не пропускает, всегда поет на клиросе. Скучно ему, что ли, с тихой молодой княгинюшкой? Она, и верно, тяжелая ходит и ничем его развлечь не может, а он, сердешный, видать, до того в доме своем затонул, что любому развлечению рад, любой запевке-нескладехе. Но вообще-то ни личность князя, ни его музыкальные поползновения не слишком занимали работающих и ушлых салтыковских мужиков — своих забот хватало.

Но все всполошились, когда бурмистр стал ходить по избам и требовать девок на барский двор. Все попытки откупиться, просто заменить одну девку другой, менее нужной в хозяйстве, ни к чему не вели: бурмистр набирал по списку, составленному самим князем. И как только смог он запомнить всех по именам? Но запомнил, люди сразу приметили, что косомордые, кривоглазые, хромые и увечные князю не требовались, подбирали он женский пол для неведомых надобностей, как жемчуг на нитку: одну к одной. В деревне поднялся ропот. Старая Галчиха, слышавшая по завиральной глупости прорицательницей, которой ведомы все тайные помыслы и намерения человеческие, брусилась, что затомившийся богатырь князь набирает себе цельный «гарей», так называют у турков бабью садовню для любовного увеселения салтана Махмуда под тихоструйную течь. Загадочная «тихоструйная течь» всех убедила. Если поначалу Галчихе не очень верили, уж больно много девок потребовали на барский двор, это ж никакого резона нету, каким бы усишком ни был молодой ядреный помещик, но под «тихоструйную течь» чего не натворишь.

Зашевелился, заволновался народ. «Не отдадим на поругание наших голубок!»... Особо лютовали чернобородые красногубые братья-близнецы Елфим и Прохор Прудниковы, хотя у них не имелось в семье девок. Были они до того схожи, что родная мать их путала. И в трудный час испытаний явили братья единый характер: дерзкий, отважный, решительный. Все же именно тут выявилась разница между ними: Елфим, который на полчаса раньше из мамки вылез, оказался первым горлом, верховодом, атаманом, а братан его Прохор работал на подхвате. «В топоры пойдем!» — призывал Елфим. «И пойдем!» — эхом отзывался Прохор. «Берись за вилы, мужики!» — надрывался Елфим в кабаке, ставшем штаб-квартирой назревающего бунта. «А хушь бы и за вилы!» — поддерживал Прохор.

И мужички начали прикидывать к руке вилы, колья, вострить топоры. Из соседних селений являлись гонцы с заверениями в полной поддержке салтыковцев. В Сиваках побили и зачем-то связали выжигу бурмистра, в Липинках сожгли ничейную ригу. Елфим, осаживаясь зорной водкой, которую перепуганный кабатчик отпускал задарма, туманно намекал, что, судя по некоторым признакам, он — то ли сам таинственно сгинувший в Таганроге император Александр I, то ли его сын и законный наследник. В этом Елфим явил дальновидный ум и глубокое понимание стихии русского бунта: чтобы восстать, народу необходим са-

мозванец, и непременно царского рода. Этим объясняется великий успех обоих Лжедмитриев и Емельяна Пугачева. Прохор, как всегда, с малым опозданием подхвативший государственную мысль брата, обернулся великим князем. Мужикам понравилось, что среди них оказались царственные особы, но они хотели бы точно знать, кто такой Елфим — сам ли Александр Благословенный, победитель злодея Бонапарта, или цесаревич, незаконно лишенный трона. Подумав, Елфим склонился к первому. И тут связной принес жуткую весть, что женский табун погнало в баню. «К чему бы это?» — недоумевали мужики, но Галчиха сразу дала объяснение: перед тем как Цецилией обрядить, непременно в баню гонят, чтобы отбить навозный дух, который баре страсть не любят, особо в постельном деле. Дальше тупейный художник им волосы уложит, оденут в виссон и поведут в барскую опочивальню. Такая осведомленность Галчихи казалась подозрительной: то ли ей самой в стародавние времена довелось побывать Цецилией, чему поверить трудно — уж слишком страхолюдна, то ли бабушка, как верная Личарда, одевала в виссон барских наложниц.

Но разбираться в этом не стали, да и кому важно, что было при царе Горохе, когда сейчас такое лютство затевается. Решено было выступать немедленно, но его императорское величество Елфим вдруг сковырнулся под стол, а за ним, чуть припозднившись, последовал великий князь Прохор. Восстание осталось без вождя, ватага — без атамана.

Пока судили да рядили, кому вести полки, примчался новый связной и сообщил, что отмывшихся девок причесали, облачили в белые хитоны и отвели в залу, где князь Голицын принялся разучивать с ними старую песню «Во лузях».

«Так это он хор собрал! — осенило мужиков. — А мы чуть в топоры не пошли!», «Могли и красного петуха подпустить, очень свободно», «А посла бы в остроге гнили», «Али б в Сибирь потопали». «В Сибирь — что! И в Сибири люди живут. В Нерчинские рудники не хошь? Там с живого мясо сползает». Новая весть окончательно повернула настроение салтыковцев. Князь положил хористкам после спевки обед, как для своих дворовых, деньгами сколько-то, одежду справную и послабление ихним семьям в барской отработке.

«И такого барина чуть не порешили! — сокрушались мужики. — Он нам отец родной, а мы супостаты окаянные!», «Это братаны Прудниковы, в рот им дышло, накрутили.

Вечно от них смута: летошний год конокрада-цыгана чуть насмерть не убили, а он и не цыган вовсе, а жид со скрипачкой». Решили намять бока близнецам, но оказалось, это уже сделал кабатчик, к тому же снял с них сапоги и запер в чулане впредь до возмещения убытков.

Тут салтыковцы вовсе успокоились и разошлись по домам, не забыв оповестить соседние селения, что бунт отменяется по отсутствию причины, и стали с нетерпением ждать своих девок. Те вернулись к вечеру в настроении разном, поскольку не всех взяли в хор, но все с подарками. Князь произвел добавочный отбор и оставил тридцать девок, самых чистоголосых и остроухих. С ними он будет заниматься, обучать нотной грамоте и разным песням: старинным, какие народ еще при Иване Грозном певал, духовным и светским. Был он ласков, терпелив и, хотя злился порой до бычьих глаз и скрежета зубового, когда кто фальшивил, или вперед вылезал, или подхватить запаздывал, ни разу не матюкнулся, даже укора резкого не сделал. И сам показывал, как петь надо, как дыхание держать, чтобы дольше тянуть и не задохнуться. А голос у него красивый, сочный, конечно, с дьячковской октавой не сравнить, а слушать приятно. Потом он разные закорючки на черной доске мелом рисовал, которые ногами называючи, но тут никто ничего не понял, а князь улыбался добродушно и уверял, что они оглянуться не успеют, как постигнут всю эту премудрость. И будет их хор ездить по другим имениям и даже в Усмань, Тамбов, может, в саму Москву для музыкальных представлений перед самой чистой публикой. А под конец княгиня из своих ручек каждой по ленте в косу подарила и по ниточке бусиков на шею.

Тут кто-то из мужиков в умилении княжескими милостями предложил покарать братьев-самозванцев усекновением главы. Предложение понравилось, но бабы отговорили: зачем портить такой хороший день.

Старики, правда, опасались, что князь сведает о черном умысле, и не миновать расправы. Они не угадали, как показало ближайшее будущее. Князь уже на другой день все знал о волнении, всколыхнувшем Салтыки и окрестные земли по причине умыкания девок, но не только не гневался, а хохотал до слез.

И на всех последующих спевках не изменял князь своей доброй манере. Позже, работая за границей с капризными профессионалами, он мог выйти из себя, вспылить, наорать и даже хуже, но, памятуя наказ Ломакина, с земляками, людьми подневольными, неукоснительно держал в узде свой ха-

рактер. С годами, распутившись, он стал щедро одаривать вниманием гувернанток и компаньенок жены, равно помещичьих жен, тамбовских светских дам, столичных львиц и деми-монденок, но сроду не обижал своих певиц, как и всех других крепостных девушек и женщин, разве что раз-другой не устоял перед чарами истосковавшейся в одиночестве солдатки.

Голицына удивляло, как быстро и толково пошло у него с обучением хористок музыкальной грамоте. Запомнить молитвы и поучения святых отцов они никак не могли, ему пришлось прибегнуть к самым крутым мерам, чтобы заставить их удержать в памяти несколько простых религиозных текстов, а нотные знаки осваивали с поражающей быстротой и легкостью. С голоса они и так умели, но он хотел привить им профессиональные навыки, сохраняя всю чистоту и подлинность народного исполнения. Помимо общих спевок, он занимался с певицами отдельно, открывая у них порой удивительные ноты. Он не признавал пения открытым звуком, а потому тщательно ставил хористам голоса. В репертуаре преобладали старинные песнопения в обработке Бортнянского, Дегтярева, Ломакина, позже — и самого Голицына, а это требовало школы, одного нутра было мало.

Музыкальные увлечения сблизили его с семьей Рахманиновых, чье имение находилось в селе Знаменке, в сорока верстах от Салтыков. Знакомство вскоре перешло в тесную и преданную дружбу, украсившую жизнь Голицына, но из теплого, радостного, нежного дома пришло к нему и горчайшее страдание.

Как все переплетено в жизни! Аркадий Александрович Рахманинов — прекрасный пианист, ученик Фильда — родил музыкального, но никчемного Василия, пустоцвет Василий родил гениального Сергея. Князю Юрке Голицыну не хватило ровно года, чтобы поддержать на руках будущего создателя «Всенощного бдения» и «Литургии св. Иоанна Златоуста». Как темные пути искусства: лучшую духовную музыку России создал атеист.

Рахманиновы были люди, редко встречавшиеся в провинциальном дворянстве. Не чуждых просвещения помещиков было тогда предостаточно, что не мешало им сечь своих крепостных, забривать мужикам лбы за малые провинности, естественно сочетая отличное французское произношение, начитанность, глубину суждений и либеральный душок с феодалным хамством. Знаменитые стихи Дениса Давыдова, высмеивающие «русского Мирабо», ничуть не потеряли свежести и в сороковые годы. Слова «интеллигент» тогда не существовало, но если б оно было, то подавляющее большин-

ство просвещенных помещиков не подымалось выше полунинтеллигентности, а вот Аркадий Александрович Рахманинов был настоящий интеллигент. Духовность и нравственность составляли его суть. Под стать ему была и жена его, чистая, как горный хрусталь, Варвара Васильевна, и все остальные члены семьи. Они сразу поняли здоровую и добрую натуру Голицына, прощали ему все его сумасбродства, ведь он был еще так молод и не ведал самого себя. А Екатерину Николаевну, душевно куда более зрелую, ответственную и морально стойкую, полюбили, как самого родного человека. Прекрасны были семейные встречи, исполненные музыки, поэзии, серьезных разговоров, милых шуток, веселия и доброты.

Дружба старших по возрасту людей облагораживала Юрку Голицына, но, конечно же, не могла дать новой души этому мясному, кровавому, раскаленному человеку. Нимб святости не давил ему на чело.

С неопишущим размахом Юрка отпраздновал свое совершеннолетие. Приглашено было все усманское дворянство (Рахманиновы сказались больными), на стол разве что жареных павлинов не подавали, шампанское лилось рекой, крымские коллекционные мускаты соперничали с итальянской лозой, густым самосским и горьковатым испанским хересом. Пел хор, которым дирижировал сперва сам хозяин, а потом — обученный им регент, под окнами водили хороводы; приглашенный из Харькова струнный квартет наигрывал полонезы, мазурки и вальсы. Ели, пили, танцевали, спали, окатывались холодной водой и снова ели, пили, танцевали, ухаживали за дамами, читали стихи, пели романсы, кричали «ура» хозяину, падали под стол. На исходе второго дня гости посolidнее и постарше, расцеловавшись с хозяином щека в щеку, отбыли восвояси, но выносливая и отважная дворянская молодежь еще только вошла во вкус, и княгиня с немногими оставшимися дамами предпочли не показываться на мужской половине, где уже затевался банчок, кто-то стрелял по бутылкам, кто-то показывал силу, подымая одной рукой отягощенное бронзой ампирное кресло, которое и сдвинуть-то с места мудрено; другие рубились на кривых горских саблях, снятых со стены, и хохоча заливали раны бальзамом, но не целебным, а тем, что добавляют к водке. И все же сквозь весь шум-гам до женской половины донеслись звуки двух звонких пощечин и громовой голос князя:

— Вон из моего дома!

Княгиня хотела кинуться к мужу, но ее удержали, а на разведку послали шуструю девчущку, дочь одной из гор-

ничных, прониру и невидимку. И вот что оказалось.

Когда подъем чувств и отваги достиг высшего накала и каждый напропалую хвастался кто ратными подвигами, кто охотничьими, кто победами над женщинами, кто умыканием красавицы цыганки из знаменитого хора Ваньки Джалакаева, кто борзыми, опережавшими собственный лай, кто орловскими рысаками, кто сорванным в Лебедяни небывалым банком, кто, наоборот, — невиданным проигрышем, разорившим дотла и оставившим при трех полуживых душах, старой легавой суке и тульском ружье, кто родством с Державиным, чье перо так легко скользило по бумаге, но тяжелело в соприкосновении с непоэтической материей: его указы и распоряжения в пору «тамбовского сидения» остались жутью в народной памяти, — словом, у каждого было чем похвалиться, покрасоваться перед обществом, молчал лишь один долговязый, унылоликий дворянин, но едва в шуме и гаме случился провал тишины — так почему-то всегда бывает в звуковом хаосе — и в грозу, и в битве, и в галдеже ярмарочной толпы, — он громко заявил, что может съесть живую мышь. Почему-то краснобаиство других гостей несколько не трогало крепко выпившего хозяина, видимо, создававшего свое полное превосходство над уездными хвастунами (он, правда, не бывал в сражениях, но не раз доказал свою храбрость под дулом пистолета), а вот сожрать живьем мышь не мог и не хотел верить, что другой на это способен.

Ему наперебой стали рассказывать, как во время последних выборов губернского предводителя дворянства, когда неизменно сопутствующее сему важнейшему мероприятию сумасбродства и желание удивить общество достигли апогея, этот вот скромный дворянин публично съел живую мышь со шкуркой и хвостом.

Кровавые бычьи глаза князя выкатили от омерзения, все выпитое и съеденное подступило к горлу, и тут дворянин вынул из кармана заранее пойманную мышь и хотел отправить в рот. Он не успел этого сделать: первый удар выбил у него мышь из руки, второй — по скуле — поверг наземь.

— Вон из моего дома, мышеед! — заорал князь. — Чтоб духу твоего поганого не было!..

Вбежали слуги и вынесли несчастного дворянина.

Это необычное происшествие разделило общество на два враждебных лагеря. Одни считали — дворянин-мышеед стал невозможен: что хорошо один раз, нельзя превращать в обычай, и если поедание живой мыши станет непременным ритуалом всех дворянских сборищ, то лучше дома сидеть. Другие — пожалуй, большая часть — нашли в поступке князя

ущемление исконных дворянских вольностей: ни в одном царском указе не возбранялось дворянству есть мышей — живых или мертвых, и князь своим поступком узурпировал власть, ему не принадлежащую. От этого пахло удельным самовластьем. Решительное разделение мнений наметилось еще в доме князя, и разъезжались гости в смутных чувствах.

Хорошо выпавшись, восстановив ясность духа и мыслей посредством кваса и холодных кислых щей, Голицын понял, что перегнул палку. Как ни гадок гость-мышеед, он был в своем праве, а поступили с ним вовсе не по-дворянски. И наконец, в каждом событии должна быть точка.

Он послал к обиженному нарочно с письмом, в котором предлагал решить возникшее недоразумение единственно приемлемым способом; считая его обиженной стороной, князь заранее давал согласие на любое оружие: горячее или холодное и на любые условия — хоть через платок. На это дворянин с достоинством ответил, что удовлетворен посланием князя и, учитывая состояние, в котором оба находились во время ссоры, не видит повода к дуэли, да и нельзя лить благородную кровь по такому пустому поводу, как мышь. Тогда князь послал ему в подарок дивную гончую суку, английское ружье и мышеловку. Дворянин благодарно принял дары, не усмотрев насмешки в последнем из них.

Эта история получила широкую огласку и привлекла к Голицыну все честные сердца. «Истинно княжеский поступок, — таков был общий глас. — Мужество и щедрость». На ближайших выборах уездного предводителя дворянства князь прошел единогласно. Никогда еще ни в одном уезде государства российского не было у дворян столь юного вожжа. Голицын оправдал доверие земляков. Он всячески заботился об их нуждах, особое внимание уделял дворянским сиротам. У него в доме постоянно воспитывалось несколько детей, одних он в положенный час устраивал в гимназии, других — в военные училища, а кого — постарше и потупее — определял в должности, были у него стипендиаты и в высших учебных заведениях. То же самое он делал для детей малоимущих или разорившихся дворян.

Великодушная и энергичная деятельность князя не осталась без внимания в масштабе губернии, и по прошествии немногих лет он был избран губернским предводителем — опять же юнейшим в России.

Ему приходилось бывать по делам в Петербурге, где его импозантная фигура, большая красивая голова, горячая деловитость, необыкновенная щедрость и простодушие, благодаря которому он оставался для всех Юркой, обратили на

него милостивое внимание двора. Особенно растрогал королеванных особ обед, который он дал обучающимся в Петербурге детям своих земляков. Он объездил директоров всех учебных заведений, где набиралось уму-разуму тамбовское юношество, получил одобрение своему необычному замыслу, — к пяти часам вечера у дверей превосходного ресторана Демута собралась полуголодная, радостно взволнованная толпа. Преобладали юные правоведы, — в бесправной стране усердно изучали законы, что не сулило в будущем подвигов милосердия и справедливости, зато обеспечивало сносные доходы. Кстати сказать, не за горами было время, когда порошковые школы Правоведения перешагнет миловидный и грустный юноша, который станет величайшим музыкальным чудом России. Но Петру Ильичу Чайковскому, чуждому тамбовских степей, все равно не гулять было за этим столом, где торова-то-стью князя Голицына молодые люди с берегов Упы, Вороны и Воронежа, разбросанные по всему Петербургу, почувствовали себя единой семьей.

После обеда были поданы кареты, и ватага, предводительствуемая князем, отправилась в оперетту, где заняла весь бельэтаж.

У Юрки не было иных целей, кроме самых простых и человеческих: накормить, напоить бедных ребят, дать им послушать Оффенбаха не с галерки, но бесхитростный его поступок имел неожиданные последствия. О нем заговорили в царской семье, и Николай вдруг вспомнил очаровательного «красного» пажу, которого когда-то благодетельствовал. Пренебрегая нежелательным, память услужливо скользнула дальше: мальчика, ставшего юношей, пытались оговорить перед ним, но он отверг наветы и, как всегда, оказался прав: хорошим человеком стал Голицын, хоть не пошел в военную службу. Но такие вот молодые, бескорыстно-деятельные люди полезны и на гражданской стезе. Голицына зачислили в штат императрицы, высокая должность не налагала никаких обязательств.

Князь Голицын был равнодушен к чинам и званиям, не собирался делать придворной карьеры, но в силу артистичности своей натуры, еще пребывающей в поиске, талантливо, хотя и со срывами, играл разные роли: сейчас его увлек образ рачительного губернского деятеля, человека нужного, хотя и не стремящегося к власти, одного из тех, кто, напрягаясь всеми мышцами, толкает в гору тяжелое орудие, имя которому Россия. Эта поза, не исключавшая искренности, иначе он был бы бездарным актером, пришлась по вкусу, совпала с умонастроением государя — золотой камергерский клю-

чик отметил княжеское усердие. Он был Гедиминович, поэтому воспринял отличие со сдержанной благодарностью, как нечто само собой разумеющееся, и не без удовольствия похвастался раз-другой во всем великолепии придворного наряда на каких-то церемониях. Он ввел ко двору жену, познакомил ее со всей титулованной родней и высшим петербургским светом, и блеск бальных свечей, отразившись в фамильных голицынских бриллиантах, доставил их скромной носительнице шемящее, провидящее свою краткость счастье.

Внезапно Голицын почувствовал, что по горло сыт светской жизнью. Оставив жену в столице на попечении многочисленных тетюшек, он помчался домой, к родным пенатам, где с обычной энергией набрал сводный хор в сто пятьдесят человек. То была затея, достойная его нынешнего масштаба и оказавшаяся вполне по силам его дарованию, продолжавшему таинственно развиваться, даже находясь в пренебрежении. Новый хор мог поспорить с шереметевским поры наивысшего расцвета и с Императорской капеллой. Но уже тогда нашлись люди, считавшие, что содержать хор прилично большому барину, а самому дирижировать (причем не только в своем доме) унизительно, зазорно — причуда весьма дурного тона. Юрка плевать хотел на пересуды...

Но именно в пору наивысшего успеха во всем: в семейной жизни — жена подарила ему наследника и трех очаровательных дочек; общественной, служебной и музыкальной: слава голицынского хора сломала провинциальные рамки и достигла обеих столиц, — в пору расцвета дружбы с прекрасными Рахманиновыми и пошли те разломы, которые привели Юрку к полному краху во всем, кроме музыки.

И все-таки вначале была музыка... Живя с хором общей жизнью, поневоле входя в разные дела и заботы ста пятидесяти мужиков и баб, князь не мог видеть в них крепостных рабов. Ему омерзительно стало само слово «крепостной», и он надумал отпустить салтыковцев на волю вольную. Эта мысль давно уже тревожила русское общество и изредка, в масштабах крайне скромных, превращалась в действие. А князь Голицын надумал отпустить на волю всех своих крепостных без выкупа. Намерение это как громом поразило тамбовское дворянство, вызвав недоумение, испуг, тревогу, злость; генерал-губернатор, бывший в большой силе при дворе, решительно осудил князя. Почувствовав, что час революционных преобразований еще не пробил, князь решил освободить крепостных менее страшным для помещиков образом — с выкупом земли — и приступил к осуществлению своего намерения. Но время не пришло и для такой куцей

реформы, на князя ополчились все землевладельцы Тамбовщины. Глухая стена недоброжелательства выросла вокруг Юрки. Переход от всеобщей любви к ненависти был слишком неожидан, и князь растерялся, что с ним случилось нечасто. Он вступил с мужиками, почувывшими веяние свободы, в недостойный торг, который ничуть не укротил его врагов, только унизил его самого. В Петербург полетели доносы. Недавно переизбранный в губернские предводители, Голицын вдруг узнал, что государь отложил его утверждение. Это нанесло страшный удар по самолюбию всеобщего баловня. Их будет еще немало...

Раздоры с губернатором, оступь монаршего благоволения предвещали скорый крах общественной деятельности князя. В душе непрестанно звучала музыка разрушения, гибели. Она не обманывала. Беды редко приходят в одиночку. Давно уже добрые души старались довести до сведения княгини Голицыной небезосновательные толки об изменах мужа. Сильная натура Юрки ни в чем не знала удержу. За страстные объятия с женой приходилось расплачиваться долгим постом, когда она вынашивала, рожала и кормила очередное дитя. Самоограничение не было ему свойственно. Да и какой в нем толк? Княгиня ничего не теряла, все остальные выигрывали, ибо грубые веления отрывали его от звуков сладких и молитв, равно и от служения обществу, а вокруг было столько возможностей облегчить плоть, освободить дух. И разве от этого он меньше любил свою Катю? Да нет же! В раскаянии, ощущении вины освежалось, омывалось незримой слезой его чувство, он вновь видел ее девушкой в заросшем саду, куда пробиралась козочка с любовной запиской. И желал свою милую скромницу, как в первый день.

Доверчивая, счастливая своей любовью к красавцу мужу и прелестным детям, ласково прикрытая от невзгод родней и друзьями, Екатерина Николаевна отказывалась верить злым наветам. «Ах, господи, мой Юрка, как Иосиф Прекрасный. Каждой женщине, словно жене Потифара, хочется склонить его на ложе, а он убегает, оставив верхнюю одежду», — говорила она со смехом. Сравнение это было верным лишь отчасти. Многие дамы, подобно легендарной Мут, хотели склонить на ложе нашего героя, но он отнюдь не блистал расчетливыми добродетелями сына Иакова, величайшего карьериста всех времен и народов, — Юрка не убегал от распаленных красавиц, а когда расставался на время с одеждами, то не ограничивался верхней.

Может, Екатерина Николаевна и допускала, что во время долгих отлучек Юрка не был столь безупречен и позволял

дамам целовать свои музыкальные руки, большого греха не могла измыслить провинциальная затворница, божья душа, ставшая на сломе жизни усилиями мужа и судьбы железной душой. Но ее доверчивость была не так глупа: ведь в главном он никогда не изменял ей, во всех своих похождениях князь не истратил нисколько души, где по-прежнему безраздельно царил образ первой любви.

И тут произошло непоправимое: Голицын влюбился без памяти в дочь своих друзей Рахманиновых — Юлию. «Без памяти» — в данном случае не просто словесный штамп, прикрывающий неспособность изобразить стихийное, нерассуждающее чувство. Голицын влюбился, как сицилийский юноша, о котором говорят: «громом расшибло». И в этой сумасшедшей, безответной, тягостной и безнадежной любви забыл о всех правилах и обязательствах, налагаемых семьей, обществом, воспитанием, законами соседства и дружбы. Он преклонялся перед четой Рахманиновых, знал, как неуместна и оскорбительна в их глазах неуправляемая страсть семейного человека к их дочери-невесте, знал, как любят и чтят они Екатерину Николаевну, но ничего не мог поделать с собой. Искушенный в обманах, Юрка даже не пытался что-либо скрыть. Расшибло громом... Он не помнил, как пришло к нему это чувство, когда он открыл в угловатой девчонке созревшую прелесть женщины и понял, что без нее не стоит жить. Ему казалось — это было всегда: для него всегда был плаван он в гондоле, одетый «настоящим итальянцем», и пел под гитару, для нее дрессировал белую козочку и посылал с записками в заросший душистый сад, для нее очаровывал властную старуху Дунину. Она слилась с Катей, потом вытеснила ее, отобрав все, что той по праву принадлежало. И Катя поняла, что у нее отняли и сад, и козочку, и серенаду, отняли душу единственно любимого человека, и не простила ему этого.

Даже самое сильное и светлое чувство, если оно противоречит человеческим установлениям (пусть условным, как в «Ромео и Джульетте»), имеет оправдание лишь в сердцах любящих, но здесь не было взаимности, не было света, и этим усугублялась вина князя. В эту пору исполнение его хором духовной музыки производило тревожное и двусмысленное впечатление: сам того не желая, Голицын так вел певчих, что славословие богу рыдало земной любовью.

Ни пылкие признания, ни искаженные страданием черты, ни безотчетные порывы музыкальных признаний не трогали той, которой князь мечтал вручить свое большое сердце. Он ей просто не нравился. Не нравился — и все тут! Тридцати-

летний Юрка казался ей стариком, одним из тех противных сластолюбивых старцев, что подглядывали из кустов за купающейся Сусанной. И ей было невыразимо стыдно перед Екатериной Николаевной, родителями и женихом, который не только не догадывался о притязаниях князя, но даже и о том, что сам он — жених (последнее не помогло ему в должный час). А князь все больше разнуздывался в своем неопрытанном страдании. Он бомбардировал Юлию страстными письмами, она возвращала их нераспечатанными, тогда он стал адресовать свои признания ее родителям. Не порывая дружбы, Рахманиновы отказали Голицыну от дома. Екатерина Николаевна объявила о своем намерении жить отдельно, ее религиозность отвергала развод.

Внезапная смерть Николая и восшествие на престол Александра II ускорили крушение Голицына. В глубине души он надеялся, что, отягощенный неудачами Крымской войны, Николай еще вспомнит о Юрке Голицыне, которого не раз брал под защиту, и, отвергнув клевету, утвердит губернским предводителем. Царь обманул ожидания Юрки, как-то чересчур поспешно окончив свой земной путь. Сомнительно, чтобы не связанный никакими сентиментальными воспоминаниями, Александр поддержал кандидатуру беспокойного претендента, жалобы на которого сыпались со всех сторон. Среди обиженных оказался и крупный чиновник, числивший за Голицыным полторы тысячи долга, что тот решительно отвергал. Когда домогательства чиновника превысили меру княжеского терпения, он послал ему указанную сумму, но выжег все номера кредитных билетов. Поступок этот вызвал одобрение света, но заставил поморщиться царя, чуждого архаическому чудачеству. Задет был и коммерческий мир: на одном приеме разбогатевший откупщик, здороваясь, первым сунул руку князю. Голицын тут же вложил в протянутую длань рубль. И это не понравилось Александру, желавшему, чтобы сословия мирножительствовали.

Все валилось. Правда, в тьме, окутавшей князя, случались проблески. Он учил пению своего крепостного Андрея и открыл у него три удивительные ноты. Этот Андреев стал впоследствии артистом императорского театра.

Но и музыка не спасала. Надо было что-то решать. И князь, измерив глубину своих несчастий, нашел единственный выход: искать смерти на поле брани. Самоубийство он отвергал по тем же мотивам, по каким Екатерина Николаевна отвергала развод. Он записался в ополчение и поехал в Салтыки проститься с семьей, домочадцами и теми, кого он, «отеч родной», твердо решил осиротить.

Он знал, что будет убит, и считал себя вправе смиренно, но торжественно обставить свой уход из жизни.

Он подготовил хор и закатил грандиозную панихиду по самому себе. В Салтыковской церкви — разумеется, без причта и службы — хор пропел своему наставнику «Вечную память». Его дочь вспоминала, что столь стройного и задумчивого пения никогда не звучало под сводами церкви, привыкшей к первоклассному исполнению. «Все плакали навзрыд, молясь об успокоении души князя Юрия, который стоял живой, дирижировал хором и молился о том, чтобы господь принял его душу».

На другой день он, коленопреклоненный, в новом ополченском мундире, пел, обливаясь слезами, перед царскими вратами во время напутственного молебна. Затем трогательно прощался с мужиками, которые благословили его образом святого великомученика Георгия.

Несколько ошеломленная этим душераздирающим прощанием, в котором горячая вера странно сочеталась с чем-то шутовским, кощунственным; Екатерина Николаевна отложила на время свои отомщительные намерения и вместе с десятилетним сыном Евгением поехала провожать мужа до Харькова.

Раскаленная лава патриотизма заливала душу князя, освобожденную от земных тягот. В воображении витал пронзительный образ героя Отечественной войны генерала Раевского, взявшего своих юных сыновей в пекло боя под Салтановкой. Правда, князь слышал, что это легенда, красивая сказка, сотворенная народным воображением, но все равно верил, что так было. И кто вообще знает, что было, а чего не было? Недаром же очевидцы никогда не сходятся не только в подробностях, но и в главной сути тех явлений, событий, свидетелями которых им довелось быть. Народ сам пишет свою историю, он создает символы, обладающие куда большей глубиной, силой и даже подлинностью, чем поверхностная очевидность: Отечественной войне нужен был генерал Раевский с сыновьями, и он появился, а изнемогающему Севастополю нужен равный, или почти равный подвиг. На глазах растерявшейся Екатерины Николаевны он схватил сынишку и кинул его в возок.

— Что ты делаешь? — закричала бедная женщина. — Опомнись!

— Я поведу его в бой! — самозабвенно вскричал Голицын.

— В какой еще бой? — бился жалкий голос. — На склад!.. Ты же по интендантству...

— Гони! — гаркнул Голицын, и бричка понеслась на юг...

Голицын был прикомандирован по ополчению к главнокомандующему князю Горчакову, только что сменившему Меншикова. Штаб Горчакова находился под Перекопом, в почтительном отдалении от сечи. К тому же Голицын шел действительно по интендантскому ведомству, следовательно, никак не мог кинуться с сыном в бой. А вскоре он вовсе отказался от этой идеи и только искал, куда бы приткнуться мальчонку.

Война в приближении к ней выглядела совсем иначе, чем из петербургского или тамбовского далека. Поразил Голицына сам главнокомандующий, которому он представился. Горчаков не был так уж стар, немного за шестьдесят, но производил впечатление какой-то трухлявости, казалось, ткну пальцем, и он рассыплется, как вконец изгнивший гриб. Блуждающий взгляд не мог ни на чем сосредоточиться, а когда старикашка отпустил Голицына слабым манием руки, тот услышал, как он напевает по-французски:

Я бедный, бедный пуалю,
И никуда я не спешу...

— Это еще что! — сказал Голицыну полковник интендантской службы, когда они вышли от главнокомандующего. — Он-то хоть на позиции выезжает, а князь Меншиков вообще не помнил, что война идет. Только все острил, и признаться — едко. О военном министре высказывался так: «Князь Долгоруков имеет тройное отношение к пороху — он его не выдумал, не нюхал и не шлет в Севастополь». О командующем Дмитрие Ерофеевиче Остен-Сакене: «Не крепок стал Ерофеич. Выдохся». Сарказм хоть куда! — задумчиво добавил полковник. — А ведь дал поставить над великим Нахимовым псалмопевца.

Почему-то князю Голицыну не было смешно. Его и вообще неприятно удивлял тон циничной насмешливости, царившей в ставке. Казалось, эти люди утратили всякое самоуважение, а с ним и уважение к чему-либо. О трагическом положении Севастополя не говорили, зато со вкусом высмеивали командующего севастопольским гарнизоном графа Остен-Сакена, который только и знает, что возиться с попами, читать акафисты и спорить о божественном писании. «У него есть одно хорошее свойство, — добавил полковник. — Он ни во что не вмешивается».

По роду своей деятельности Голицыну пришлось узнать войну как бы сыпуду. Потом он увидит героизм, святое самопожертвование, беззаветную храбрость и терпение за-

шитников Севастополя, но, околачиваясь в тылу по делам ополчения, он на каждом шагу сталкивался черт знает с чем: развалом, равнодушием, хладнокровной бездарностью и чудовищным воровством. Разворовывали все, что не успевали украсть другие — высшие — воры по пути в Крым: хлеб, сено, овес, лошадей, амуницию. Механика грабежа была проста: поставщики давали гнилье, его принимало (за мзду, разумеется) главное интендантство в Петербурге. Потом — тоже за взятку — армейское интендантство, дальше — полковое и так до последней спицы в колеснице. А солдаты ели гнилье, носили гнилье, спали на гнилье, стреляли гнильем.

Воинские части должны были сами закупать фураж у местного населения на деньги, которые выдавало специальное финансовое ведомство. Голицын однажды зашел туда и оказался свидетелем такой сцены.

С передовой приехал офицер в выгоревшей, потрепанной форме. Кончились корма, голодные лошади жрут древесные опилки, стружки. Пожилой интендант с майорскими погонами поправил очки на носу и будничным голосом сказал:

— Деньги дадим, восемь процентов лажу.

— С какой стати? — возмутился офицер. — Мы кровь проливаем!..

— Опять новичка прислали, — вздохнул интендант. — Прямо дети малые! С вашей бригады, помнится, ротмистр Онищенко приезжал. Почему его не послали?

— Погиб Онищенко...

— Царствие ему небесное! — интендант перекрестился. — Жаль. С пониманием был человек. Мы его уважали, и он нас уважал. Мы ведь лишнего не запросим.

Интендант не стеснялся даже присутствия постороннего. Князь Голицын подошел к нему, взял «за душу», выдернул из-за стола и поднял на воздух.

— Убью, сволочь!..

— Убивайте, — прохрипел интендант, — без процентов все равно не дам.

— Думаешь, я шутки шучу?.. — Князь сдавил его своей лапшей.

— Не могу... цепь порвется... — из последних сил прохрипел интендант. — Мне тогда все равно не жить... Петербургские задуют...

— Там люди гибнут, сукин ты сын! — на слезе выкрикнул князь и брезгливо отшвырнул прочь полузадушенного военного чиновника.

Тот потрогал морщинистое, как у кондора, горло и прохрипел с неожиданным достоинством:

— Будь мы там... не хуже-с погибали б... А вы уж, будьте любезны, — он обернулся к офицеру, — соответствуйте правилам: для артиллеристов — шесть процентов, для всех остальных родов войск — восемь.

Офицер жалко дернул простуженным носом, будто всхлипнул:

— Опилки жрут... стружки... черт с вами!.. Не могу я без сена вернуться.

Голицын больше не вмешивался. И не потому, что выпустил весь пар, его энергии хватило бы на несколько нарастающих всплесков, но его поразили слова и все поведение пожилого интенданта. Тот не испытывал ни угрызений совести, ни даже легкого смущения, свято веря в справедливость системы, крошечным винтиком которой был. И он не врал, что, оказавшись на позициях, вел бы себя ничуть не хуже других: так же стрелял бы и ходил в штыковую, перекосив рот в надсадном «ура», так же спрыгивал бы ночью во вражеские траншеи с клинком в руке, так же бы тихо стонал, получив вражескую пулю в живот, и не менее покорно, по-христиански принял бы кончину. Ему повезло, он оказался среди тех, кто ничем не рисковал, не мучился и не погибал, а наживался в полной безопасности, и он без угрызений совести следовал предназначенным путем. Да он и не мог свернуть в сторону, даже пожелай того в припадке раскаяния или безумия: «петербургские задуют». И все же им управлял не страх перед столичными казнокрадами, а верность сподвижникам и цели до конца. Скромный герой невиданного разбоя. «О, люди, вы, русские люди!.. Но разве не воруют в интендантствах других армий? — думал князь. — Воруют, конечно. Не так опустошительно, с оглядкой, но и эти малые преступления оплачивают утратой каких-то важных ценностей в душе, им уже не совершить подвиг. А этот вот пожилой хищник, дай ему в руки оружие, бесстрашно кинется в бой за Русь святую».

Время шло, а Голицын все более убеждался, что ему досталась совсем не та война, на которую он стремился: без героев адмиралов, без мудрого Тотлебена, яростного Хрулева и бесстрашного Хрущева, без матроса Кошки, метких стрелков и храбрых охотников, без артиллеристов и саперов, без самоотверженных севастопольских женщин, заставивших вспомнить о героинях Отечественной войны. Его войной была штабная муть, почти чиновничья хло-

поты, мелкие интриги, злословие и все заливающее, как лава очнувшегося Везувия, воровство.

Он чувствовал себя опустошенным, музыка скорби, прощания, гибели и вознесения, наполнявшая его с той минуты, когда он принял решение уйти на войну, рыдавшая салтыковским хором, рвавшая душу в клочья, когда, прижимая к груди худенькое тело сына, он умчал его от родной матери, чувствуя себя не то библейским Авраамом, не то генералом Раевским, эта музыка замолкла в одуряющей пустоте пошлости и цинизма.

Поняв внутренний механизм грабежа без конца и без края, без стыда и раскаяния, Голицын не сумел выработать в себе философского отношения к тому, что для всех давно стало нормой поведения. Он понял, что вместо врага — француза, англичанина, турка, итальянца — он рано или поздно прикончит вору-соотечественника. Столь бесславное завершение кампании никак не соответствовало жертвенной идее, кинувшей его на театр военных действий. И, плюнув на все, никому не сказавшись, он подался в Севастополь.

Там вроде бы никто не удивился появлению богатыря в ополченской форме и погонах штабс-капитана, с великолепной растительностью на загорелом лице: усы, подусники, бакенбарды, густые черные кудри из-под лихо заломленной кубанки. В Севастополе уже давно ничему не удивлялись: ни большому, ни малому, ни собственной необъяснимой по человеческим нормам стойкости, ни тому, что наш фельдшер продал англичанам корпию и лечебные препараты. Последняя операция по своей отваге, дерзости и сложности не уступала тем ночным вылазкам, когда наши отряды пробирались ночью по зигзагам траншей и схватывались с врагом врукопашную. Голицын уже в день приезда участвовал в такой вылазке и обогрил руки вражеской кровью: одного он достал штыком, другому раскроил череп прикладом. Его удалство не произвело заметного впечатления на окружающих, только один поручик заметил: «Вам долго не продержаться, князь, вы слишком заметная движущаяся мишень».

Он еще дважды участвовал в деле с той же безрассудной отвагой, не получив при этом и царапины. А затем его пожелал видеть граф Остен-Сакен, прослышавший о нахождении князя в осажденном городе.

Голицын подумал, что его хватились в ставке и требуют назад. «Не поеду! — сказал он себе в тихой ярости. — И тот юродствующий во Христе генерал меня не заставит».



Он не встречался с Остен-Сакеном в свете, никогда не интересовался его личностью, но за недолгое пребывание в Севастополе составил отчетливое представление о человеческих и воинских качествах генерала, непонятно почему оказавшегося на авансцене истории. Формально граф возглавлял оборону Севастополя, по существу он был главным действующим лицом. В заслоне железной воли Нахимова командующий был почти безвреден. Он и сейчас, после гибели адмирала, предпочитал ни во что не вмешиваться. Город держался памятью о Нахимове.

Голицын ошибся в своих опасениях. Остен-Сакен вызвал его лишь потому, что еще в Петербурге был много наслышан о замечательном голицынском хоре, который знатоки ставили в ряд, а то и выше шереметевского. Одного взгляда на командующего было достаточно, чтобы оценить меткость остроты Меншикова: «Не крепок стал Ерофеич. Выдохся».

— Князь, — сказал Остен-Сакен, слезясь воспаленными глазами (неизлечимую глазную болезнь нажил чтением при свечах священных книг), — надо помочь Севастополю. Стыдно сказать, но в таком городе, — он истово перекрестился, — нет хотя бы сносного хора певчих. Зная и высоко ценя ваши таланты, я тешу себя надеждой, что вы поможете нам, мы этого заслужили. Если надо, снимайте людей с позиций.

Впервые князь, похолодев до кончиков пальцев, подумал, что Севастополь сдадут. Он вышел от командующего в состоянии почти невменяемом. «Кому нужна Россия? — спрашивал он себя. — Ведь этот вот Ерофеич, как и Горчаков, как Меншиков, как петербургские сановники, генералы и чиновники интендантской службы, как промышленники, подрядчики и поставщики, наживающиеся на крови, взяли от России сверх всякой меры чинами, званиями, орденами, лентами, деньгами, землей, рабами, но кто думает о ней сейчас? Кому она дорога и жалка?.. И никто из них не боится оказаться погребенным под обломками Севастополя — ни в прямом смысле, — о том и речи нет, — ни в фигуральном. Никто не будет отвечать за все потери, смерти и бесчестие, за все срамные пляски на святом народном теле».

И все же он услышал ответ на свой произнесенный вслух вопрос: кому нужна Россия?.. Вокруг были разрушенные дома, горы камня и щебня, воронки от снарядов, разбитые повозки и кухни, горький сор войны, а на высотах растерзанного города — могилы Корнилова, Истомина,

Нахимова, и всюду, куда ни глянь, безымянные братские могилы: солдат, матросов, офицеров, севастопольских женщин. И ушаковским орлам была нужна Россия, и любому замуртованному матросу, любой горемычной бабе нужна Россия. И его, голицынским, певчим, и салтыковским мужикам, и ему самому нужна Россия, — песня, еще не спетая, едва начатая, но уже нет в мире zalивистее и печальнее и задушевнее той песни, что копится в душе России. И если он останется жив, а сейчас он почему-то допускал такую возможность, то все сделает, чтобы шире лилась эта песня.

Вечером его пригласили на жженку офицеры. Очень молодые, очень славные и слегка раздражающие. Они наперебой восхищались каким-то поручиком, который галантно предложил французам атаковать первыми. «Молодец, Костя! Пусть знают, что мы не варвары, не северные медведи, а благовоспитанные люди!». «Кому это надо? — думал Голицын. — Неужели сейчас, когда Севастополю так плохо, важно блеснуть светскостью перед французскими паршивцами, которые спустя сорок лет опять к нам приперли? Да пропади они пропадом!..»

— Дети, — вполголоса произнес стоявший рядом артиллерийский офицер с некрасивым скуластым лицом, пытливыми, недобрыми глазами; у него были черные жесткие усы, а молодая борода росла кустиками, клочьями. Небольшой, плоскогрудый, с костлявыми плечами, он притягивал выражением независимости и жесткой прямооты. Было ему не больше двадцати пяти, но Голицын хребтом почувствовал, что скуластый офицер куда старше его, и безропотно принял старшинство.

— Но храбрые дети! — полувозразил он осторожно.

— Храбрее некуда! — сумрачно подтвердил артиллерист. — Немногие вернутся домой. Жаль! Конечно, нарожают других, но этих — жаль. Храбрость безмерная, тщеславие, благородство — все, что нужно для гибели. А спросите у них, из-за чего война, ни один не скажет.

Голицын промолчал. С удивлением он обнаружил, что и сам этого не знает. На Россию напали — и все тут!.. Покоробило его и слово «тщеславие» в применении к доблестным юношам. Разве тщеславие заставляет их стоять на смерть? Он сказал об этом артиллеристу.

— Конечно, нет, — пожал тот костлявыми плечами. — Это, наверно, единственное, в чем они скромны и естественны. Но предлагать французам атаковать первыми, блистать перед ними парижским проносом, когда перестают

стрелять и подбирают трупы, стремиться к общению со знатью — это тщеславие, смешное и жалкое. Думаете, почему вы здесь? Вас же никто не знает, вы не свой. Но завтра можно будет небрежно бросить знакомому офицеру: «Да... еще у нас был этот знаменитый Юрка». — «Какой Юрка?» — «Юрка Голицын, ты что, незнаком с ним?» И бедный офицерик сражен наповал. А меня зачем позвали? Я не пью, не хвастаюсь, мало приятен в общении, меня не любят. Но опять же — титул, имя. — И тут артиллерист наконец представился. Он принадлежал почти к столь же старому, прославленному, широко разветвленному роду, что и Голицын. — В эпохи застоя и упадка, — продолжал он с упорством человека, привыкшего договаривать каждую мысль, — общество одержимо бесом неумного тщеславия, призванного заполнять пустоту бессельного существования.

— Что вы подразумеваете под «обществом»? — спросил Голицын.

— Всё, что не народ, — отчеканил артиллерист.

Голицыну вдруг показалось, что длинная тирада метила в него. Но он не обиделся, не вспыхнул, а затих и опечалился.

Положа руку на сердце, чем была вся его жизнь, помимо редких просветов любви и музыки? Неутомимой игрой тщеславия. И началось это с детства. Из тщеславия он прислуживал в церкви, из тщеславия закатывал истерики, чтобы все занимались только им, из тщеславия творил бесчинства в гимназиях и Пажеском корпусе, из тщеславия разыгрывал из себя «отца народа» и реформатора. А сколько нищего тщеславия было в его отношениях с мужиками, окрестными дворянами и губернским обществом!.. Да всего не перечешь. А «роковая» страсть, что за ней? Охлаждение к жене и тщеславное желание покорить, вопреки всему, юную, чистую, гордую девушку, отвергшую его притязания. Тщеславием был и уход на войну, чудовищным, шутковским тщеславием — прощание и проводы, тщеславие толкнуло его забрать с собой сынишку. Тщеславны были мысли о смерти, которая заставит всех пожалеть о его непонятной великой душе.

Конечно, он сохранил все это про себя и только спросил, вроде бы в сторону от разговора, на самом деле — по прямой:

— Значит, Севастополь?..

— Да! — не задумываясь, словно заранее знал, о чем его спросят, отрубил артиллерист. — И очень скоро. На этом кончится война, проигранная с самого начала. И слава богу! России необходимо поражение, необходима жестокая

встряска, только это ее и спасет. Иначе — бессрочная каторга...

«Так что же делать? Смирненно принять смерть, не оскорбив ее напоследок очередной тщеславной выдумкой? Или — смирненно принять жизнь, — сказал внутри Голицына будто чужой голос. — Это труднее... это куда труднее...»

Поняв, что он опять готов жить, жить вопреки всему, Голицын не стал осмотрительнее. Участвуя после разговора с артиллеристом в двух вылазках, он так же лез на рожон, а выбит был из строя в час затишья: грелся под солнцем на бугорке и покуривал трубочку. Одинокое, словно случайно вылетевшее из жерла ядро контузило его в ноги. В многострадальные отмороженные ноги. Артиллерийский офицер отыскал его в лазарете перед самой отправкой в тыл.

— Мне сказали, что вас контузило, — сказал он, взяв руку Голицына в большие теплые шершавые, какие-то мужицкие, ладони. — Вам очень больно?

— Терпимо, — соврал Голицын. — Спасибо, что зашли. Я думал о нашем разговоре, вы сказали много важного для меня. Бог даст, я вернусь, и мы продолжим...

— Не здесь, — прервал офицер, губы под жесткими черными усами дрогнули в какой-то несостоявшейся улыбке. Они больше никогда не виделись.

...Князь плохо уезжал, но хорошо вернулся с войны: с Георгиевским крестом, тяжелой контузией, опираясь на палку; и сына, загоревшего под южным солнцем, целого и невредимого домой привез. Еще в дороге он прослышал о замужестве Юлии Рахманиновой и в новом, просветленном смирении подумал: что господь ни делает, все к лучшему. Ничто, казалось, не мешало возвращению бывшего, милого, едва не утраченного по вине его необузданного темперамента.

Князь по-прежнему считал, что все решения в семье принимает он единолично. Но Екатерина Николаевна жила эти месяцы своей душевной жизнью, предначертавшей ей совсем иной путь. В отсутствие князя, которого она, может быть, не вовсе разлюбила, его поведение последних лет с бесчисленными изменами, обманом, неоправданной «публичной» страстью к дочери друзей, ёрническим отъездом и умыканием сына предстало во всей своей непривлекательной наготе. Исчез герой ее девичьих грез, властитель созревшей и глубокой женской души, остался грешный, слабый человек, пустозвон, гаер, предавший ее великую веру. Она не хотела и не могла жить с ним и, как только улеглась праздничная шумиха возвращения, объявила о своем отъезде.

де с детьми в принадлежащее ей имение Огарево в Пензенской губернии.

Князь был потрясен, он и вообразить не мог, чтобы его бросила женщина. Да не просто женщина, а мать его детей, жена перед богом и людьми, кроткое существо, находившееся в полном подчинении у его могучей личности. Юрка горделиво подумал, что не зря прожила она столько лет рядом с таким человеком, как он, — поднабрала характера, смиренница! Екатерина Николаева стала по-новому интересна ему, но, конечно, он не стал унижаться, ползать на коленях, просить остаться. Одумается, поймет, чего лишилась, сама попросится назад. К тому же Огарево — глушь гиблая, забытая богом дыра. «Не выдержит!» — преисполнялся веселой уверенности Голицын.

Огарево в самом деле было местечко незавидное, в стороне от больших дорог, настоящий медвежий угол. Господский дом — большая крестьянская изба под соломенной крышей — стоял на краю неслышной, будто немой деревеньки. Здесь и поселилась Екатерина Николаевна со своими дочерьми (сына Евгения, так преждевременно и неярко начавшего боевую жизнь возле Крымской войны, определили в военно-морское училище), с романтическими гувернантками, компаньонкой, старой мамушкой, служанками и стала ладить жизнь посреди пензенских степей.

Время стояло тревожное: после войны и поражения глухим громом перекатывало — нужна крестьянская реформа. Слухи об отмене крепостного права — темные, порой вовсе фантастические, как то нередко бывает на Руси, склонной в каждом деле угадывать или заговор, или когтистую лапу антихриста, — наплывали на глухое Огарево, волнуя мужиков и обращая их мысль к красному петуху, которого неизвестно для какой надобности следует подпустить господам. Крестьянам не было никакого притеснения от Екатерины Николаевны, да ведь не сидеть же сложа руки, когда волнуется народный ум. От слов переходили к делу, правда, с ленцой. В минуты опасности маленькая женщина проявляла завидное самообладание и решительность, раз даже вышла на крыльцо с пистолетом, которым не умела пользоваться, но мужикам, игравшим в бунт, тоже нужен был лишь убедительный довод, чтобы успокоиться. Она делала людям немало доброго, заступалась за провинившихся перед властями, даже вытащила из узилища одного разбойного огаревца, ее любили, а поджечь хотели больше для порядка и верности традициям, нежели по живому чувству. Екатерина Николаевна никогда не жаловалась на своих

людей, что и подталкивало их к выступлениям, и мешало шагнуть дальше невразумительных угроз, смутных требований и лихих выкриков.

Та сила характера, которую она обнаружила, порвав с некогда боготворимым человеком (в ее чувстве к мужу соединялись страсть, нежность, восхищение, признательность — он выбрал ее, дурнушку, Золушку! — удивление перед яркой личностью и незаурядным талантом), — эта странная сила помогла ей вести утлую семейную лодочку сквозь все водовороты и мели, сохраняя бодрость, легкость, сухие глаза и отзывчивое сердце.

В отличие от своей маленькой жены, гигант, силач и храбрец Юрка порядком скис; с дней расставанья появился в нем тот надрыв, та смешная и не идущая былинному богатырю слезливость, которая уже не покинет его до конца дней. Теперь любое переживание, истинно или воображаемо горестное, унижающее или чуть задевающее его гордость, умирительное или заставляющее «слегка вибрировать струны души», исторгает у него потоки слез. Он пишет сырые от слез письма Рахманиновым, оставшимся самыми близкими друзьями, рыдания то и дело сотрясают его могучую грудь. Повышенная чувствительность отнюдь не умаляла жизненной энергии бывшего дворянского предводителя и брошенного мужа. Какая-то жила лопнула в нем, он засочился, как скрывающая ключ скала, но не стал тише, осмотрительнее, осторожней, не испугался жизни, хотя боль его была неподдельна.

По обыкновению, выручала музыка. Из того странного инструмента, каким является хор, он научился извлекать «порой неслышанные звуки». И чем хуже ему приходилось, тем выше вздымалась песнь. Случалось, он сам чувствовал в себе таинственное «нечто», чему можно верить без сомнений, колебаний, проверки разумом. Но, доверяя этим озарениям, прорывам в неведомое, он не прекращал каждодневного потного труда, с бесконечным терпением добываясь нужных звучаний от своего сложного живого инструмента. Это был уже не подъем в гору, а взлет. Но поди скажи, откуда взлялись крылья! Да, он, конечно, сильнее и глубже чувствовал музыку, расширил свое музыкальное образование, что-то значит опыт дней и горестей, он очень многое мог показать хору, но, презирая внешнее подражательство, не ленился заниматься с каждым хористом отдельно, превращая исполнителей в творцов. И все равно это не открывает, даже не коснется запертой за семью замками тайны, как приходит б о г о в о в искусстве. Современные Голицыну

музыканты пытались открыть кощеев ларь, но не достигали цели, сбиваясь на частности. Композитор Шель писал: «Его хористы были настолько музыкально образованы, что с этим хором можно было импровизировать, что я не раз делал. Я называл последовательные аккорды, которые хор брал тотчас, и при перемене аккордов всякий голос в хоре находил звук, который ему следовало взять, само собой, без всякой видимой указки со стороны регента». А. Серов, не щедрый на похвалы, писал о детском хоре Голицына, что «каждый мальчик читал ноты и отличал тоны по слуху безошибочно, чего не достигают многие известные артисты», а потом восторгался «вокальной дирижировкой» князя.

Крупный композитор, влиятельный и злой музыкальный критик, искренний, горячий человек, при вздорном, порой мелочном характере, Серов редко кого так безоговорочно признавал в мире музыки, как князя Голицына.

Хотя Юрка дал себе слово после просветляющего разговора с артиллерийским офицером в разрушенном Севастополе быть простым, естественным и скромным, его прощальное письмо Рахманинову перед отъездом в Берлин чем-то напоминает панихиду, которую с такой помпой отслужил по себе волонтер Голицын, отправляясь на сечу. «Посылаю тебе, любезный друг, — писал Голицын, орошая письмо крупными, как висюльки хрустальной люстры, слезами, — образ Святителя Николая, с которым я никогда еще не расставался: прошу принять его от меня, как доказательство неподдельной моей к тебе любви и залог вечной признательности. Быть может, наше вчерашнее прости — было последнее! Итак, прости — прими этот образ от друга своего и моли Угодника подкрепить душу раба Юрия». К письму были приложены двести пятьдесят рублей на поддержание Знаменской церкви. Можно было подумать, что Голицыну предстояло нисхождение в Аид, а не комфортабельная поездка по европейским городам. Принять решение неизмеримо легче, нежели выполнить. Правда, прощаясь с Рахманиновым, Голицын сделал и дельный жест: поручил другу присматривать за Салтыками, а доходы переводить Екатерине Николаевне.

И вот перед путешественником развернулись заграничные виды. Капельмейстера Голицына не знали в Европе, зато знали его отца как друга и покровителя Бетховена, и это открывало ему дома и души музыкантов. Знаменитый Мейербер, которого Юрка не застал во время импровизированного визита, поспешил к нему сам и, очарованный экзотичностью облика азиатского вельможи в сочетании с

едким, вполне современным остроумием и тонким музыкальным вкусом, провел у него целый день. Мейербер предложил встретиться в Париже, куда он уезжал на премьеру своей оперы. Голицын брал уроки у Рейхеля в Дрездене, у Гауптмана в Лейпциге. В Дрездене, наскоро обучив хор и оркестр местного оперного театра, он дал концерт русской духовной музыки, а на бис исполнил оба хора из оперы Глинки «Жизнь за царя», — старожилы утверждали, что таких аплодисментов и оваций не слышали стены дрезденской оперы. А Голицын радостно открыл, что сам не ведает своих дирижерских возможностей.

Серьезные занятия музыкой не мешали князю с той живой заинтересованностью, что пробуждалась в нем, как только замолкали дурные страсти, наблюдать окружающую жизнь: опрятные и веселые города, тучные нивы на песчаных почвах и буграх, откормленных крепких лошадей, на которых «не стыдно в Питере и по Невскому проехать», отмытых с мылом, чуть ли не «завитых» свиней. Напрашивались печальные сравнения...

Юрка не был бы Юркой, если б не приперчил все это благолепие скандальной историей, кончившейся дуэлью. Нет, имевшей весьма необычное продолжение, но князь так и не узнал об этом.

Казус случился в Париже с одним французским маркизом, пользовавшимся репутацией глубокого знатока музыки, тонкого ценителя поэзии, искусного миниатюриста, хотя он никогда нигде не выставлялся. Дилетант высокой пробы — множество талантов в самых разных областях, но ни одного фундаментального. Ко всему еще маркиз был книжником и полиглотом. Шекспира читал по-английски, Сервантеса — по-испански, Данте и Петрарку — по-итальянски, Гёте и Шиллера — по-немецки, Пушкина — по-русски. Сухопарый, с выражением утонченной иронии на узком, морщинистом лице, хотя был далеко не стар, иронии, не умаляемой, а усугубляемой привкусом слащавости, он словно щадил слабость и малость собеседника и снисходительно подсахаривал свои сарказмы, маркиз играл под XVIII век, что забавляло, даже по-детски радовало Голицына и несколько не раздражало. До того дня, когда после концерта маркиз пожелал высказать свое мнение об услышанном.

— Это очаровательно, — говорил француз, соря улыбками, привлекавшими внимание окружающих, он всегда играл на публику. — Быть может, чересчур тягуче и замедленно, а ведь жизнь так коротка! Но тут ничего не поделаешь,

это заложено в природе русской музыки. И знаете, что мне пришло в голову, князь? Я понял, откуда идет отсталость России. Татары, монголы?.. Нет, все началось куда раньше. Пример Европы доказывает, что нашествия не тормозят почти до полной остановки исторического процесса. Все дело в ваших песнях, да, да, в ваших песнях. Не делайте такого удивленного лица. В глубокой древности собрались славяне у костра (впрочем, они едва ли ведали, что их имя — славяне) и запели песню. — У маркиза было такое выражение, словно он медленно разжевывает ароматную шоколадную конфету. — Ну, хотя бы «Летят утки». Ваш хор прекрасно исполняет эту томительную песню. Летят у-у-тки... Эх, да летят у-у-у-у-тки... и э-э-э-э-х!.. — нельзя было не восхищаться чистотой его произношения и точностью слуха. — Пока вы пели об утках, Европа пережила нашествие готов и гуннов, вступила в средневековье с его кострами и дивным искусством, бряцала рыцарскими доспехами, потом изобрела порох. Когда ваши добрались до гусей: И два г-у-у-у-у-ся... э-э-э-э-х... да и два гу-у-у-у-у-ся!.. у нас уже отверкал Ренессанс, отсмеялся медонский кюре, скадилась голова Карла I, Гарвей открыл кровообращение, Ньютон — свои знаменитые законы, Адам Смит — свои. Приближалась великая Французская революция, от голоса Мирабо дрожали стены зала для игры в мяч, Джеймс Уатт построил паровой котел, а в России мучительно пытались соединить две строки в куплет: летят у-у-у-у-тки, э-э-э-э-х, летят у-у-у-у-тки и два гу-у-у-ся, э-э-э-э-х!.. Давид создал «Клятву Горациев», наполеоновские усачи скакали по Европе, а ваши только дотягивали...

— Но дотянули в самый раз! И всыпали по первое число вашему Наполеону! — быстро сказал Голицын. Его бил колотун, он боялся, что окружающие это заметят, но сейчас, осадив маркиза, чуть успокоился.

— Я говорю о цивилизации, дорогой друг, — с кислым видом заметил маркиз, — а это совсем другая материя. — Конечно, другая, но уколол этот увалень ловко, маркиз никак не ожидал такой прыти и разозлился. — Орды Аттилы сокрушили все на своем пути, а теперь ученые гадают, кто такие были гунны. Римляне оставили свои следы в Африке, на Балканах, эти следы — прекрасные здания, водопровод, театры, мозаика. Смерч уничтожает все на своем пути, но ничего не создает. Наполеон нес выгоревшие письма свободы на своих знаменах, а что принесли казаки Европе? Сегодня мне подумалось: русские все-таки допели про уток и гусей, и, не возмись они за новую: Эх ты,

Ва-а-а-а-ня, да эх ты, Ва-а-а-а-нюшка-а-а-а! то могли бы приблизиться к сегодняшнему дню, принять участие в общекультурном деле. Не начинайте новой песни, князь, прошу вас во имя цивилизации! — И он молитвенно сложил худые длиннопалые руки.

Послышался смех. Кто-то шутиливо захлопал в ладоши.

— Как?.. — это высокое споткнувшееся «как» прозвучало утиным криком, князь что-то мучительно проглотил, глаза его выкатились из орбит. — А Пушкин?..

— Что — Пушкин? — не понял маркиз.

— Пушкин... Пушкин!.. — бормотал Голицын, борясь со слезами. — Пушкин — он чей?..

— Пушкин? — маркиз пожал плечами. — Наверное, он самый талантливый подражатель Байрона.

Голицын рванул рубашку на груди, он задыхался.

— Пушкин... Гоголь... Глинка... Брюллов... Россия... Кто вас от татарских орд телом прикрыл?.. Кто триста лет под игом томился, чтобы вы революции делали и паровозы изобретали?.. Одна Россия могла такое вынести и остаться, вы бы все гнилым соком истекли... Стреляться, стреляться через платок!.. Я вас вызываю... Или раньше по рожке надо дать? — спросил Гедиминович.

— Азиат! — презрительно бросил маркиз, отступив на шаг. — Ваш вызов принят. Но никаких платков, никаких русских рулеток, будем драться, как европейцы, хотя, к сожалению, вы к ним не принадлежите.

— За версту друг от друга? — прервал Голицын. — А потом шампанское дуть?.. Не выйдет!

— Вы меня не поняли, — презрительно скривился маркиз. — Стреляем по команде секундантов, барьер — десять шагов.

— Принято, — сказал Голицын, вспомнив, что таковы были условия пушкинской дуэли, считавшиеся крайне жесткими. Нарочно или случайно сделал свое предложение маркиз? При его осведомленности обо всем на свете он мог знать, что так стрелялись Дантес с Пушкиным. Значит, меня ждет участь Пушкина? Черта с два!..

Ему стало весело при мысли о том, что он разочтется за Пушкина, кровью этого хулителя России смоет пятно с русской чести.

Маркизу не понравилась его веселость.

— Имейте в виду, в двенадцати шагах я делаю из туза пятерку.

— А мне-то что? — небрежно отозвался противник.

Ничто тебе не поможет, ликовал Голицын. Хватит, по-

пили русской кровушки. Теперь наш черед. Начиню я тебя свинцом, друг мусью. За мной Пушкин и все русские праведники.

Но не защитили его ни покровители святой Руси, ни сам Александр Сергеевич от меткой пули маркиза. Видать, нужно было кому-то для высших целей, чтобы он пролил кровь за правое дело. Пуля попала в ляжку, вызвав обильное кровотечение. Маркиз выстрелил, едва секундант бросил платок; он был слишком уверенным стрелком, а князь слишком крупной и соблазнительной мишенью, чтобы идти на сближение с противником, подвергая себя опасному риску. Он знал, что не промахнется, и был прав. Князя, как ни странно, спасло телесное изобилие, делавшее его столь уязвимым. Всякого другого такой выстрел уложил бы на землю, а в жирных и крепких мясах князя пуля завязла и не достигла кости. Маркиз видел, как растекается пятно на светло-серых панталонах князя, и ждал, что тот рухнет. Но князь шел и шел, хотя противно, наверное, идти к барьеру в мокрых штанах, и медленно подымал руку с пистолетом. Маркизу ничего не оставалось, как тоже идти навстречу пуле, которая будет к нему не столь снисходительна. Он сам поставил столь жесткие условия. На таком расстоянии не промахиваются. «Ну, падай же, падай! — взывал про себя маркиз. — Рана кровоточит, пуля угодила почти в пах. Это тяжелая, смертельная рана, ты умрешь от потери крови, ты уже мертв, так веди себя, как положено мертвецу!..»

Но князь Голицын не хотел соблюдать достоинство трупа, он подходил все ближе к черте, проведенной секундантами, огромный, как собор, ветер трепал яркий платок у него на шее, пушил бакенбарды, шевелил усы, вздымал волосы, и особенно страшен казался в этой мельтешне неподвижный холодный взгляд. Теперь их отделяли друг от друга десять шагов, в сущности, узенькая полоска земли в мелких звездчатых цветочках. Казалось, князь может дотянуться до него стволом пистолета, и маркиза передернуло от физического отвращения. Нет, пистолет не дотянулся, но черный кружок дула устоялся ему в переносье, значит, пуля попадет прямо в лоб. Неужели можно стрелять в безоружного? — пытался заговорить судьбу маркиз, начисто выбросив из головы, что безоружным он стал лишь потому, что поторопился с выстрелом. — Это не похоже на русского аристократа, большого барина, вельможу. Маркиз достаточно знал русских, они часто бывают несдержанны, заносчивы, но всегда благородны. И ведь Голицын — музыкант, человек искусства, гуманист. Русские поэты не убивают противников. Лермонтов

выстрелил в воздух, Пушкин, правда, попал в Дантеса, но уже смертельно раненный, когда не мог хорошенько прицелиться. И тут Голицын сощурил левый глаз. Он что — с ума сошел? О боже!.. Скорей бы кончилась эта пытка. Стреляй, убийца, мясник, вот мой лоб, за ним кипят мысли, рождаются образы, вспыхивают изящные шутки, обидеться на которые может только варвар. Да он нарочно медлит, издевается, негодяй!..

Голицын не стрелял лишь потому, что хотел дослушать звучащую в нем музыку. Вначале ему казалось, что это Бах, но потом он понял, что слышит музыку, которой еще не было, свою собственную музыку, творимую без участия сознания и воли. Музыка слишком чистую и высокую для этой дуэли, для мести, даже для расплаты за гения России, которого не вернешь убийством другого человека. Заключительный аккорд обернулся коротким взвоем, и в очнувшихся зрачках Голицына больше не было бледного, прорезанного морщинами чела. Маркиз лежал на земле в глубоком обмороке.

— Заберите этого труса, — сказал Голицын подбежавшим секундантам. — Выстрел остается за мной. — И, зажав сочащуюся рану, заковылял к карете.

Дуэль не придала блеска личности маркиза. К тому же не давший себя убить Голицын навсегда разочаровал его в русских художниках-аристократах. Их великодушные и благородные — дутые. Маркиз решил скрыться. Он уехал в Германию, где после недолгих странствий облюбовал тихий поэтический Веймар, чтобы возле бывшей обители олимпийца Гете обрести душевный покой. Он почти преуспел в этом, поняв, как ничтожна ссора с поддельным русским князем, капельмейстером-авантюристом, нагло присвоившим громкое имя, — с таким и к барьеру выходить зазорно, — как вдруг возле Гердеркирхе почти наскочил на Голицына. Маркиз успел спрятаться за колонну, и великан в своих экзотических просторных развевающихся одеждах, что-то мурлыча под нос и размахивая руками, прошел мимо. Мстительный дикарь, гунн, скиф выследил его, чтобы сделать свой губительный выстрел!.. Вот она, истинно азиатская, ничего не прощающая, душная, тупая злоба. А маркиз простил ему, выбросил из головы глупую, вздорную историю. А этот ничего не забыл. Элегантные фраки, парижское произношение, а чуть колупни — степные кочевники, нет, хуже, те одинокие дикари, потерянные в чудовищном пространстве, что тянут свои бесконечные, заунывные, страшные песни. Потомки унаследовали упорство, терпение и непреклонность угрюмых певцов. Страшно подумать, что возле изящной и хрупкой, как

севрский фарфор, Европы топчется косолапое чудище с железным рылом.

Не искушая судьбы, маркиз в тот же вечер покинул Веймар. Он вернулся во Францию, но, боясь, что и сюда дотянется длинная лапа с пистолетом, почел за лучшее перебраться в Новый свет.

Он неплохо устроился там, открыв неожиданную прелесть в полувивилизации. При всей своей эрудиции, талантах и остроумии он оставался в Европе одним из многих, слава его не выходила за пределы гостиных, здесь же оказался единственным. Он поселился в Бостоне, и чтобы полюбоваться им и послушать его искрящуюся, непонятную и тем особенно притягательную речь, приезжали туземцы из таких далеких «пуэбло», как Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор.

Маркиз хорошо прижился в этом мире, усвоил местные обычаи, чуть-чуть — привычки и манеры, ровно настолько, чтобы польстить аборигенам, но не утратить своегопряного своеобразия, он не научился лишь читать газеты, которых здесь выходило без числа, хотя все были на одно лицо: много скучнейшей политики, сухой биржевой цифири, до одури — рекламных объявлений, обширный отдел происшествий, уголовная хроника и раз в неделю — сопливый нравоучительный рассказик. Но и в газетах случается полезное, особенно в отделе текущих событий. Маркиз ненавидел самый запах типографской краски, напоминающий запах мочи, у него в доме газеты были под запретом. А зря. Иначе не оказалась бы для него столь ошеломительной встреча с Голицыным на одной из улиц Бостона, куда тот приехал с концертом. Не было сомнений: кровопийца последовал за ним в Америку, чтобы получить свой долг.

С первым же пароходом маркиз отплыл на родину. Здесь он скрылся за стенами глухого монастыря под Ла Рошелью, где вскоре принял постриг. В свободное от монастырских обязанностей время он писал книгу о романской архитектуре, благо вокруг было столько прекрасных образцов, но не кончил ее, ибо во всем оставался дилетантом, то есть человеком, не знающим завершающего успеха.

Конечно, Голицын и не думал преследовать маркиза. Он вообще забыл о трагикомической дуэли. Если б Голицын сосредоточивался на подобных пустяках, то давно бы поник под грузом впечатлений, на которые не скупилась судьба. Он умел жить данной минутой, жить с полным напряжением душевных сил, искренне, горячо, порой неистово, но когда эта данность исчерпывала себя, он к ней уже не возвращался. Протяженным в его жизни оставался лишь хор, давший

ему в конце концов полное совпадение с собственной сутью. Все остальное — пена. И пена не пустяк, коли из нее родилась Афродита, коли она вскипает над бокалом золотого аи. Но остроумный маркиз не был даже пеной, так — пузырьком, надувшимся и сразу лопнувшим.

Коронация прервала так плодотворно начавшееся путешествие. Князь поспешил на родину, чтобы в последний раз (о чем он еще не знал, да и знать не мог) покрасоваться в камергерском мундире на дворцовых торжествах.

Натешив свое тщеславие на этот раз удивительно быстро, что отражало известный нравственный сдвиг, Голицын испытал звериную тоску по жене и детям и с обычным нетерпением, какое вкладывал во все свои поступки, не списавшись с женой, помчался в Огарево. По роковой игре судьбы, чем тоже не бедна жизнь Голицына, сходное чувство испытала Екатерина Николаевна и отправилась в Салтыки, думая заставить мужа. По пути она заглянула к Рахманиновым и узнала, что Голицын промчался из Петербурга прямо в Огарево.

Голицын притягивал к себе недоразумения, нелепицы, всевозможный вздор, как магнит — металлические стружки. Не обошлось без этого и по пути в Огарево. На каком-то постоялом дворе он приметил изящно одетого господина явно не русской наружности, пытавшегося объяснить хозяину, чтобы тот подал самовар.

Князь пришел к нему на помощь. Он оказался учителем музыки Медвейсом, приглашенным княгиней Голицыной для обучения дочерей игре на рояле. В Огарево он пробирается с великими муками из-за полного незнания русского языка. Голицын назвал себя и предложил ехать вместе. Медвейс возликовал — кончились его муки! Но в дороге он понял, что настоящие муки только начинаются. Виной тому — громадный живот князя. Бодрствуя, Голицын следил за своим чревом, не позволяя слишком распространяться, но стоило задремать, гора наваливалась на Медвейса и загоняла в угол, грозя задавить.

Не выдержав, Медвейс постарался намекнуть князю на те притеснения, которые вынужден терпеть, но сделал это в льстиво-замаскированной форме:

— У вашего сиятельства редкий, небывалый по величине живот!

Голицын намек не понял.

— Ну, что там! — отмахнулся благодушно. — Сходишь в церковь — живота как не бывало.

Медвейс вытаращил глаза.

— «Отдадим господу живот наш»,— с усмешкой пояснял Голицын.

В переводе соль остроты пропала, пришлось втолковать французу, что на церковном языке «живот» и «жизнь» — синонимы. Нет ничего неблагодарней, чем объяснять остроты, и князь чуточку обозлился на Медвейса. И когда француз сказал, что намерен всерьез заняться русским, Голицын любезно предложил: мол, зачем время терять, начнем прямо сейчас. Медвейс рассыпался в благодарностях.

— Обычное русское приветствие,— учительским голосом начал Голицын.— Поцелуй меня в...

— Поцелуй меня в...— старательно повторил Медвейс.

— Неплохо. Только не «меня», а «меня». Теперь: «Как ваше здоровье?» Это совсем просто: мать твою так!..

— Мать твою так! — радостно вскричал Медвейс.

Русский язык вовсе не так труден, как ему казалось.

Ехали медленно, но обучение шло споро. На другое утро, проснувшись в возке, князь был приветствуем свежим голосом француза:

— Поцелуй меня в ...!

Князь вспыхнул, но вспомнил о вчерашнем уроке и похвалил Медвейса за хорошую память. После легкого завтрака обучение продолжалось в том же духе. Медвейс оказался на редкость способным учеником — ухо музыканта. Для разнообразия князь научил его скороговорке, выдав ее за признание в любви: «Эта река широка, как Ока. Как так Ока? Так, как Ока!». Медвейс бубнил ее без устали, пока князь снова не заснул.

Карета легко катилась лесной усыпанной хвоей дорогой, и тут живая, дышащая гора обрушилась на Медвейса, и он понял, что не дотянет до того часа, когда князь отдаст господу живот свой. Задыхаясь, он с усилием распахнул дверцу и выпрыгнул наружу. Хорошо было идти по упругому спрессованному игольнику! Меж сосен и елей, под голубыми ситцевыми небесами зазвучала веселая французская песенка: «Прости, моя Лизетта, прости за то, за это»... Как ни хорошо идти по лесной дороге, но ехать еще лучше, и ямщик, не замечивший, что Медвейс вышел, хлестнул по всем по трем. За собственными лихими выкриками ямщик не слышал жалобных призывов брошенного француза.

Несчастный учитель тащился по лесу, сразу ставшему угрюмым, таинственным и опасным. Просить у Лизетты прощения за разные шалости уже не хотелось. Он ждал, что из чащи прыгнет огромный медведь, выметнется, очерив клыки, кабан или голодный волк взблеснет зелеными беспощадными

глазами. Наслышан был Медвейс и о русском лешем, который по коварству и злобе страшнее диких зверей, и о бабье — костяной ноге, и ее приятеле кощее бессмертном, но как просвещенный человек не придавал значения этим побасенкам, а тут смутился духом. Кто его знает, в этой невероятной стране все может быть. Ни в одной цивилизованной стране нет ни бабы-яги, ни кощея, ни лешего, а у варваров чего не сыщется.

Вконец перетрусивший Медвейс был безмерно счастлив, когда его нагнал крестьянский обоз. У него, правда, успело мелькнуть, что это лесные разбойники, но он предпочитал их лесной нежити. От злодеев откупиться можно: золотая булавка в галстуке, запонки с рубинчиками, брюки английского сукна...

Но мирные поселенцы сами малость оробели при виде странной фигуры, от которой веяло нерусским духом. Медвейс поспешил успокоить их ласковым приветствием:

— Поцелуй меня в...

Мужики остолбенели, тогда Медвейс признался им в любви:

— Эта река широка, как Ока. Как так Ока? Так, как Ока!

Мужики радостно засмеялись: дурачок! Только один оказался подogaдливый, он ткнул Медвейса пальцем в грудь: «Мусью?» Тот закивал, довольный, что нашел с туземцами общий язык. Смекалостный мужичонка состоял некогда при барах и кое-чего поднабрался. Он строговато спросил: «Э бьен ди Еллен, ту вьен кор ла тур?» «Как так Ока? Так, как Ока»,— подтвердил француз. «Ву завон?» — переспросил мужик.

— Мать твою так! — подтвердил Медвейс и вывалил на встречных весь свой языковой запас, которым снабдил его Голицын.— Сволочь, дерьмо, куй собаку!..

Мужики рассвирепели. Медвейс ничего не понимал: его сиятельный педагог уверял, что это самые нежные слова, дорогие сердцу каждого русского человека...

Проснувшись, князь обнаружил, что француза нет рядом. Он дернул за шнурок, привязанный к пальцу ямщика, и сорвал его с козел. Ямщик упал, отряхнулся и кинулся к барину.

— А где этот?..— спросил, зевнув, Голицын.

— Кто? — не понял ямщик.

— Кто-кто!.. Француз. Учитель.

— В карете небось,— осторожно сказал ямщик.

— Вот дубина! Стал бы я тебя спрашивать!.. Нет его.

— Вывалился, поди.

— Что ты несешь, болван! Дверца запирается...

Лицо ямщика было еще крепче заперто, чем дверцы кареты, и Голицын почувствовал какой-то мистический страх:

— Слушай, а был он вообще-то, этот француз?

— Кто его знает,— раздумчиво произнес ямщик.— Может, был, а может, нет. Как вашей милости угодно.

Голицын диковато глянул на ямщика: тот всерьез допускал, что никакого Медвейса не было. Только с ним случается подобное: ехал человек рядом в карете, дышал, ворочался, что-то напевал, язык учил, и нет его, будто живьем взят на небо. А может, вообще ничего не было? Все только приснилось ему в долгом, тяжелом, ухабистом каретном сне? Князю захотелось всхлипнуть, облегчить заболевшую грудь, он сморщился, но ни слезинки не выжал. «А, черт с ним! — отмахнулся он.— Подумаешь, Моцарт!.. Француз, учительшка музыки... Хватит, довольно попили русской кровушки!..— Он откинулся на подушки, крикнув в окошко кареты: — Го-ни!..»

А Медвейс, хоть и помятый мужиками за теплую русскую речь, был все же доставлен в барский дом. На радостях Голицын велел истопить «мусью» баню и хорошенько попарить можжевельным веником. После чего из своих рук поднес ему чарку водки и пригласил к столу. Необидчивый Медвейс очень смеялся над своим приключением, но уверял, что русский язык он все равно изучит, и просил порекомендовать ему учителя. «Лучше нашего попа никого нет,— решил князь.— Я сам ему скажу».

И сказал. Священнику велено было обучить Медвейса церковно-славянскому. Живым русским он и так овладеет — в девичьей, пусть вывезет из России три языка.

Новое обиталище семьи пришлось крайне не по душе Голицыну. «Это какая-то Сибирь»,— брюзжал он, словно причудливый каприз жены, а не его собственные вины заставили семью забиться в такую глушь. Бывает, что рослые люди любят тесноту: Петр I мог спать только в низеньких келейках; верзила Голицын любил простор и свободу: высоченные потолки, большие комнаты с венецианскими окнами. Ему было тесно и душно в маленьких покойчиках, он то и дело стучался лбом о притолоки, локтями сбивал разные безделушки. Это раздражало. Ко всему, его дочери, чтобы угодить отцу, разучили хоровую песню, которую и пропели, неправильно ставя ударения:

Солдатушки, ребятушки,
Где же ваши жены?..



Он научил их петь правильно эту песню, напугав до дрожи своей требовательностью, ибо в увлечении любимым делом начисто забыл, что перед ним дочери, а не певчие салтыковского хора. Почувствовав отчуждение детей, он окончательно возненавидел Огарево. В этой тощей деревеньке никогда не видели таких громадных и пышных людей, как князь Голицын, который, ко всему, уже начал чудить в одежде, что в дальнейшем станет источником удивительных недоразумений. На дирижерском месте он появлялся в безукоризненном черном фраке и пластроне, в обычной жизни, особенно в деревне, проявлял склонность к невиданным архалукам, широченным кафтанам, восточным шальварам и халатам, полуклобукам-полуермолкам, призванным сдерживать буйную гриву уже проточенных сединой волос. Он запустил, в добавление к бакенбардам, усам и подусникам, длинную раздвоенную бороду; чрезмерность роста, черева, волос и облачения производила пугающее впечатление. Сталкиваясь с ним, огаревские мужики испуганно ломали шапку, девки ахали и закрывались рукавом, старухи крестились, а ребятишки с визгом кидались врассыпную. Ушлых салтыковцев, привыкших на своих ярмарках и к бухарцам, и к башкирам, и к цыганам, и к жидовинам, и «нахалкиканцам», ничем не удивишь, но местное бесхитростное население было потрясено. Убедившись вскоре, что в огаревцах говорят не патриархальные чувства почтения и трепета, а нечто более сложное: он воплощал для этих простых душ урядника и нечистого в одном лице,— князь приказал раздать деревенским ребятишкам пряники, наскоро перецеловал дочерей, велел им спеть про солдатушек с правильно расставленными ударами и укатил в Салтыки.

На одной из почтовых станций от столкнулся с женой, но странно (опять странно!), оба будто израсходовали в первом горячем и неудачном порыве друг к другу остаток любовного чувства. Они встретились доброжелательно-прохладно, наскоро поговорили и отправились — каждый в свою сторону.

Это не значит, что они больше никогда не встретятся, не обменяются добрым словом, напротив, после летучего свидания на почтовой станции им стало легче и проще друг с другом, ибо они поняли: ждать и надеяться не на что. Екатерина Николаевна будет ходить на его концерты, отпускать к нему детей, они проживут бок о бок целое лето в Гостилице под Петергофом у тетки Потемкиной: она с детьми, он со своим хором; князь будет обращаться к ней с разными просьбами, и Екатерина Николаевна ни в чем не откажет му-

жу, кроме одного-единственного — развода, но то случится в другую эпоху беспокойного бытия Юрки.

Начало профессиональной жизни Голицына можно отнести ко времени Гостилиц, хотя никто из окружающих не догадывался, что придворный и камергер прочно, всерьез, навсегда взял в руки дирижерский жезл. Считали — чудит Юрка!.. Он не чудил. И стал выступать за деньги не по блажи, а потому что, лишившись большей части доходов, не имел средств содержать хор, а лишь в хоре видел он теперь смысл своего существования. Когда-то Пушкина осуждали, что он берет деньги за стихи. На эти нападки он ответил знаменитым: «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». Пока в свете думали, что князь играет в артиста, над капельмейстерскими доходами богача Голицына добродушно посмеивались, когда же узнали, что он берет плату за выступления по нужде, его стали презирать.

Отгремели коронационные торжества, празднества, приемы, балы, лег на дно сундука расшитый золотом камергерский мундир, князь целиком посвятил себя хору. Иных забот не осталось, душа освободилась от накипи, вся ушла в любимое дело, и хор дружно откликнулся своему вóжу. Голоса певцов засияли. Обе столицы рвали друг у друга голицынский хор, и двигал светской публикой более сильный позыв, нежели духовная жажда, — мода. Безбожники упивались церковной музыкой, люди, не знавшие толком ни родного языка, ни отечественной истории, заходились от старинных русских песен, любители полонезов хмелели от ядерной «Камаринской».

В уцелевших письмах князя той поры нет ничего от помещика, барина, связанного общими заботами и распрями с другими землевладельцами, — лишь трудолюбивый музыкант-профессионал, целиком расходуящий себя на выступления, спевки, многочисленные хлопоты, связанные с размещением и устройством почти полтораэтажного человека. Князь живет несколько месяцев возле жены и светских родичей, но волнуют его только Ваньки, Андрюшки, Маньки, Парашки, что должны сытно есть, сладко пить, крепко спать, чтобы выдержать суровый рабочий режим и в положенный час явить глас небожителей, эхо давних времен, плач и бурное веселье нынешней народной жизни, растревоженной веянием ожидаемых перемен.

Невероятный успех голицынского хора объяснялся не только великолепным подбором и выучкой певцов, талантливейшей музыкальной трактовкой исполняемых произведений, тончайшим чувством народного мелоса и романтической лич-

ностью красавца князя, но в большой мере самим временем, заставлявшим по-иному смотреть на русскую деревню, которая из поставщика бессловесных рабов превращалась в поставщика новых граждан, новой общественной силы, а чем это чревато, никто не мог предугадать. Но что накат волн будет велик и грозен, понимал каждый. И хотелось поглубже заглянуть в глаза таинственных незнакомцев, которые не сегодня завтра прынут из тьмы. Было и другое: позорное поражение в Крымской войне невольно обращало взоры вспять, к прошлому, к черным дням русской истории, когда на авансцену выходил н а р о д, таящийся до поры в глухом непроглядье, но в роковой час приносивший торжество русскому делу. Так было при Александре Невском, на поле Куликовом, в Смутное время и при нашествии Наполеона. В Севастополе народную силу побороли не вражеские армии, а свои же бездарные командующие, алчные чиновники и всякого рода нечисть, налипшая на русское тело. И понимать это начали только сейчас, в широких кругах мало знали о трагедии Севастополя.

Из песен голицынского хора вставал народ — старинный, недавний, нынешний, пожалуй, и завтрашний, народ с его тоской и весельем, его духовной жаждой, с загадочной способностью оставаться самим собой, в собственном достоинстве, как его ни мяли, ни корежили.

Да ведь и сам хор был народом, пусть принаряженным, отмытым, причесанным волосок к волоску, расписным, как тульский пряник, а все же — частица той мощи, что не сегодня завтра вырвется из курных избышек не для решения какой-то исторической задачи — для исторической ж и з н и. А ведь жизнь одних всегда отнимает хоть частицу жизни других. Тут было о чем задуматься. В мелодичных столах чудились громы, и странно-пронзительно было видеть, что темная мощь покоряется движениям жезла Гедиминовича. Это дарило какую-то надежду. Пусть звучат, разливаются, грохочут, звенят, рассыпаются чужие голоса, лишь бы они подчинились движениям руки, в которой течет голубая кровь. Весь Петербург ломился на голицынские концерты...

Но музыкальная жизнь России еще не обрела четких форм, ею никто не ведал (была Императорская капелла, остальное — безнадзорно), все творилось стараниями отдельных энтузиастов, а содержать хор — дело дорогое, оно даже богатейшим Шереметевым иной раз оказывалось не по плечу. Большие доходы от концертов и клироса все же не покрывали расходов, а жать сок из крепостных певцов, держать

их в черном теле Голицын — в отличие от тех же Шереметевых — не хотел и в зените славы своего хора оказался вынужденным его распустить.

Беда была в том, что князь все еще сидел меж двух стульев — придворного и артиста. Если б у него хватило мужества отринуть все условности, подчеркнуть прошлое (как он и сделал позже), хор можно было сохранить. Но сословные предрассудки еще крепко держали его в руках.

Правда, князь сделал попытку спасти хор, предложив государю приобрести его за весьма скромную плату, но Александр холодно отказался. Этот монарх все делал невпопад, будь то забота государственного значения или проблемы частной жизни. Человеку посредственному, недалекому выпало править Россией в самый ответственный момент ее истории. Ему хотелось быть достойным своей миссии, но все шло кривь и вкось. Он удалил нескольких одиозных сподвижников Николая, но приблизил едва ли не худшего, чем все они, вместе взятые, — младшего Адлерберга, он намеревался смягчить цензурные тяготы, но литераторам казалось порой, что вернулись кромешные времена душителя Красовского, он любил порядок и чинность, а единственный из Романовых после развеселой императрицы Елизаветы сочетался морганатическим браком, оскорбившим всю царскую фамилию, он дал свободу крестьянам, но сделал это так, что бомба Гриневецкого явилась естественным завершением его жизни и царствования.

В ту пору Россия искала сближения с Европой. И у Европы был интерес к России, о которой она почти ничего не знала. Хор князя Голицына мог бы оказаться весьма полезным в сближении культур, а царь брезгливо отверг его. Что имеем — не храним, потерявши — плачем. И в данном случае эта русская истина подтвердилась. Некий важный заморский гость спросил Александра, куда девался дивный хор Голицына, которого так ждали в Европе. Александр смутился, ушел от ответа, а на следующий день приказал разыскать князя и купить у него хор. Но хора уже не существовало.

Прощание Голицына с хористами было трогательно. Он хотел заказать огромный групповой портрет одаренному живописцу Виалю. Но художник увильнул от заказа. В письмах Голицына содержатся глухие намеки на людей, мешавших осуществлению последней мечты артиста. Похоже, Рахманинов предупредил Виалю, что деньгами на подобный заказ князь не располагает. Досматривая по просьбе Голицына за Салтыками, он не считал возможным урезать до-

ходы Екатерины Николаевны ради красивых, но сумасбродных выдумок.

«Марта печется о мнозем, хотя единое есть на потребу». Распустив хор, Голицын начисто забыл об этой заповеди. Он заматался: настойчивые попытки найти должность в Петербурге, связанную с искусством, унизительные для чело- века его самооценки и гордости хлопоты у сильных при дворе — дело доходило до того, что ему приходилось ж д а т ь появления вельможного лица, обращаться с п р о ш е н и я м и, искать п о к р о в и т е л ь с т в а, выслушивать о т к а з ы. Князь узнал на собственной шкуре, что значит недостаток средств, зависимость от высших, ведомственная волокита, чиновничья недобросовестность. И самое обидное — никого не вызовешь на дуэль, ибо никто не виноват в отдельности, а все сообща. Он узнал оборотную сторону дворцовой жизни, двуличие и холод сановников, узнал многое такое, чего никогда бы не узнал богатый помещик, губернский предводитель, баловень двора Голицын, если б не разорение и если б он не стал в надменных глазах платным актеришкой. Впрочем, он еще не испил до дна горькую чашу, но торопился это сделать. Возможно, он бессознательно ускорял приход той деклассированности, без которой никогда бы не стал настоящим профессиональным артистом.

Под влиянием выпавших ему на долю ударов (настоящим ударом был роспуск хора, все остальные — щелчки) князь очень полевел, проникся страданиями народа, гневом на дурную, продажную администрацию и весь изгнивший отечественный порядок. Свои критические мысли о современной действительности, проиллюстрированные примерами неправд и злоупотреблений, он изложил в нескольких заметках, предназначенных герценовскому «Колоколу». Подобные материалы шли без подписи, так что крайнего риска не было, но Голицын с присущей ему беспечностью дал перебелить их мальчишке-кантонисту, обладавшему хорошим почерком и некоторой грамотностью. Лениость и политическая незрелость флегматичного отрока заставили его промедлить с доносом, и это позволило князю отправиться в новое заграничное путешествие.

С той же великолепной широтой, что была явлена в сношениях с лондонским изгнанником, Голицын отнесся к другому делу, чреватому еще большими опасностями.

Отец князя Николай Борисович с годами все обострялся умом и характером; не оставляя музыкальных занятий, он, естественно, утратил вкус к светской жизни, галантным похождениям и освободившееся время стал посвящать ре-

лигиозным раздумьям. Воспитанник иезуитов, он был католиком в душе, но, пока мог сам грешить, не слишком обременял себя вопросами веры. Это распространенное явление: люди, хорошо покурлесившие в молодости, угасая, становятся ханжами. Николай Борисович ханжой не стал, но религия завладела его помыслами, и он окончательно убедился в преимуществе католицизма перед православием. Свои взгляды он изложил в остро и едко написанном памфлете. Будучи столь же «осмотрительным», как и его сын, он дал прочесть рукопись своему другу Андрею Николаевичу Муравьеву, видному религиозному писателю, родному брату знаменитого Муравьева-Вешателя. Сам Андрей Николаевич никого не вешал, предпочитая действовать пером. И вот этому ревнителю православия, синодальному наушнику и доверенному лицу мракобеса Филарета задорный князь представил свое сочинение.

Муравьев пришел в ужас.

— Писать вам, князь, никто запретить не может, но, если вы напечатаете эту статью, я вас выдам.

Николай Борисович, хорошо знавший характер Муравьева, был уверен, что свою угрозу тот выполнит, тем не менее он со спокойной совестью вручил статью сыну с просьбой напечатать ее в Лейпциге. Он знал о трудных обстоятельствах Юрки, но хладнокровно поставил его под удар — уж слишком хотелось досадить Муравьеву.

Состязаясь с отцом в беспечности, Юрка за весь долгий путь до Лейпцига не удосужился заглянуть в крамольную рукопись — сочинения благонамеренные печатают на родине. Если бы он знал ее содержание, то скорей всего отклонил бы отцовскую просьбу: не из страха перед властями, а из страха божьего. Юрка был чистой православной веры. Пропитанный духовной музыкой, он и не мог быть другим; в середине прошлого века едва ли возможна была та раздвоенность или свобода, что позволяла атеисту Рахманинову создавать дивную церковную музыку.

Юрка добросовестно выполнил поручение отца и направил свои стопы в Лондон, предварительно списавшись с Герценом.

Отношение великого революционера Герцена к Голицыну всегда оставалось двойственным. Писал Герцен о князе-музыканте порой сочувственно и добродушно, порой зло, неизменной оставалась лишь восторженная оценка его как музыканта. Но в то первое знакомство, видимо, довольно поверхностное, князь очаровал его как своей наружностью, так и внутренним размахом. «Обломком всея Руси» прозвал

его Герцен. Узнать друг друга ближе они не успели. Нетерпеливая душа князя погнала его за океан, а по возвращении в Европу он получил строжайший приказ немедленно ехать в Петербург.

Безымянная брошюра с хулой на православную церковь успела выйти и произвести крайне тягостное впечатление и на духовные, и на светские власти. Радетельный Муравьев немедленно донес в Святейший синод об авторстве Николая Борисовича Голицына. Со старого князя что было взять, и весь гнев обратился против его сына. Всегда строго спрашивали с «почтальонов». Стремянный Шибанов, выполняя повеление своего господина князя Курбского, передал его хулительное послание Грозному царю и был подвергнут мучительной казни. В отличие от преданного Шибанова Юрка понятия не имел, что содержится в доверенном ему конверте. Не исключено, что он отвел бы удар, но тут раскачался неспорый кантонист. По совокупности провинностей Юрий Голицын был лишен камергерского звания, уволен со службы по ведомству императрицы Марии Александровны и сослан в Козлов под надзор полиции.

И в Козлове люди живут. Хотя и скучно. Но скучно Юрке было лишь до тех пор, пока не удалось собрать небольшой хоришко. Жизнь снова заговорила в князе, и произошло его дремавшее сердце.

Он затребовал к себе семью, тихо, но стойко теплившую свою свечу в далеком Огареве. Его старшая дочь Елена, влюбленная в грешного, многострадального и блистательного отца, с замирающим восторгом ждала, что изгнанник ищет соединения с семьей. Она не могла понять, отчего так печальна разом постаревшая мать, почему не снимает старушечьего чепчика. То ли Екатерина Николаевна располагала какими-то сведениями, то ли, изучив характер мужа, поняла, откуда внезапная тоска по семье, но ее несколько не удивило, когда, оросив слезами головки своих ангелочков, князь попросил дать ему развод. Сердце князя ожило не для нее. Козловская девица К., воспользовавшись одиночеством и заброшенностью опального князя, навела на него змеинные чары. Холодно и расчетливо овладела она доверчивой и необузданной душой. Так представляется дело дочери князя Елене, которой тогда было девять лет. О К. мало что известно. Герцен упоминает ее вскользь в «Былом и думах», называет гувернанткой. В символической части воспоминаний Голицына, где князь выступает под личиной разорившегося английского аристократа, эта девушка повышена в ранге — дочь бедных, но

благородных родителей. Была ли она гувернанткой или дворянкой, К. оказалась верной, преданной спутницей князя, мужественно пройдя с ним сквозь тяжкие испытания, нищету, родив ему сына и выкормив голодным молоком и заслужив самоотверженной своей любовью ответную верность Голицына.

Девочка Елена, ставшая Еленой Юрьевной Хвоцинской, совершенно серьезно объясняет подготовленность матери к последнему удару, нанесенному мужем, вещим сном, приснившимся ей, когда по пути в Козлов они остановились переночевать в доме Рахманинова. Мать «видела себя мертвою, слуга старик Василий Кузьмич одел ее в белое платье и поставил в угол; в другом углу стоял грустный ее муж, а около него наша соседка девица К., смеясь, указывала на ее труп пальцем и говорила: «умерла». Мать сразу разгадала, что сулит ей этот сон, и уже на пути в Козлов приняла решение». Не обманул страшный сон, но князь обманулся в своих матримонильных планах. Он все еще верил, что обладает неограниченной властью над душой бывшей харьковской барышни, дрожащими пальчиками высвобождавшей записку из-под ошейника белой козочки. Музыка и вечно кипевшие в нем страсти сделали князя слепым к тем переменам, что исподволь, но неуклонно свершались в душе его жены. Он еще видел любовь там, где оставалось лишь чувство долга, домоостроевскую покорность принимал за очарованность, недоброе отчуждение — за глубоко запрятанную нежность. Впервые он понял, что утратил всякую власть над Екатериной Николаевной и решение ее непоколебимо. Ему оставалась последняя горькая отрада: еще раз омыть слезами головки своих дочерей, что он не преминул сделать.

Семья уехала, а Голицын грустно принял к своей последней душевной опоре. «Коварная разлучница», «гувернантка-втируша», милая, преданная русская девушка напряглась своим юным существом и приняла тяжкий груз. Рухнули надежды князя на создание новой семьи, вместе с ними испарились эфемерные мечты о мирной, спокойной жизни, кротком, неспешном угасании в провинциальной глуши под сладкое замирающую музыку. Но кануло в вечность минутное уныние, деятельная натура князя встрепенулась и захотела вновь на простор. Ему отказали в смиренном доживании дней, он вновь окунется в житейское море, теперь его судьба — странствующий музыкант. Ну а полицейский надзор?..

От этого не отмахнешься. Помимо жандармских чинов,

батюшки приходской церкви, соседей, прислуги и дворника, наблюдение за ним имело некоторое число темных личностей в штатском, постоянно шнырявших вокруг дома, то и дело попадавших ему на глаза во время прогулок, торчащих в подъездах и подворотнях, когда он бывал в гостях. Князь запомнил несколько небритых физиономий с насморчными носами. Он дал им клички, исходя из внешности, повадок и пороков. Был длинный, тощий, похожий на попа-расстригу, дон Базилио. Свой большой пористый красный нос он то и дело потчевал понюшками табаку. Голицын иногда подзывал его и давал «на табак». Секретный агент живо отзывался на кличку «дон Базилио», будто уже некогда посетил мир в обличье этого проходимца, он сразу отделялся от водосточной трубы, выныривал из подворотни, вылезал из канавы и умильно смотрел на князя, ожидая подачки. Были «Ерофеич» и «Еремеич» — два пьяницы, от которых всегда разило перегаром и луком. Князь не обходил их своим вниманием. Он приказывал им становиться против ветра, чтобы не слышать смрад сивушного дыхания, и давал на водку. Был хромой карлик «лорд Байрон» или просто «Лорд» — прозвище возникло из-за хромоты и контраста ничтожных черт недомерка гордой красоте поэта. «Чижик-пыжик» любил хорониться в кустах, в космах дикого винограда или хмеля; с ним игралась такая игра: «Чижик-пыжик, где ты был?» «На Фонтанке водку пил», — следовал радостный ответ. «А еще хочешь?» «Кто не хочет!» — пищал чижик и получал на утоление жажды. По праздничным дням эта вшивая команда являлась к Голицыну с поздравлениями следом за квартальным, прислугой, кучером, дворником — тоже стукачами — и получала презенты. Дон Базилио всегда пытался чмокнуть князя в руку, он знал обхождение и просил: «Дозвольте, ваше сиятельство, ручку померсикать». Но, несмотря на всю свою жалкость, глупость, низость и постоянную нетрезвость, службу они исполняли с примерным тщанием и терпением. Князь чувствовал, что слезящиеся, мутные, красные гноящиеся, воспаленные глаза как бы передают его друг дружке, как только он выходит за порог дома. Неужели, удивлялся Голицын, он такой важный государственный преступник, что необходима постоянная слежка? Ведь если ему захочется послать что-либо в «Колокол», он все равно это сделает, только уж не будет прибегать к помощи кантониста-доносчика; православие уцелело, даже не дрогнуло после брошюры его отца, к тому же он был просто почтальоном, понятия не имеющим о содержании своей сумки. Зна-

комство с Герценом и Огаревым? Но ведь каждый приличный человек, отправляясь в Европу, непременно повидается с ними, но никого за это не ссылают. В конце концов он — музыкант, а не политический деятель. Покойный император называл дело сыска «святым», ныне здравствующий обходится без афоризмов, возносящих Третье отделение, но, похоже, не меньше отца чтит службу слежки, надзора и пресечения. Это какая-то слежка ради слежки, преследование ради преследования, и, по чести, Голицыну надоело, что вся его жизнь идет как бы на виду. Еще немного, и они проберутся к нему в спальню, в туалет. Ходишь, как голый. С этим пора кончать, тем более что из местных путного хора не соберешь, а по губернии ему ездить запрещено. И на какие средства мог бы он содержать сколь-нибудь стоящий хор? С музыкой не получается, но остается любовь. Будем открытвенны с собой: тихой незаконной любви не бывает. К. нигде не принимают, она этим мучается — из-за него, ей-то самой никто не нужен. К себе они могут пригласить разве что дону Базилио или Чижика-пыжика. Простые радости провинциального бытия не для них. Стало быть, надо взорвать тишину. Он часто бормотал про себя стихи Лермонтова, на которые позже создаст свой лучший романс:

Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?

Так пусть забушует океан, это лучше, чем гнить в тухлой заводи. Склонный к самообольщению, Голицын тем не менее понимал, что в Козлове он как-то проживет на оставшиеся скудные доходы, а в широком мире, если удастся вырваться, что при неотступной слежке казалось маловероятным (впрочем, маловероятное было стихией Юрки Голицына), на него обрушатся каторжный труд и заботы многие. Но он верил в себя как в артиста, верил, что выдюжит. а главное — верил в душевную силу той, что стала его спутницей. Все же он не имел права принимать решение единолично. Он поделился своими мыслями с К. «Я проживу и тут, а ты — нет. Значит, надо бежать». И Голицын осуществил побег с присущим ему размахом, прихватив с собой не только гражданскую жену, но и служанку, лакея и обученного им регента хора. Уже в дороге он подцепил какого-то мелкого авантюриста, поверив в его толмаческие способности — нельзя без приживала...

Как же ему это удалось? План был прост, как все ис-

тинно великое. Уйти от слежки он не мог, поэтому Голицын решил максимально привлечь внимание к своей персоне и тем ослабить бдительность козловской полиции. Человек, который выставляет себя напоказ, вряд ли вынашивает преступные замыслы. Голицын решил дать городу, прежде всего молодежи, прекрасную зимнюю забаву: горку для катания на санках. Да что там горку — горищу: от своего дома до базарной площади и дальше до самой реки Вороней, чтоб выносило отважных саночников аж на другой берег. Это встанет в копейку, ведь надо проложить трассу, ровно залить водой и соорудить снеговые борта для безопасности катающихся, но игра стоит свеч.

Такого увеселения сроду не знали в скучном Козлове, и городничий, и почтенные обыватели, и простонародье — все восхищались выдумкой и тороватостью князя. Конечно, власти не препятствовали Голицыну посетить Тамбов для свидания с губернатором перед самым открытием горки. Они ждали от этой встречи новых приятных неожиданностей для Козлова.

И неожиданности не замедлили. Сооружение было завершено, опробовано, и городничий телеграфировал князю в Тамбов, что гору сгордили и его ждут для торжественного открытия увеселения.

«Городите дальше», — лаконично ответил князь и, плотно поужинав у губернатора, спев несколько романсов Варламова и Булахова, восхитив мужчин, очаровав дам, той же ночью пустился в бега с женой и всем штатом.

Из Перекопа он телеграфировал князю Василию Андреевичу Долгорукову, ленивому, бездарному военному министру севастопольских дней, а ныне — куда более деятельному, но столь же бездарному шефу жандармов: «Благодаря исправности вашей тайной полиции, я благополучно достиг границы». Долгоруков был безутешен. Он жаловался Екатерине Николаевне, случившейся в Петербурге: «Посмотрите, что делает Юрка. Ведь он меня срамит на всю Европу».

Фанфаронство могло дорого обойтись Голицыну. Ведь он все еще находился в пределах Российской империи. Сметнув это, он на время расстался со своим чересчур приметным кортежем. Жена со слугами отплыла в Константинополь, а он, опасаясь, что его возьмут на борту парохода, решил добираться в Царьград через Молдавию посуху.

Путь его лежал из Кишинева в Галац. Для человека, не желающего привлекать к себе внимание, князь выглядел несколько экзотично. Вот как он описывает свой наряд:

«...я еще в Козлове заказал себе шубу, но так как мои размеры требовали непременно два меха, то я для легкости шубы выбрал желтую лисицу и покрыл ее темно-зеленым люстрином, чрез что шуба моя походила на попсовскую, тем более, что я всегда ношу верхнее платье с широкими висячими рукавами. Кроме того, я носил в дороге черную ермолку, а так как день был жаркий, то я распахнулся, и молдаванин, угостивший меня вином, увидел на груди моей необыкновенного размера золотой крест на такой же цепи и, разумеется, принял меня за духовное лицо». Молдаванин попросил благословения и поцеловал у лжесвященника руку.

Дальше пошла настоящая хлестаковщина. Оказывается, в городке Кавуре¹ ожидали приезда какого-то архиерея, направляющегося на восток, и обогнавший Голицына по дороге всадник — реставратор икон, наблюдавший сцену с молдаваном и сам испросивший благословения, растрезвонил о приближении князя церкви.

Не подозревая о волнении, вызванном его приездом, Голицын в распахнутой лисьей шубе, ермолке на седоватых кудрях и с златоблещущим крестом на груди подъехал к гостинице и попытался взять номер на одну ночь. Жизнь очень грубый драматург, она любит устраивать те нарочитые совпадения, что не прощают сочинителям пьес. В Кавуре происходили выборы, и гостиница — единственная на весь город — оказалась переполненной. И тут снова вынырнул шустрый богомаз и, низко кланяясь, сказал, что его преосвященству отведена квартира у благочинного.

Это никак не устраивало Голицына, боявшегося разоблачения, он отговорился тем, что не хочет стеснить батюшку, и попросил найти ему другое жилье.

Расторопный богомаз отвел его в дом предводителя, который как раз праздновал свое переизбрание на высокий пост. Увидев архиерея, все присутствующие дворяне, числом более сорока, поочередно подошли под благословение и облобызали ему руку. Голицын рассвирепел и сам стал совать руку — довольно грубо — к устам богобоязненных и нетрезвых дворян. Одному он шатнул зуб, другому разбил губу. По счастью, он сумел внушить гостеприимному хозяину, что шум, теснота и вакхическое веселие, царящие в доме, мешают ему сосредоточиться перед воскресной службой. Ему нужны тишина и уединение. Тут кто-то вспомнил о

¹ Такого города я не обнаружил на картах. Может быть, Голицын имел в виду Кагул. (Прим. автора.)

вдовце-дьячке, у которого был чистый покойчик. Туда и отвели архиерея.

Дьячок уже спал и поначалу никак не мог понять, чего от него хотят. Когда же понял, то онемел от громадности обрушившейся на него чести. Говорят, что именно с этого дня он запил вмертвую.

Не успел утомленный князь забыться сном на мягком пуховике, как услышал шепоток в соседней комнате. Мгновенно пробудившееся чувство опасности как ветром сдуло его с постели. Оказывается, благочинному донесли о приезде высокой особы, и тот пришел просить архиерея освятить иконостас и осчастливить прихожан торжественным служением.

Все шло строго по «Ревизору», но Голицыну захотелось скорее добраться до конца спектакля: благополучного убийства Ивана Александровича из слишком гостеприимного города. Спровадив кое-как попа, Голицын решил признаться во всем дьячку. Десять желтеньких новых золотых помогли служителю божьему перенести разочарование и даже быстро раздобыть «купцу Малькову», спешащему по торговым делам, шестерку лошадей.

«Когда в пятом часу ударил благовестный колокол, — вспоминал Голицын, — меня в Кавуре уже не было. Тогда только, перекрестившись, я свободно вздохнул»...

О бегстве Голицына в Англию, превратившемся в большое авантюрное путешествие, достойное вдохновенного и чуждого мелочному правдоподобию пера Марко Поло, известно не так уж много. Но и того, что есть, достаточно, чтобы сказать: оно было достойно Юрки Голицына — порох не отсырел. В его незаконченных, вернее, едва начатых воспоминаниях содержится перечень эпизодов-главок, посвященных этому путешествию. Вот он (сокращенно):

«Исправляю должность миллионера. — Покупаю сало и шерсть. — Русский консул. — Агент пароходства... — Отказ принять на пароход. — Встреча славянина на набережной. — Австрийский пароход компании Лойд. Беседа за обедом. — Я заподозрен. — Решительное объяснение в каюте. — Сильная качка под Варной. — Шквал. — Туман. — Еще таких пять минут, и мы оба погибли. — Крушение и гибель английского парохода. — Меня чуть не выбросило за борт. — Восход солнца. — Тишь и вход в Босфор. — Константинополь, таможня и покупка фиц-гармонии. — Русский генерал. — Оказывается, в Константинополе много знакомых при посольстве. — Гонят с парохода. — Нигде не принимают. — Отчаянное положение. — Греческий пароход «София»

под английским флагом и капитан парохода англичанин. — Наконец успокоился. — Оставляю Босфор. — Буря в Босфоре. — Карамболь нашего парохода с другими, сорвавшимися с якоря судами. — Решились было не морем ехать, а через Турцию на Вену и так далее. — Неожиданно опять плывем. — Мраморное море... — Смирна. — Александрия... — Обезображивают Каир. — Султан le roi s'amuse. Египетская железная дорога. — Как наши инженеры далеко отстали от французских по части наживания. — Сам господин Лессепс. — Особый поезд для завтрака в champagne train Г. Лессепса. — Река Нил. — Рамазан в Каире... — Арабские бегуны. — Суэц... — Недостаток в то время в воде. — Ирригационная система орошения полей. — Пирамиды. — Встреча с Орлеанскими принцами comte de Paris et duc de Chartres. — Крокодил. — Американец Мистер Пэдж. — Обжорливость и докучность его. — Мальта. — Китоловы... Француз, хотя и капитан, — невежда, отыскивающий на карте Польшу по соседству с Иркутском. — Страстная суббота. Чудная ночь на палубе... — Пропел с аккомпанементом на фиц-гармонике Христос воскрес и всю заутреню... — Приезд в Ливерпуль. — Почему в Ливерпуле принимают меня за высочайшую особу, и как это дорого мне обошлось... — Народ приветствует...»

От одного этого перечня начинается легкое головокружение. Нечто подобное испытал Герцен, когда услышал одиссею Голицына. Он писал в «Былом и думах»:

«Он мне сразу рассказал какую-то неправдоподобную историю, которая вся оказалась справедливой...»

— Дорого у вас тут в Англии б-берут на таможне, — сказал он, окончив курс своей всеобщей истории.

— За товар, может, — заметил я, — а к путешественникам customhouse очень снисходительно.

— Не скажу: я заплатил шиллингов пятнадцать за крокодила.

— Да что это такое?

— Как что? Да просто крокодил.

Я сделал большие глаза и спросил его:

— Да вы, князь, что же это: возите с собой крокодила вместо паспорта, страшать жандармов на границах?

— Такой случай. Я в Александрии гулял, а тут какой-то арабочок продает крокодила. Понравился, я и купил.

— Ну, а арабочонка купили?

— Ха, ха! Нет».

Еще до появления Голицына в Лондоне Герцен оказал ему дружескую услугу. Весь княжеский штат: регент, слуги

и приживал явились в Лондон раньше князя. Следуя его наказу, они взяли дешевые номера в гостинице и стали ждать приезда своего сюзерена. А тот, как мы знаем, не торопился: разъезжал по Африке, завтракал и пил шампанское с Лессепсом, обедал с герцогами Орлеанского дома, наблюдал обычаи и нравы Египта, осматривал пирамиды и Суэцкий канал, пел под фисгармонию, покупал крокодилов и вообще наслаждался жизнью после козловского заточения. Люди князя вконец зажились, им нечем было платить за гостиницу, и хозяин грозил отдать их под суд. А пока что подверг домашнему аресту, забрав для верности у мужчин сапоги. Имя Герцена как заступника севших на мель русских было известно этим бедным людям, регент выбрался из узилища и без сапог притопал к Герцену с мольбой о спасении. Герцен хорошо знал хозяина гостиницы и поручился за своих земляков. Минуло какое-то время, и к его дому подкатил роскошный выезд, серые в яблоках рысаки лихо осадили у подъезда. Из экипажа вышел «огромный мужчина, толстый, с красивым лицом ассирийского бого-вола» и заключил Герцена в объятия, благодаря со слезами за помощь, оказанную его слугам.

Странные отношения сложились у этих таких русских и во всем разных людей. Голицын откровенно и шумно преклонялся перед Герценом, а тот, стоило ему расположиться к Голицыну, тут же сталкивался с очередным фанфаронством, хвастовством, «гигантизмом», чего на дух не переносил, и симпатия (порой восхищение) сменялась довольно злой иронией. Голицын это чувствовал, но был не из тех, кто приспосабливается к другим людям, даже высокочтимым. А поводов к раздражению он давал предостаточно. Так было, когда у герценовского подъезда заржали серые в яблоках жеребцы, так было, когда Герцен обнаружил, что на афишах Голицын поименован «Его королевское высочество». В последнем Юрка был не виноват. У англичан титул князя соответствует принцу, а принцами были лишь особы королевской крови. Поэтому и стал Юрка «королевским высочеством». После тщетных попыток убедить детей Альбиона, что он не принадлежит к царствующему дому, Голицын махнул рукой, предоставив англичанам величать его как заблагорассудится. Понятно, что каждому импресарию хотелось иметь на афише «королевское высочество», что сулило хорошие сборы. А Герцену это представлялось дурного тона рекламой, самозванством и низкопоклонничеством перед царской фамилией.

Голицын во многом повторял судьбу Герцена: был в

ссылке, бежал, ладил новую жизнь на чужбине, но требовательный и непримиримый Искандер был чужд снисходительности. Все менялось, когда наступала музыка. «Концерт был великолепный. Как Голицын успел так подготовить хор и оркестр, это его тайна — но концерт был совершенно из ряда вон. Русские песни и молитвы, «Камаринская» и обедня, отрывки из оперы Глинки и из евангелия («Отче наш») — все шло прекрасно». Но и тут Герцен не удерживается от насмешки: «Дамы не могли налюбоваться колоссальными мясами красивого ассирийского бога, величественно и грациозно поднимавшего и опускавшего свой скипетр из слоновой кости».

И скупая на похвалы Тучкова-Огарева, с мнением которой он очень считался, восторженно отзывалась о голицынских концертах. И все-таки предубеждение оставалось. Но если у князя случались неприятности, а наживать их Голицын был великий мастак, Герцен приходил на помощь. Так было, когда «взбунтовался» вывезенный из России регент, личность весьма противная. Герцен удивительно точно разобрался в запутанной истории и, хотя по наклонностям своим всегда брал сторону слабого против сильного, бедного против богатого, был покорен простодушной, даже наивной манерой князя, явившего сквозь все громы и молнии совершенное беззлобие, неожиданный демократизм и чисто русскую широту. Сочувственно рассказав об очередной задаче князя — сквозь насмешливую интонацию пробивается больше, чем симпатия — любованию игрой богатого характера, — он дальше с необъяснимым злорадством сообщает, что Голицын «...всем задолжал, угодил в тюрьму, и полисмен привозил его ежедневно в Kretongengarden в восьмом часу, там он дирижировал для удовольствия лореток всего Лондона концертом, и с последним взмахом скипетра из слоновой кости незаметный полицейский вырастал из-под земли и не покидал князя до кэба, который вез узника в черном фраке и белых перчатках». И чего Герцен так расшалился? Он же пишет о человеке, находящемся в отчаянном положении. Любопытно, что Герцен вторично упоминает «скипетр из слоновой кости». У кого другого это могло быть признаком художественной скупости: цепляние за раз найденную выразительную подробность, но только не у Герцена, — дирижерская палочка из слоновой кости крайне досаждала ему.

В последней части незавершенных мемуаров князь скрывается за псевдонимом «сэр Вильямс», но идет так близко

к своей подлинной биографии, что поселяет в вернувшегося в Англию героя в городе, обозначенном буквой «Я». В английском алфавите такой буквы не существует, стало быть, не может быть и города на «Я». Но есть Ярославль, где поселился по возвращении на родину Голицын. Достаточно пробежать начало, чтобы убедиться, насколько живой Голицын совпадает с придуманным сэром Вильямсом. «Я, как вы знаете, англичанин. По рождению принадлежу к высшей английской аристократии. К несчастью, я лишился моей матери в первый период моего детства, а мой отец, служивший в военной службе и находившийся постоянно в походах, не имел возможности следить за моим воспитанием, вынужден был оставить меня у родных покойной матери, которые, не сумев справиться с природной необузданностью моего нрава, нашли необходимым отдать меня в учебное заведение, в котором, однако, я не учился».

Спокойный, даже несколько ироничный тон повести ломается, когда речь заходит об «ангеле», украсившем горестное бытие Вильямса и даже принесшем ему сына (чего с ангелами не бывает по причине их бесполости), едва не оплатив собственной жизнью появление плода любви, не освещенной узами законного брака. Не менее пафосно переданы злоключения сэра Вильямса, художника, чье искусство не находит применения в ростовщическом мире. И хотя все это написано в приподнятой и неестественной манере Авдотьи Панаевой, в бедствиях сэра Вильямса отразилась горестная жизнь самого Голицына в Англии.

Ему катастрофически не везло. Впрочем, это невезение провоцировалось безжалостными лондонскими дельцами, в чьи руки попал доверчивый и неопытный в практической жизни князь. Он был смел и находчив в романтических обстоятельствах жизни, когда звенела кровь в жилах, а не деньги. Его громкое имя, пышный титул, репутация первоклассного музыканта, быстро укрепившаяся в Лондоне, принесла ему выгоднейший, как поначалу казалось, контракт. Правда, до заключения этого контракта быстро промотавшийся на серых в яблоках князь успел побывать в «крепостной зависимости» у выжиги антрепренера, которого он называет «хозяин», отказывая ему в имени на страницах своих воспоминаний. За три шиллинга в день хозяин получал князя в свою собственность. Трижды в день Голицын должен был дирижировать оркестром где прикажут: в саду для гуляний, в концерте или на низкопробном бале. Конечно, это было унижительно для такого большого музыканта, как Голицын, но в грубой поденщине таилось



и хорошее: он отучался от своих барских замашек, от дорогих экипажей, нанятых в кредит, роскошных ужинов — в долг, услуг многочисленной челяди и прочего баловства.

Но вот ему удалось вырваться из кабалы и подписать выгодный контракт с г. Кардуэлем, содержателем одного из лучших увеселительных садов Лондона — Sereigarden.

Если отечественные похождения Юрки Голицына зачастую просились в лесковские сказы, то лондонская пора достойна пера Диккенса, выпустившего в свет таких чудищ, как Урия Гип, Сквирс, Ральф Никльби, старикашка Феджин. Сановитый Кардуэль, денежный мешок и «настоящий джентльмен», как мнилось проницательному Юрке, подписал с ним соглашение от собственного лица и от лица своих незримых компаньонов на сорок концертов; сбор делился поровну между антрепренерами и Голицыным, который из своей доли оплачивал оркестрантов. В контракте была одна маленькая оговорка — Голицын не придал ей никакого значения: за первое выступление весь сбор идет Кардуэлю и К°.

Концерт происходил в огромном зале, построенном предшественником Голицына по Серейгардену французским капельмейстером Жульеном, который сам держал антрепризу. Голицыну довелось дирижировать в этом зале, вмещавшем восемь тысяч человек, вскоре по приезде в Англию. Он имел огромный успех, позволивший забыть о печальной судьбе Жульена. А князь был суверен! Бедного Жульена довели до сумасшествия и гибели облагодетельствованные им музыканты: таких ставок, как у Жульена, нигде не платили. Но стоило Жульену чуть опуститься, и разбалованные, неблагодарные оркестранты ополчились на него и вогнали в гроб. Голицыну подобный казус не грозил: со смертью Жульена кончились сверхгонорары, платить стали куда меньше прежнего, музыканты цеплялись за любую работу, и ничего не стоило с ходу набрать полный оркестр. Кардуэль, по профессии пивовар, явил щедрость и вкус, пригласив солистами двух виртуозов-гастролеров: скрипача Олле Буля и пианиста Альбани. Меньше вкуса, но достаточно коммерческой сметки он обнаружил, украсив весь Лондон «двуспальными» афишами, извещавшими о грандиозном концерте под управлением его королевского высочества принца Георгия Николаевича Голицына. «Сам бог послал мне вас, мой принц, взамен бедного Жульена, — едва удерживая слезы, говорил накануне концерта мистер Кардуэль. — Покойный был замечательным человеком, но как музыкант не годился вам в подметки». Зато как дельцы несчастный Жульен и сиятельный принц Георгий Голицын находи-

лись на одном уровне, который был неизмеримо ниже уровня «настоящего джентельмена» Кардуэля и его мифических компаньонов.

Концерт имел сумасшедший успех, билетов было продано вдвое больше, чем мест, люди забили проходы, стояли в дверях. Следующий концерт не состоялся. Вскоре после утренней репетиции над кронами старых дубов и молодых кленов Серейгардена повалил густой черный дым. Концертный зал горел, и мистер Кардуэль, брезгливо понюхав белые перчатки, пахнущие огнепальной смесью, не спеша отправился в страховую контору, где по счастливой случайности недавно застраховал свое веселительное заведение на сумму, значительно превосходящую его стоимость. Поразительно, что в номере газеты «Экспресс», выходящем в три часа дня, появилось сообщение с места пожара, еще только набиравшего силу: «Пока мы пишем эти строки, Серейгарденская зала, в которой вчера был концерт под управлением принца Голицына, наполовину уже сгорела». Голицын прочел заметку, снял шляпу, перекрестился и сказал: «Да будет воля твоя».

Кардуэль и К° без труда отстроили заново свой театр, но контракта прежнего с Голицыным не возобновили. А заключили новый, согласно которому он получал уже не половину, а сорок процентов валового сбора. Игра началась сначала. Первый концерт при переполненном зале дал акционерам более 1700 фунтов стерлингов, а второй концерт не принес ни пенни. На этот раз обошлось без пожара, причина была в прямо противоположном: слишком взиграла стихия, обратная огню. Разверзлись лондонские небесные хляби. Надолго. Сад опустел, на концерты собиралось не более двухсот человек, настолько преданных музыке, что их нельзя было отвадить никаким ливнем. Конечно, случались и хорошие, солнечные дни, но приходились неизменно на воскресенья, когда человек отдыхает от трудов праведных и все увеселения закрыты. В понедельник снова принимался дождь. И так на протяжении всех шести недель. Никакой энтузиазм, никакие надежды, никакая художественная общность не устоят перед таким испытанием, и в исходе серейгарденских концертов оркестранты глядеть не могли ни друг на друга, ни на своего незадачливого вожа, платившего им той же монетой.

Князь не успел впасть в бурное отчаяние, что стало его специальностью в эмиграции, как получил блестящее предложение от мистера Смита, купившего Креморенгарден и ничего на него не жалевшего. Жулик и проходимец Кар-

дуэль пользовался в Сити репутацией почтенного, кристально честного делового человека, слава мистера Смита была иного толка. В Сити, а затем по всему Лондону распространился слух, что разорившийся м-р Смит бежал со всей семьей в Австралию, на другой день он, как ни в чем не бывало, раскатывал по Пикадилли или Риджент-сквер в блестящем ландо, сверкая рубинами и солитерами, украшавшими его перстни, булавки и запонки. «Допрыгался Смит — угодил за решетку», — хихикая, сообщали друг другу лондонские дельцы, любившие ближнего значительно меньше, чем самого себя, и пропуская на радостях по стаканчику портвейна, а Смит появлялся на ближайших скачках, и его кровные скакуны брали главные призы. Он содержал Королевский театр и не без успеха соперничал с Ковент-Гарденским театром, приглашал самых знаменитых гастролеров и платил им невиданные гонорары, и вдруг весь Лондон узнавал, что Смит наконец-то объявил себя банкротом. В дни, когда слухи превратились в уверенность и в Сити смаковали подробности позорного крушения этого выскочки-авантюриста, он приобрел за 26 000 фунтов Креморенгарден.

В каждое дело загадочный Смит вносил невиданный размах. Сад на глазах потрясенных лондонцев стал превращаться в восьмое чудо света, оркестр был собран самый большой в Англии, а для управления им потребовался, конечно, принц крови. Смит предложил его королевскому высочеству контракт воистину королевский: на шесть лет по 3 000 фунтов в год, квартиру, полное содержание и бенефис в середине сезона. К тому же работать надо всего восемь месяцев в году. Смит готов был подписать контракт сразу после открытия Креморенгардена под его фирмой. Ни о чем подобном даже мечтать не смел злосчастный сэръ Вильямс.

Всевышний сжалился над муками его семьи, увеличившейся на одного человека, и послал мистера Смита с проектом наищедрейшего контракта в руке вместо оливковой ветви. Конец тяжким испытаниям, конец нужде, конец печали.

Что из всего этого вышло, пусть расскажет сам князь Голицын, хочется, чтобы читатель услышал его собственный голос. Началось все на репетиции. Мистер Смит потребовал, чтобы каждое отделение начиналось увертюрой из опер: «Цампа», «Фенелла», «Бронзовый конь» и «Фра-Дьяволо». Кое-как справились с тремя увертюрами — музыканты играли нехотя, переговаривались, смеялись, и князь подоз-

ревал, что объектом их остроумия была его особа. В другое время он наверняка бы вспылил, но жизнь обкатала нетерпивца, пообломала ему рога, и он сделал вид, будто не замечает дерзкого поведения оркестра. Но и не насторожился, за что был страшно наказан.

«Оставалось исполнить увертюру «Фра-Дьяволо». Всем известно, что эта увертюра начинается барабанным соло. Я подал знак барабанщику-солисту начинать увертюру; но он был занят разговором с литавристом и по назначению моему не начал; я постучал палочкой по пюльпиту и дал знак повторительный. Барабанщик француз продолжал свою болтовню и вторично не начал. Тогда, обратясь к нему, сказал *avec le ton, qui fait la musique*: „Le ne suis pas venu, monsieur, pour écouter vos balivernes, je vous engage d'être à votre affaire» — «On y est, monsieur, et on y sera»¹, — ответил нахальный француз. Что этим француз, *petit tambour*², хотел сказать, я в то время не понял или, правильнее, внимания на это не обратил. Вечером, к семи часам, я в полной парадной форме, т. е. в белом галстуке и палевых перчатках, был на эстраде... Наконец в половине осьмого дано было приказание начать концерт. По программе стояла первым нумером увертюра «Цампы». Махнул я капельмейстерским жезлом, и разразился гром. С первого аккорда послышался страшнейший, небывалый в мире диссонанс: один оркестр начал «Цампу», другой — «Бронзового коня», третий — «Фенеллу», а четвертый — «Фра-Дьяволо», причем француз, *petit tambour*, стоя на стуле, здорово бил дробь на барабанах и прикрикивал: «On y est, mopsieur, on y est!»³. На публику этот новый музыкальный эффект различно подействовал: одни хохотали, другие свистели, третьи шикали. Я же, видя, что это было не что иное, как общий заговор всех музыкантов против меня и что тут уже ничего не поделаешь, увлекся постоянной моей нетерпимостью и, пустив метко моим капельмейстерским жезлом в грудь француза *petit tambour*, сошел с эстрады. Смит, которому об этом скандале немедленно доложили, бежал уже к месту сражения и, встретив меня на дороге, сказал мне: «Может быть, у вашего королевского высочества много таланта, но вы не обладаете одним, и са-

¹ ...тоном, не терпящим возражений: «Я здесь, сударь, не для того, чтобы слушать вашу болтовню, я вас нанял для того, чтобы вы занимались своим делом». — «Я занимаюсь своим делом, сударь, и буду им заниматься...»

² Маленький барабанщик.

³ «Я занимаюсь своим делом, сударь, я занимаюсь своим делом!»

мым главным,— это — умением уживаться с теми, от кого вы зависите; и потому, не находя возможным иметь с вами серьезное дело, от предложений моих отказываюсь и контракта не подпишу. Доброй ночи». И с этими словами он пошел дальше. Долго стоял я на одном месте, но в первый раз не выдержал я силы удара... и горько заплакал».

Последнее не соответствует истине: князь плакал не впервые, давно уже вошло у него в привычку омыwać горячими слезами удары судьбы. А в негостеприимной Англии князь то и дело исходил влагой из своих красивых воловьих глаз. И это неизменно приносило ему облегчение.

И все же испытания не сломили Юрку. Поначалу он еще склонен был к самообольщению, оставшимся от зоревой поры жизни, когда все само шло к его рукам. Едва забрезжила возможность поставить «Жизнь за царя» и продирижировать несравненным творением Глинки, как он уже видел себя «директором классических опер». Была ли на самом деле такая должность или только грезилась разгоряченному воображению князя — не берусь сказать, во всяком случае, он незамедлительно поделился радостной вестью с далеким другом Рахманиновым.

Директором классических опер он не стал, «Жизнь за царя» не поставил, но увертюрой не раз дирижировал во время своих безостановочных кружений по соединенному королевству. Постепенно он перестал рассчитывать на чудо и налег на черную работу, не отказываясь даже от самых скудных предложений. Многое было трудно толстому забалованному человеку, которому во время оно послеобеденную трубку готовили трое, один набивал, другой подавал, третий подносил огонь. Трудно и непривычно было одеваться самому, еще труднее — обуваться, мешал необъятный живот, не перегнуться через него. Он возил с собой серебряную ложку от столового сервиза и с ее помощью, вслепую, задыхаясь, хватаясь за сердце, в несколько заходов направлял стопу в ботинки. Он научился крепко спать в убогих номерах дрянных гостиниц, пронизанных звуками пивного веселия, бильярдной игры, ругани и драк, научился есть в дешевых харчевнях, а то и вовсе обходиться без еды, довольствуясь чашкой чая или кружкой портера, научился вышагивать длинные английские версты-мили на своих тяжелых контуженных ногах, научился стелить и разбирать постель, подметать пол, научился ладить с грубыми, небрежными, зачастую неквалифицированными английскими музыкантами и даже пробуждать в них искру божью. Чужая увлеченность заражительна, а князь во всех своих мытарствах не только не охладел к

музыке, а полюбил ее еще с большим пылом. Его странно умиляло, что такое нежное, сердечное занятие служит для пропитания его семьи. Это не унижало музыку, напротив, открывало ее жизненную серьезность: она была нужна людям и за нее платили, как за хлеб и молоко.

Он исполнял любую музыку, репертуар его был огромен, но охотнее всего — русских композиторов, особенно своего кумира Глинку. Если у него оказывалось время подготовить хор,— а князь научился это делать с быстротой, поражающей знатоков,— он давал концерты старинной и современной русской народной песни и приучал английскую публику к незнакомым созвучиям. Постепенно импресарио стали все чаще приглашать его для исполнения именно русской музыки, от которой прежде шарахались.

Сам князь вроде бы не догадывался, что служит большому культурному делу: приблизить Европу к постижению русской сути через музыку. Он просто зарабатывал на жизнь. Ну а в приверженности к отечественной музыке столь же мало его заслуг, как в дарованном природой цвете глаз или волос. Не заносясь высоко, не ведая о своей миссии, князь вместе с тем ощущал происшедшую в нем перемену и радовался ей. Он писал Рахманинову: «Я теперь стал человеком! И я так увлекся моим положением, что если бы теперь я должен был не жить для труда и не трудиться для жизни — положение мое было бы невыносимым. Сожалею, что только тридцати шести лет попал в эту школу, а не шестнадцати,— чувствую, что был бы и человек недюжинный».

Он и стал недюжинным человеком, но не замечал этого — с ростом души и таланта пришла скромность.

Он придавал своим концертам политическую окраску. Всякий раз исполнялись либо «Вальс Герцена», либо «Кадриль Огарева», либо «Симфония освобождения». Герцен упоминает об этом в «Былом и думах», но вновь охваченный недоброжелательством к князю, добавляет, что, видимо, Голицын чарует москвичей (писалось уже после возвращения князя на родину) этими пьесами, которые ничего не потеряли при переезде из Альбиона, кроме собственных имен — они могли легко перейти в Rotaroff вальс, Mina вальс и Komissaroff партитур. Яд герценовского остроумия в том, что Потапов был шефом жандармов, главноначальствующим III отделения, а до того преемником Муравьева-Вешателя в Вильно, ему принадлежат знаменитые слова: «Никогда, никому, ни в чем в жизни моей я не верил и никогда не имел повода в том раскаться»; что касается Комиссарова, то этот расторопный мещанин отвел карающую руку Каракозо-

ва, за что был объявлен народным героем и возведен в дворянское достоинство; ну, а Мина Буркова — любовница графа Адлерберга, министра императорского двора, негодяя и сердечного друга Александра II. Жестоко пошутил Искандер, и зря. Не переименовывал Голицын ни вальса, ни кадрили, ни симфонии, но последняя вспышка герценовского гнева объясняется тем, что Голицын по доброй воле запросился на родину. Герцену, человеку борьбы, человеку остро социальному, это было непонятно и отвратительно, тем более, что Голицыну пришлось обратиться с прошением на высочайшее имя, и хотя он сделал это с достоинством, Герцен считал его поведение отступническим, чтобы не сказать предательским.

Голицын запросился в Россию, когда худшие дни его лондонской жизни миновали, положение укрепилось и нужда не стучалась в двери. Его поступок нельзя объяснить только ностальгией, которую довелось испытать и Герцену, и Огареву, но первый справился с ней собственной волей и преданностью цели, а второй — опираясь на могучую волю первого, а когда и это не помогало, уходил от скорбей в исконный русский рай. Ностальгия не покидала Голицына с самого приезда в Англию. Вначале чистое чувство тоски по родине мешалось с сожалением об утраченном достатке, комфорте, слугах, которые помогут надеть сюртук и сапоги, потом, очистившись от житейщины, стало неотвязной думой о небе, земле, пространстве, реках, деревьях, траве, колоколах и дыме отечества, что сладок и приятен. А там появилось и новое, нестерпимое — со всем предшествующим он как-то справлялся, захваченный борьбой за существование, — он не мог больше без русских песен. Собственной музыки ему, естественно, не хватало, ведь не будет писатель, даже самовлюбленный поэт читать только самого себя. Голицыну нужна была русская песня в поле, на завалинке, в курной избе. Песня самого неискусного, хрипатого, сипатого церковного хора, заунывная песня ямщика, солдатская — под шаг, и ему необходима была та обстановка, тот свет, те снега, те дали, те запахи, те болести, в которых зарождаются эти песни. Он страшился, что его искусство захиреет в чужом климате, что без свежего притока оно растворится в общеевропейской стихии.

Он все время ощущал запах промышленного дыма даже там, где его заведомо не могло быть, едкая гарь застряла в ноздрях; он постоянно жаловался, что несет Бирмингамом, почему-то этот город стал для него ненавистным символом промышленной Англии; он уже слышать не мог «гнусавую»

английскую речь, его коробило, что набранные им хористы по-чужому стонут о березах и лебедушках, даже скрипки и флейты пели с английским акцентом. Он, так восхищавшийся собором в Ковентри, увидев его вторично, вдруг заплакал так внезапно, что не успел подтереть слезы запястьями. Что ему этот громозд — наглость перед лицом господ бога; всю выостренную, колющую небо готическую прелесть он, не раздумывая, отдаст за бедную сельскую поповку со скромными луковичками, за придорожную ветхую часовенку. Он понимал, что его чувства во многом несправедливы, болезненны, раздражены; народ, далекий всему, что нес Голицын, давно и трогательно откликается плачам почти неведомой, далекой, огромной, темной страны. И сам он, одолев нищету, добившись признания, может спокойно доживать здесь жизнь, воспитывать сына, любить успокоившуюся и похоронившую жену. Он знал также, что дома полного прощения ему не будет, ибо никто не верит в его раскаяние, что непременно последует какое-то наказание, унижение, а люди его круга отвернутся от человека, нарушившего открыто все заповеди и главное — неугодного верхам, что его ждет жизнь пролетария, это не стыдно в Англии, но зазорно в России, и все равно ничего не мог поделаться с собой. Назад хотела музыка, а она была сильнее всех иных велений, тем паче холодных размышлений. Она жаждала обновления и освежения водами того ключа, что бьет на родине, и тогда она помолодеет, обретет новые краски, оттенки, интонации, новое звучание. В стране машинерии он и сам стал машиной, вырабатывающей музыку, а ведь музыка всегда творилась в его горячей крови; мастерство, профессионализм были одухотворены, а здесь остались только навык, уверенность рутины, четкость безотказного автомата. Это была смерть, хуже, чем смерть, ибо со смертью перестаешь чувствовать и страдать, а он чувствовал, мучительно чувствовал свое онемение сквозь весь производимый им шум. И когда такая боль проснулась в человеке, ее ничем не заговоришь. О, музыка!..

Он почти галлюцинировал. Ему казалось, что Россия только и делает, что поет. Поют Петербург и Москва, поют провинциальные города, заливаются деревни и села, поют в домах и на улицах, в церквях и учреждениях, при дворе (граф Адлерберг речитативом сообщает государю столичные сплетни) и в Государственном совете, поют члены комиссии по крестьянской реформе и двух соловьев поединком звучит распря Милютина с Ростовцевым, а какой хор гремит на голубой и гороховой Гороховой! — а как поют губернаторы, городничие, генералы, офицеры и

нижние чины, купцы, приказчики, телеграфисты, работные люди, поют швей и пряжи, и кружевницы, все колокола благовестят, все службы слились в единое духовное действо под сияющие голоса певчих того хора, имя которому Россия, фиоритурам певцов императорской оперы отзываются Нерчинск и Сахалин застуженными басами каторжан под кандалный перезвон. Гремят соловьи, заливаются жаворонки, свистят синицы, тоненькими голосами поют дети, а разве не поют звери, насекомые, деревья, цветы, ковыль и полынь?..

Порой Голицыну казалось, что у него мозговое заболевание. Он уже не слышал ту музыку, которая рождалась под его железом из слоновой кости, столь раздражавшим Герцена. Он слышал лишь музыку далекой молчащей России. Ни «Herzens Walse», ни «Ogareffs Quadrille», ни «Independence Symphony» уже ничего не говорили душе, алчущей «ох ты, лебедушка, да ты лебедушка, да лебедь бела-я-а-а!»

Лебедушка, лебедь белая оказалась сильнее Александра Ивановича Герцена. Голицын глубоко, всем сердцем чтит его, с нежностью и почтением относился к тихому Огареву, сочувствовал их идеям и целям, не вникая скольнибудь глубоко в темноватый смысл, он был с бунтарями, с Гарибальди, с творцами завтрашнего мира, но лебедушка... Она ведь белая!.. Белая, как старинная церковь, как снег, как Россия...

И князь, испросив монаршего разрешения вернуться на родину, расстался с туманным Альбионом, который был достаточно крут с ним, крут до беспощадности, а все-таки не дал умереть с голода, а главное — вылепил из рыхлой глины дилетантства настоящего артиста. Артисту же нужна Россия, какая ни на есть: без парламента и независимого суда, с крепостным крестьянством, которому ожидаемая реформа даст не свободу, а новую форму кабалы, с чадом и угаром во всех делах и начинаниях, с воровством сверху донизу, с холопством, именуемым смиреннием, но единственная и незаменимая, без нее все исчерпывается коротким и плоским земным существованием, все ошибки и злые дела — навсегда, все потери невозполнимы, нет прощения, нет жизни вечной, да и тебя самого нет и не было. За родиной и музыкой, за самим собой пустился князь в Россию...

Голицыну на жительство был определен город Ярославль. Эта Россия, с которой начинается Север, была ему

незнакома. Петербург и его игрушечные окрестности, вроде Петергофа, Ораниенбаума, Царского Села и Павловска, не в счет. То были садовые ансамбли, искусственно разбитые на болотах Чухляндии. Он проезжал лесную, хвойную Россию из Москвы в Петербург и обратно, но много ли увидишь из окна вагона? И уж вовсе ничего не почувствуешь. Он жил в старой столице, и хоть нога его ступала по травянистому покрову подмосковных суглинков, он остался чужд березовому, еловому, сосновому, луговому простору вокруг первопрестольной. Его Россия — это подстепная полоса с ясениями и тополями, с жирным черноземом, с редкими, как расползшийся шелк, рошицами, с долгим теплым летом, переходящим в долгую теплую осень, медленно и неохотно отступающую перед мягкой зимой. В детстве его родиной была не Россия, а Крым, Черноморье, Украина. Сейчас он впервые оказался в самой кондовой, крепкой Руси, которую хоть и жгли татары, да стояния в ней не имели, иных зашельцев тут и вовсе не видели, правда, соплеменники — новгородские ватаги — приходили грабить, но за свою долгую историю, с той поры, как отставший от дружины князь Ярослав (прозванный Мудрым) подвергся нападению громадной медведицы, убил ее топором, а на месте том срубил город, нареченный Ярославлем, местные жители сохранили свою пригожесть, не искаженную ни смуглотой, ни узкоглазием, ни широконоскостью, ни черным волосом. Понятно, что главным отхожим промыслом ярославцев с давних времен стала служба в трактирах, позже ресторанах: миловидный, ладный, чистотелый, улыбчивый и ловкий ярославский половой ценился на вес золота в системе российского общественного питания.

Голицыну приглянулся Ярославль, тем более что оказалась в городе и любимая им с детства акация, высаженная вдоль набережной, ну а Волга и вовсе покорила князя, никогда не жившего на берегах великих русских рек. И песенным был этот край, здесь хорошо, протяжно, чисто пели, а последнюю ноту тянули аж за край земли, хотя манера была несколько иная, чем на Тамбовщине. У ярославцев песни — тягучей, печальной и, пожалуй, проникновенней. После долгой отлучки князь насыщался и не мог насытиться крестьянским пением, как выпущенный из узилища — волей. Собрать бы какой ни на есть хоришко, да нету средств.

Пора было подумать о зарработке, устройстве семьи, задержавшейся в Москве из-за болезни сына. Для неправ-

тичного, хотя и предприимчивого князя в самую пору было прийти в отчаяние и отметить бурными рыданиями очередной зигзаг судьбы, но он не успел набрать воздуха в просторную грудь, как все устроилось само собой. А коли нет хорошей беды, то и не взрыднешь толком. На блудного сына России оказался большой спрос в Ярославле. Сюда доходили слухи о его музыкальных успехах и знаменитом хоре, покорившем некогда обе столицы, но много больше ярославские обыватели были наслышаны о его романтических похождениях, о бегстве, достойном пера несравненного Александра Дюма, о его победах, дуэлях, величии и падении, — все в искаженном, преувеличенном виде, но это лишь повышало провинциальное любопытство к опальному аристократу, ставшему музыкантом. У князя могло быть отнято все: чины, звания, положение при дворе, богатство, право передвижения по стране, при желании могли отнять и титул, и военный крест, но нельзя было отнять древней крови Гедиминовичей, поспорить с которой могла лишь кровь Рюриковичей. Нельзя было отнять невероятной биографии, славы музыканта, блестящих остроумий, которые, перевирая и тонко улыбаясь, сообщали друг другу светские ярославцы.

И этот лев, родственник всех великих на Руси, друг громовержца Герцена, кумир музыкальной Европы, избрал Ярославль своей временной (на этот счет никто не сомневался) резиденцией перед новым броском в бурные волны, — да как же не воспользоваться таким редким случаем! Музыкальная мания овладела высшим ярославским обществом: всем захотелось брать уроки музыки, учить детей сольфеджио (хотя мало кто знал, что это такое), за дворянством потянулось, как водится, купечество. В короткое время князь оказался завален уроками. Как-то само собой, на деле же усилиями бескорыстных доброхотов, нашлась просторная, светлая и, главное, недорогая квартира с видом на Волгу, в окна долетал густой сладкий аромат акаций.

Голицын многому научился, в том числе терпению, быть может, наиболее недостававшей ему добродетели. Несмотря на все усиливающуюся боль в ногах, он ходил по урокам пешком, ведь самый рваный «Ванька» драл пяточек, а то и гривенник. Лишь направляясь в отдаленные концы города, князь вынужден был нанимать извозчика, и тот сразу начинал ныть: овес нынче не укупишь, весь заработок коню на прокорм идет, а в избе голодные ребятишки плачут. «Да ты, братец, побогаче меня», — смеясь, говорил князь, но всегда давал на чаек, уж больно ему нравилась ласково-хитрая и мягко-неотставучая ярославская манера. Позже, когда

приедет его подруга с «последней отрадой слабеющих очей», как пышно именовался незаконнорожденный, наладит быт, приобретет в расщелку рояля, оборудует музыкальную комнату, Голицын будет принимать большую часть учеников на дому, что позволит еще увеличить их число, а покамест с усилием, хоть и не без удовольствия, он мерил широким, затрудненным шагом Ярославль, любясь золотыми куполами соборов Спасского монастыря, красивыми особняками, опрятными улицами, смагивая ослепительные выблиски Волги и прозоры меж зданиями и деревьями, и думал: какая она большая и усердная, как верно служит России и как много видела — и алую кровь, и черный пот, как много слышала песен — любви, истомы, гульбы, бесстрашия молодецкого. И душа его отзывалась своей музыкой слитным голосом бурлацких и разбойных ватаг.

В броне профессионального достоинства Голицын был равнодушен к тому, как будут принимать его в домах местной знати и местных миллионщиков. Конечно, он не потерпит никакого ущерба своей гордости, готов защищать ее оружием от одних, ударом увесистого кулака от других. Но вместе с тем он не претендовал ни на предупредительность, ни на внимание хозяев к своей персоне. Он знал, что давно уже не персона, но человек часто не видит себя со стороны (изнутри — тоже), ему и невдомек было, что никогда еще не выглядел он так вельможно, не был до такой степени Гедиминовичем, как в эти бедные дни по возвращении на родину. Он был скромнен, молчалив и любезен, чванство, высокомерие, пренебрежение к людям, вся азиатчина, мешающая даже самым знатным на Руси стать настоящими аристократами, отвалилась от него, как короста с отблевшего тела. Но то ценное, высокое, что передалось ему от достойных и смелых предков, шедших на плаху и пытку, в тюрьму и ссылку ради общерусской правды, как они ее понимали, что делало их бесстрашными воинами и государственными мужами, осталось в князе и наделяло таким превосходством над окружающими, что спина невольно сгибалась, улыбка разжимала надменный рот, и каждый барин или толстосум понимал свое место.

Появление князя в доме воспринималось как праздник, как награда. Хозяева спешили в прихожую, рассыпая дурной французский, от которого старательно отвыкали в столицах, но это веяние еще не достигло провинции, хозяйка щебетала, краснела, строила глазки, муж, правильно избирая образ чуть бурбонистого, но доброго малого, почти однопольчанина князя (с непроговоренным намеком: эх и по-

шалили мы в нашей гусарской юности!), из кожи лез вон, чтобы не выглядеть моветоном и зазнайкой. Еще почтительнее принимали в купеческих домах: хозяйка разве что в ноги не валилась, а Кит Китыч, только что надававший подзатыльников приказчику и отодравший за волосы не потрафившего стряпчего, вдруг вспоминал спиной, поясницей, задницей все батоги и розги, которые перепали его предкам от предков этого училишки, и угодливо приглашал допреж занятий откушать чайку. Ученики же как дворянского, так и купеческого звания ощущали при нем такой трепет, что становились круглыми дураками.

Шелестели, тихо опадая, как осенние листья, дни, месяцы, вот уж год миновал, пошел другой. Мода на князя не иссякала, как не иссякает в зверинце интерес к слону. Заняты обезьяны; хотя вскоре начинают надоедать и вроде бы раздражать чрезмерным сходством с веицом творения, почтительно-восторженное чувство при виде хищников сменяется скукой, все иные обитатели клеток не задерживают возле себя надолго, но слон есть слон. К нему идут в последнюю очередь, это как конечная остановка, когда не надо суетиться, спешить, вы прибыли, дальше вас уже ничего не ждет. И вот он: серая гора. Он почти недвижим, крошечные глазки полуприкрыты, он не замечает обступившей его толпы. Редко-редко взмахнет он хоботом, обсыпав себя землей, и кажется, будто это ритуальный жест, а не прохлады ради, порой дернет коротеньким, но почему-то не смешным хвостом или переступит с одной ноги-колонны на другую. И не поймешь: то ли он дремлет, то ли погружен в какую-то непомерную думу, задумать которую не хватит целой жизни. Быть может, он вспоминает то бесконечно далекое время, когда был мамонтом, волосатым гигантом с громадными загнутыми клыками, хозяином земли. И маленькие, нагие, упрямые и кровожадные существа век за веком томились своей малостью и ничтожностью перед ним, пока не научились побеждать. Но мамонт не был побежден человеком, он предпочел исчезнуть, оставив на земле свое уменьшенное, но все равно великое подобие — слона. И одно слоновье племя стало сотрудничать с человеком, другое осталось диким, свирепым и свободным. Трудно сказать, в чем больше величия: в презрительной покорности первых или стихийной независимости вторых; и там, и тут — превосходство великанов над карликами.

Люди это смутно ощущают, они смотрят на слона снизу вверх, робко пытаются привлечь его внимание — напрасно,

слон сам по себе, все остальные — сами по себе. Но окружающие благодарны слону за то, что он есть, за то, что он — слон.

Слону Голицыну нисколько не докучало ненасытное любопытство окружающих.

Он был слоном не потому, что носил княжеский титул, что, ярославцы князей не видали? И не потому, что принадлежал к знаменитой фамилии, — Голицыных хоть пруд пруди, а потому, что был «Юрка», невероятный, бесстрашный, ни в чем не знающий удержу, все проигравший и не согнувшийся Юрка — единственный и неповторимый.

И все-таки тоска навалилась на Голицына. Конечно, в России не пели так много, так «повально и беспробудно», как мерещилось ему в лондонском изгнании, да разве нужно, чтобы пел граф Адлерберг на утреннем докладе императору, чтобы дуэтом ссорились Милютин с Ростовцевым и разливался Государственный совет? Так лишь воспаленному сознанию представиться могло; на чужбине, издалека вся Россия была как песня. Нет, в большинстве своих дел и забот Русь обходилась обычной человеческой речью, и все-таки пели много. Пели на Волге бурлаки, пели гуляющие по крутым берегам парочки, пели офицеры и телеграфисты под гитару, по вечерам из распахнутых окон неслись рыдания о черных очах и страстные призывы к «Тигренку»; а отойди версту-две от города — тут уж поют, так поют: на долгих северных вечерах — и старинное, и недавнее, и вовсе не знакомое Голицыну, ведь песня народная тоже обновляется. Вот отчего проснулась в нем тоска. Он довольно много сочинял в свободное от учеников время: романсы, оркестровые произведения, переложил на голоса несколько старинных мелодий, что-то обработал, но все это не давало истинной радости.

Он мог сочинять неплохую музыку, мог искусно обрабатывать народные и церковные напевы, по-прежнему недурно пел и превосходно играл на рояле, но все это относилось не к главному его умению. Он был хормейстером милостью божьей, его инструментом был хор. И пока у него нет хора, он, как Черномор без бороды, — пустое место, ничто.

На учительские доходы хора не заведешь. На такое предприятие не занять денег у оставшихся доброхотов; к жене, весьма прочно ставшей на ноги, он обращаться не хотел. Словом, ему не на что содержать хор, но хороший хор может сам себя прокормить. Надо только набрать голосистых певцов, обучить их, натаскать регентов.

и ради этого стоит рискнуть последними сбережениями.

Голицын рискнул и сорвал банк, что ему никогда не удавалось за карточным столом. Его громадный опыт, достигший полной зрелости талант, трудолюбие, терпение, воспитавшееся на злых и холодных ветрах жизни, непоколебимая решительность помогли осуществить ту мечту, что заставила его вернуться на родину, не страшась ни унижения, ни кары. Он создал хор.

Настоящий профессиональный хор, «самоокупаемый», как сказали бы мы сейчас.

Голицын воспользовался старой методой, только применил ее с куда большей последовательностью, чем прежде. Хор целиком он собирал лишь для больших концертных выступлений, все остальное время исполнял его частями: в домашних церквях, на разных увеселениях, которыми любили тешиться богатые ярославские негоцианты. Сам Голицын проводил спевки, занимался с певцами по отдельности, дирижировал на концертах и торжественных богослужениях в соборе, во всех остальных случаях поручал руководство хором хорошо подготовленным регентам.

Вскоре Голицыну разрешили гастроли, в том числе на великую Нижегородскую ярмарку, что было почетно — перед тамошней аудиторией дрожали знаменитые артисты — и выгодно: зал громаден, а билеты, особенно в ложи и первые ряды партера, очень дороги. Ведь на Нижегородскую ярмарку собирались самые толстые кошельки России. К тому же концерты рецензировались в местной печати, да и столичные газеты неизменно уделяли столбец-другой музыкальной жизни славного города на Волге, как-никак оборот ярмарки превышал двести миллионов рублей.

Городские власти построили роскошный театр, но редко-редко удавалось набрать ползала, хотя приглашали артистов императорских театров, знаменитых виртуозов, иностранных гастролеров. Карусели, трактиры, рестораны с цыганами, рулетка, бильярдные, игорные дома, балаганы с разными чудесами, вроде самой толстой женщины на свете, которую по определенной таксе можно было трогать за разные места, бородатой женщины и женщины, обросшей по всему телу черными волосами (эти монстры не мешали процветанию и менее оригинальных дам), решительно брали перевес над духовными наслаждениями.

Отцам города не хотелось, чтобы великий торговый праздник, собиравший до двадцати миллионов человек, стал в глазах просвещенной России символом распоясавшегося хамства, черного безобразия. К тому же среди участников

ярмарки находилось немало людей, отвергавших ее вульгарные развлечения. Но, к сожалению, эти люди не могли заполнить громадный зал театра, даже когда пела итальянская звезда или сотрясал высокие своды сам Рыбаков. Как ни бились губернатор и ярмарочный комитет, чтобы привить черенок цивилизации к могучему древу разгула, ничего не получалось. Цирк, балаганы, рестораны ломились от публики, театр пустовал. Кит Китычу нужны были актеры, которых можно пригласить в номера, а не святое искусство.

И тут кого-то осенила счастливая мысль пригласить хор Голицына.

На первом концерте в зале было пустовато, а потом прошумело, прокатилось по торговым рядам: надо послушать голицынский хор — восторг, исцеление души, будто ты живьем взят на небо и, помахивая стрекозиными крылышками, летишь за стайей ангелов к престолу вседержителя. С недоверием и неохотой — да ведь нельзя ж от людей отставать! — потащился Кит Китыч на концерт, и разомкла спекшаяся душа выжиги. Никогда не бывает русский человек до конца дельцом, пусть на самом донышке заросшего сердца, но остается родничок, который отзывается и соловушке, и глубокому, как из подземелья, басу дьякона, и умелому хоровому пению. Ну а уж коли про лебедушку!.. Кит Китыч весь обновляется, он чувствует себя русоголовым мальчонкой с синими промытыми глазками, глядящими на мир доверчиво и открыто, он ни у кого еще ничего не украл, никого не обманул, не провел, не обобрал, сердце его плавится и сочится, он готов на доброе, жертвенное, сейчас его можно взять голыми руками. И, бывает, на другой день он не третирует приказчиков, не запрашивает крайних цен, он уступчив и смиренен, и ему стоит немалых усилий, чтобы вернуться к обычному трезвому поведению.

За Кит Китычем повалила мелкая сошка: приказчики, разносчики, зазывалы, ярмарочные слонялы. Балаганы, карусель и прочие увеселения потеряли былую притягательность и для тех, кто не мог попасть на голицынские концерты. Столкнувшись со столь жестокой конкуренцией, самая толстая женщина в мире снизила таксу: теперь ущипнуть за необъятную ягодицу стоило дешевле, чем раньше прикоснуться к борцовому плечу или вые. А бородатая и волосатая женщины, смирившись с поражением, подались вверх по Волге в неизбалованную Кинешму.

Нижегородские газеты посвящали восторженные (и высококвалифицированные) отзывы о голицынских концертах.

В ту пору музыкальная жизнь провинции бурно развивалась, и сам Голицын взмахнул пером, чтобы поделиться своими соображениями об этом отрадном для русской культуры явлении.

За Нижним Новгородом последовали другие города, «жизненное пространство» хора все расширялось. И для этого не нужно было посылать унижительных прошений, прибегать к протекции, все творилось единою славой хора. Его хотели слышать в больших и малых городах, и сами добивались разрешения из Петербурга. И наконец настала очередь Москвы, столь любимой князем, с ее хлебосольством, умной иронией, раскованностью, смесью лениности с энтузиазмом, с неистребимым русским духом.

Это была большая победа, хотя не решающая...

Но вот дрогнул... Петербург.

Голицын никогда себе не признавался, как хотелось ему этого. Больше, чем хотелось. Петербург — это последняя станция, достичь ее — и замкнется круг, завершится внешнее дело жизни, ну а душевное кончится лишь со смертью. Его вспомнили в Москве, вспомнили, а где наново узнали, в хороших городах средней России, но Петербург живет наособицу, ему никто не в пример, не в указ; невская твердыня упорно делала вид, будто Голицына больше не существует. Сановный, чиновный, холодный, снобистский, переполненный остзейскими немцами, как иностранец, учащийся русскому языку, не религиозный, не растроганный, но зло расшевеленный приходом новых людей со своими взглядами, моралью, критериями, Петербург, отдающий приоритет всему заморскому: итальянской опере перед русской, Россини перед Глинкой, ползающий на коленях перед Листом и не замечающий Мусоргского, проклятый и желанный Петербург оставался недостижимой целью. А ведь только там человек, свернувший с проторенной тропы, мог узнать, кто он: победитель или побежденный.

В свое время Петербург пережил увлечение Голицыным — короткое, но искреннее, а к бывшим кумирам редко возвращаются, тем более в Петербурге. Да и не слишком жаловали тут хоровое пение и народные мелодии, а для утоления художественной жажды немногих хватало Императорской капеллы, так крепко поставленной Ломакимым, что и бездарные его преемники не могли ее загубить.

Петербург не прощает отступников, беженцев, тех, кто противопоставил себя замороженному порядку, «хорошему

тону» — раболепству, прикритому лоском, не прощает неверности себе, в нем начисто отсутствует московская наивная горячность и приверженность к русской старине. Петербург — западник.

И диву подобно было, что князь Голицын, собравший в себе, как в фокусе, все, что ненавистно, чуждо, неприемлемо Петербургу, получил приглашение дать концерт в одном из самых блестящих залов столицы — в Благородном собрании. Одновременно с этим ему сообщили о снятии запрета на въезд в Петербург. Одно это можно было считать победой и, не подвергая себя опасному испытанию, с благодарностью отклонить предложение. Так поступил бы человек осмотрительный и достаточно битый, чтобы не искушать судьбу. Но все соображения житейской мудрости Голицын безоговорочно зачислял по ведомству трусости. Да и не стал он тихоней, робкой овечкой, за внешней умиротворенностью скрывался все тот же огнедышащий характер Юрки. Годы испытаний, разорение, потеря семьи и всего состояния, каиновы муки на чужбине не научили осторожности эту душу. Его смирение было смирением артиста перед богом искусства, но не перед людьми, тем паче перед сильными мира сего. Тут он остался тем же Юркой, который не боялся морочить ни директора Пажеского корпуса, ни самого государя, высмеивать власть и силу имущих, то и дело нарываться на дуэли и отдавать все преимущество противнику, первому спрыгивать во французские апроши и хладнокровно подставлять огромное туловище под вражеский огонь, совершить невероятный до дерзости побег и после всего содеянного найти мужество вернуться назад и жить в скандальной связи, с которой заставил считаться окружающих.

Он понимал, что его может ждать не просто неуспех или полунуспех — это еще противней, — но полный и окончательный, скандальный провал. Не исключено, что некоторые круги готовят ему обструкцию, хотя само приглашение было честным, да ведь многим соблазнительно закопать его раз и навсегда без воинских, как говорится, почестей, скинуть в общую могилу отщепенцев, бродяг, обсевков человечества. Что ж, он спокойно выдержит любое поношение, но не откажет себе в удовольствии вызвать к барьеру двух-трех негодяев. Начертав сей несложный и разумный план, князь вроде успокоился и целиком отдался подготовке к концерту.

Но с приближением рокового дня все чаще и чаще вспыхивало: нет, не дадут мне реванша. Это никому не

по душе: ни двору (тогда надо признать, что и ко мне были несправедливы), ни высшему свету (зачем принимать в свою среду деклассированного), ни всей моей родне, до сих пор считающей, что я безобразно поступил с милейшим шефом жандармов Долгоруковым, ни делающим нравственную погоду в обществе старым ханжам: они не могут простить мне «разбитого сердца» Катеньки, а главное, моей нынешней жизни в грехе и блуде; ни бывшим товарищам по пирам и волокитству (став платным капельмейстером, я унизил дворянскую честь), ни мелюзге, когда-то обиженной мною — часто по рассеянности, порой сознательно, угнетенной самым фактом моего существования: рослого, сильного, размашистого человека. Куда ни кинь, всюду клин. Да как не воспользоваться таким удобным случаем и не отплатить за давние и незабытые обиды: ведь обиды никогда не забываются.

Ладно, не будет реванша, хотя и жаль, да ведь я переносил удары потяжелее. И без Петербурга много мест в России, где моя музыка нужна. Не пропаду.

Но лишь когда все осталось позади, понял он по-настоящему, в каком нечеловеческом напряжении, каком скрутке чувств и болей прожил все дни, предшествующие концерту.

Голицын смутно помнил, как выходил на сцену. Аплодисментов не было, так, жиденькие хлопки, быстро и смущенно смолкнувшие. Потом уже он сообразил, что для многих сидящих в зале неожидан и странен был его изменившийся облик: большая борода, тучность, которую не скрывал, а подчеркивал тесноватый, строго по фигуре фрак. В последнем был расчет. Еще в Лондоне Голицын убедился, что легкость и пластичность его движений восхищает аудиторию (особенно женщин) именно по контрасту с массивностью, тучностью. Стоило ему поднять жезл, и рослый толстяк превращался из Калибана в Ариэля. Дамы восторгались не его «мясами», как ядовито шутил Герцен, а способностью к воспарению изобильной мощной плоти. Была особая элегантность, даже некоторое чудо в этой неожиданной полетности.

Но сейчас князь чуть медлил воспарить. Он глядел в общее лицо хора и силился понять, как настроен сегодня этот огромный, сложный, тончайший инструмент. Хор — сотня с лишним мужиков и баб, принаряженных, приглаженных, нарумяненных, — для непосвященного все на одно лицо, а для него совсем разные, — не раскрывал до конца своей тайны. Но так и должно быть, иначе конец твор-



честву, полная рассекреченность губительна для искусства. В одном Голицын был уверен: хор необычайно чутко ощущает его настроение, подъем или спад, и тут невозможно обмануть. Певцы знали его лучше, нежели он их: ведь сборный глаз, конечно же, глубже и острее видит одного человека, чем этот одиночка — множественность. И если они подметили его тревогу, неуверенность, смуту, это обязательно скажется на исполнении. Все его магнетические чары ничего не сделают, ибо будут поддельными. Даже если неблагоприятие уловят лишь несколько певцов, все равно в хоре появятся трещинки, ощущаемые не ухом, а сердцем слушателей. Хор его настолько хорошо подготовлен, все переходы так обработаны, что плохое пение исключается. Но богово может не прозвучать. Родные, не подведите!.. — беззвучно взмолился князь.

И родные не подвели.

Голицын взмахнул жезлом, зажатым в правой руке, выдвинул вперед левую руку, сразу приглушив звук, оставив одну высокую, медленно истаяющую ноту, а затем дал вступить вторым голосам, призвав из бесконечной дали, выманив, заманив, но не в плен, а в полную свободу. И полилась старинная русская песня, и Голицын почуял задрожавшим сердцем, что будет богово, хористы дадут сегодня все, на что только способны. Хор понимал его состояние и нашел в себе самом ту подъемную силу, которой у него не оказалось в отягощенности земным. И хор повел его за собой, поднял, оторвал от земли, от всего мелкого, житейского, и Голицын, чувствуя в лопатках блаженный холодок, занял положенное вожаку место впереди стаи.

Это было лучшее за всю его жизнь исполнение, и он наслаждался. Вот к чему он стремился и наконец обрел. Не стало препятствий, его одухотворенность, его умиление выражали себя напрямую, с хрустальной чистотой, доступной лишь музыке сфер. Господи боже мой, да разве это Ваньки, Яшки, Петьки, Палашки, Дуньки — это небожители, одарившие его высшим счастьем!..

Какое ему дело до того, что принимают сдержанно, что аплодисменты, едва плеснув, сразу замолкают. Чего ждать-то от собравшихся? Их равнодушие искренно. Они привыкли выполнять обряды, но нет в них теплой веры, и что им божественные взвои взыскующих господ? И что им плачи, тоска, любовь, вся душевная звенья народа, которого они не знают да и знать не хотят? Иностранцы в родной стране, они любят французские пасторали, итальянскую легкую мелодичность, испанские страсти, а немец-

кую тяжеловесную мифологию уважают за непонятность и скуку.

Как всегда, последней он исполнил «Камаринскую» в своем переложении для хора. Уже стало ясно, что нечего опасаться скандала, обструкции; к нему отнеслись по мере сил доброжелательно, и никого не придется вызывать на дуэль. Он даже испытал благодарность к аудитории, помогшей ему — пусть бессознательно — пережить самое высокое счастье за всю долгую музыкальную жизнь.

Он всегда любил «Камаринскую», где великий Глинка показал, как много глубины на поверхности жизни. Все было в лихом плясе над бездонным озером тоски: отчаянная удадь, забубенность, хмельной восторг, любовь, слезный спазм в горле, гибельность. Он пожалел, что Глинка не слышит его хора.

Когда взмахом жезла он оборвал последнюю ноту, которой, казалось, конца не будет, то услышал тишину за плечами — странную, оцепенелую тишину. Как будто люди вдруг почувствовали себя оскорбленными. Чем?.. Князь недоуменно дернул плечом, впервые он был растерян.

— Bravo, — негромко, но удивительно отчетливо сказал, именно сказал, не выкрикнул чей-то голос.

— Bravo, — сказал другой.

— Би-и-ис!.. — заорали надсадно где-то в задних рядах.

И вот уже весь зал кричал, захлебываясь, отбивал ладони. Несколько сбитый с толка, Голицын взмахнул жезлом. Мгновенно воцарилась тишина, и хор взорвался первым хмельным «Э-э-эх!..» Бисируя, Голицын никогда не повторялся. Тем более грешно идти в собственный след по такой необъятности, как глинкавская «Камаринская». И сейчас он как бы извлек из музыкального тела сердце, русское сердце, тоскующее даже в хмельном загуле.

И опять тишина, и опять негромкий, удивленный голос:

— Bravo!.. — И обвал.

Голицын в третий раз поднял жезл. Ну а сейчас ударим разгулом, гульбой, грехом первозданным, сбросим все запреты.

Когда он опустил руки, у него отламывалось правое плечо. На этот раз шквал ворвался в еще не заглушую ноту. В зале уже не было дам и господ, князей и княгинь, камергеров, генералов, фрейлин, — были русские люди, потомки древлян, полян, вятичей, кривичей, благодарные, что им напомнили, кто они.

Господи, а ведь свершилось!.. Он растопил их лед. Голи-

цын сделал несколько шагов навстречу хору. Шум стоял адский, но его слышали:

— Спасибо... золотые мои!..

А потом за кулисами его окружила толпа, он пожимал руки мужчинам, целовал — дамам. Щебетали, постанывали, басили:

— Ah, prince!..

— Великолепно, князь!..

— Спасибо за доставленное наслаждение, ваше сиятельство!..

Светские люди наперебой хотели показать, что его помнят, считают своим, и, поскольку вернулось житейское, он думал: вот она, долгожданная победа, все сбылось, и не мог понять, почему его радости недостает полноты.

И тут вкатили кресло на колесах, в кружевной пене скрывалось крошечное сморщенное существо, и оно вдруг замахало лягушачьей лапкой и закричало пронзительно:

— Юрка, паршивец! Совсем зазнался. Не узнаешь свою тетку!

Он смутно догадался, что это одна из Долгоруковых, то ли двоюродная тетка, то ли троюродная бабушка, то ли седьмая вода на киселе, но ведь в свете все либо «тетушки», либо «кузины», и не в этом дело: он услышал свое забытое, свое настоящее имя.

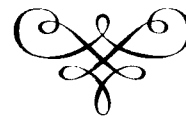
И, коснувшись губами пятнистой лапки, он уронил слезу на пергаментную кожу почти столетней старушки.

Спало последнее заклатье: седеющие, лысеющие мужчины подходили, хлопали по плечу, обнимали, и каждый называл «Юркой». Он слышал знакомую интонацию товарищества, чуть снизу вверх, как и раньше, пренебрежительная форма его имени скрывала лесть.

Все вернулось на круги своя. Не бросив капельмейстерского жезла, он снова сел на княжеский престол.

А с банкета Голицын все-таки сбежал. У сопрано Пенкиной в горле были налеты, а он замечательно умел давить их серебряной ложкой.

Блестящая и горестная жизнь Имре Кальмана



ЧАСТЬ I

ИСТОЧНИКИ

В исходе восьмидесятых годов прошлого века знаменитый венгерский курорт Шиофок, что стоит на озере Балатон в конце короткой железнодорожной линии, ведущей в столицу, — местные патриоты утверждали, что известен случай, когда из Будапешта пришел поезд, — был никому не ведомым маленьким селением.

Мартовской ночью мокрые рельсы слабо и холодно поблескивали в свете задернутого наволочью месяца. Из окна детской в доме, принадлежавшем зерноторговцу Кальману, можно было увидеть водокачку, семафор, два-три забытых на путях вагона, низенькое скучное здание вокзала под рослыми голыми платанами. За деревьями скорее угадывалась, нежели просматривалась, тускло отсвечивающая ледяная поверхность озера, обдута ветрами от снега.

Но сейчас некому было смотреть в окно, обитатели детской, братья Имре и Бела, как и все в доме, сладко спали. Старший, Бела, уже не умещался в детской кровати, его ноги торчали сквозь металлические прутья спинки; зато младшему, крошечному и круглому, как колобок, места было более чем достаточно.

Малышу приснилось что-то страшное: он забормотал, жалобно вскрикнул, заметался и вдруг сел на кровати. Протер слипающиеся глаза и прислушался к тишине спящего дома. На его пухлом, с запахливыми, как у бурундука, щеками сонном лице возникло сложное выражение удивления, надежды, радости и страха.

Он слез с кровати; путаясь в длинной, до полу, белой рубашке, просеменил к окну и смял кончик носа о холодное стекло. В ночи изнемогал знакомый до последней черточки, скучный пейзаж.

Мальчик слушал тишину, создаваемую скрипом половиц под невесомой стопой домашних духов, мышьим шорохом, звоном ушных перепонки, но вскоре его чуткий слух угадал некую звучность, рождавшуюся в просторе за окнами. Он вслушивался изо всех сил, собирая в складки тугую кожу

гладкого лба, всматривался, округляя глаза, в закоренелый мир, но не находил подтверждения своей догадке, которая тем не менее все крепла в нем.

Он придвинул к окну стул, взобрался на сиденье и распахнул форточку. Лицо ему опало влажным ветром. Струя холодного воздуха достигла его спящего брата. Тот чиркнул и вскочил.

— С ума сошел? — закричал он, дрожа от холода. — Хочешь по уху?.. Немедленно закрой форточку!..

— Лед треснул, — сказал Имре. — Слышишь, как ревет Балатон?..

Бела прислушался. Вскрытие ледяного панциря Балатона было важнейшим событием жизни приозерных мальчишек. Он не обладал соловьиным слухом младшего брата и ничего не услышал.

— Хватит фантазировать! — прикрикнул сердито. — Немедленно в постель!

— Но Бела!.. — жалобно сказал малыш. — Неужели ты не слышишь?

— Вот надеру тебе уши, будешь знать!.. — и Бела сделал вид, будто хочет осуществить свою угрозу.

Имре со вздохом закрыл форточку, и умолкла звучавшая лишь ему музыка...

А наутро маленький Имре побежал на Балатон. Лед трещал, ухал, вода раздирала ледяной панцирь, врывалась в трещины, льдины громоздились одна на другую, все нарастал освобождающий грохот...

...Зеленели, цвели поля и роши вокруг Балатона, ставшего в этот погожий солнечный день с белыми кучевыми облаками в густой синеве как бы вторым небом; шестилетний увалень Имре радостно брался с расцветающей природой. Он бежал по траве, сквозь цветы к одинокой фигуре цыгана, игравшего на скрипке.

Цыган стоял на бугре совсем один, не видно было поблизости ни повозки с задранными оглоблями, ни пасущейся худореброй гривастой лошаденки, ни черноголовых цыганят, ни жены в цветастой шали и яркой юбке, с бренчащими монистами. Он был совсем один посреди поля, посреди мироздания, он и его скрипка, изливающая в простор «рыдающие звуки», вечные, как сама печаль.

Мальчику казалось, что цыган недалеко, за тем вон ивняком, за теми зарослями таволги, за тем неглубоким овражом. Но, пронизав в беге ивняк и таволгу, одолев овражек, мальчик не стал ближе к цыгану, чем в то мгновение, когда услышал его скрипку и увидел стройную, сухощавую фигуру

ру и смоляные кудри вечного странника в пестрой рубаше, синей жилетке и плисовых штанах, заправленных в лакированные сапожки.

Мальчик побежал дальше, он уже различал серебряную серьгу в ухе цыгана и при этом не приблизился к нему ни на шаг.

Скрипка неудержимо влекла мальчика, хотя он уже не верил в реальность, как сказал бы взрослый человек, живописной одинокой фигуры. Да и не похож был этот цыган ни на вечных бродяг, исколесивших вдоль и поперек венгерскую землю, ни на разряженных игрушечных цыган, что тешили богатых граждан Шиофока в запретном для мальчика заведении мадам Жужи, куда любил заглядывать его папа для «деловых разговоров». Наверное, то был дух некоего вселенского цыгана, явившийся в цветущий мир, чтобы мальчик, еще не ведающий своего предназначения, навек очаровался его музыкой.

Возможно, потом, спрятав инструмент, он станет обычным бродягой, найдет в соседнем логе свою повозку, лошадь, жену-гадку и черноголовых цыганят и пустится в путь, не имеющий конца ни в пространстве, ни во времени, но сейчас он Чудо-цыган, Мечта, а не персть земная...

...Летом взрослые поехали на деревенский праздник и захватили с собой Имре. Мальчика очаровал чардаш, огневой народный танец. Его танцевали парами нарядно одетые крестьянки и юные сельские шеголи; каждая пара вносила что-то свое, особенное, и мальчик мгновенно это почувствовал. Взрослые злились, что он поминутно отстаёт, раздраженно его окликали, но их докучливые голоса не достигали слуха, околдованного чардашем. Имре подпевал музыке и, толстенький, неуклюжий, пытался приплясывать; на свое счастье, он не сознавал, насколько нелепо выглядит, и не замечал насмешек деревенских сорванцов.

Родная природа, весенний Балатон, цыганская скрипка, огневой чардаш — вот животворные источники, которые питали музыку того замечательного композитора, что до поры скрывался в мальчике с запасливыми щечками.

ВЕЛИЧИЕ И ПАДЕНИЕ ЗЕРНОТОРГОВЦА КАЛЬМАНА

Самые толстые бумажники Шиофока собрались в доме Кальманов, чтобы решить судьбу озерного поселка.

— Наш Шиофок станет знаменитым курортом, одним из первых в Европе! — вещал папа Кальман. — Он оставит позади курорты Швейцарии, Италии, Лазурный берег, Спа и Дубровник...

— Увидеть Дубровник и умереть! — вспомнил кто-то из присутствующих.

— Будут говорить: увидеть Шиофок и умереть! — подхватил Кальман.

— От скуки, — добавил сухошавый делец с язвительным взором.

— Даже в сегодняшнем Шиофоке еще никто не умер от скуки, — отпаривал папа Кальман.

— А есть тут ночная жизнь? — с приметным акцентом спросил иностранный негодник, привлеченный к созданию великого будущего Шиофока.

— Есть. Но у нее зубы болят, — серьезно ответил Кальман.

— Это Манечка, — пояснил другой член рождающегося акционерного общества — краснощекий жизнелюб. — Она помогает тетушке Жуже. У бедняжки вдруг прорезался зуб мудрости.

— Вот уж не к месту! — проворчал заезжий негодник.

— Господа, господа! — захолопал в пухлые ладошки Кальман. — С Манечкой мы разберемся потом. Речь идет о будущем Шиофока. Наше великое преимущество — железная дорога. Кроме того, поселок лежит на берегу красивейшего озера Европы, а может, всей планеты, воды которого ласковы, как объятия...

— Манечки, — подсказал ехидный делец, — когда у нее не режутся зубы мудрости.

— Как объятия Вирсавии, царицы Савской, Клеопатры, — игнорируя пошляка, продолжал Кальман. — Здесь ранняя весна, долгое сухое лето, золотая осень. Сезон может длиться с мая по октябрь.

— В октябре холодно купаться!..

— Но не холодно прогуляться под золотыми платанами до казино и оставить на зеленом сукне несколько монет. Не холодно посидеть в ресторане за стаканом токайского и съесть добрую уху из местной рыбы. Здесь все сорта речной рыбы, все виды дичи, прекрасные прогулки, чудный климат. Будапешт в двух шагах, а кажется, что ты порвал с цивилизацией...

— Вот уж верно! — подхватил ехидный делец. — Прохожие мочатся у заборов.

— Мы начнем со строительства туалетов, — веско ска-

зал Кальман. — Вокруг них возникнет прекрасный современный город с казино, бассейнами, ресторанами, кафе, концертным залом, летним театром, ипподромом, с пристанью, где будут пестреть паруса прогулочных и спортивных яхт, дымить трубы катеров. Но едва ли не самое привлекательное будущего курорта — естественные пляжи без конца и без края. Тысячи очаровательных женщин усекут берег, подставив солнцу жаждущие загара тела...

— Побойтесь бога, Кальман! — не выдержал румяный жизнелюб.

— Я еще ничего не сказал о маленьких гостеприимных домиках, где неумолчно поет цыганская скрипка, а посетители не зависят от состояния челюсти какой-то замарашки.

— Послушайте, мы же все женатые люди! Кроме Золтана, да и тот овдовел недавно.

— Никто вас не неволит. Сидите дома и вяжите чулок. Я все сказал, господа. Вот предварительные сметы. Их составляли люди, заслуживающие полного доверия. Банк отпускает необходимые кредиты. Я без страха и сомнений даю гарантийное письмо на весь свой счет, на все движимое и недвижимое имущество. Вот оно, — и Кальман протянул сидящему рядом с ним господину денежный документ.

Тот внимательно изучил документ и передал рядом сидящему. Бумага пошла по рукам, производя на всех сильное впечатление. Торговец зерном Кальман считался не только хорошим дельцом, но и весьма прижимистым, осмотрительным человеком, сумевшим сколотить одно из самых хороших состояний в Шиофоке. Взгляды, которыми обменивались присутствующие, свидетельствовали о том, что «проежительство» Кальмана открылось в ином свете.

Кальман в самом деле был хорошим коммерсантом с раскидистым умом и тонким нюхом. Но было у него одно ненужное деловому человеку достоинство: на дне души, за ро-ем цифр, расчетов и подсчетов таился поэт. Он все правильно высчитал про Шиофок, вскоре ставший модным курортом, прелестным озерным городком с парком и множеством увеселений, но ошибся в отношении себя самого: в то время как все окружающие обогатились на расцвете Шиофока, Кальман разорился и, почти буквально, пошел по миру. Его погубило тайное поэтическое безумие, порожденное безоглядной влюбленностью в Шиофок. Перед этим пали все расчеты и даже врожденная прижимистость. Но кто знает: не будь этого тайного «порока» у отца, глядишь, не прозвучала бы музыка сына, который по внешности, манерам, всем замашкам был куда большим дельцом, нежели отец; из

безумств разорившегося коммерсанта возникли «Княгиня чардаша»¹, «Марица» и бессмертное танго «Наездника-дьявола».

И вот лед тронулся, хотя и с меньшим шумом, чем на Балатоне: один за другим шиофокские коммерсанты писали, на бумажках какие-то цифры и передавали Кальману, чье округлое, добродушное лицо расцветало от удовольствия. Наконец, стукнув кулаком по столу, он воскликнул:

— С такими деньгами мы превратим Шиофок в новую Ниццу!

— Да, Кальман — это голова из чистого золота! — подхватил дородный усач.

— Высшей пробы! — поддержал заезжий негоциант. То был звездный час папы Кальмана...

— Надо отметить начало новой эры Шиофока! — прозвучало предложение.

И было принято с энтузиазмом.

Компания отправилась по тихим, пустынным улицам в единственное ночное заведение — бедный мужской рай, чей слабый свет не потухал рачительностью тетушки Жужи.

Хотя час был непоздний, в заведении находились всего два посетителя: дантист, возможно призванный в помощь «ночной жизни», и железнодорожный служащий, отупевший от гудящей тишины рельсов. Появление «большого света» оживило мертвое царство и дремлющую за стойкой бара увядшую рыжеватую блондинку, мадам Жужу. Зажглись огни, захлопали пробки шипучих вин, поспешно взбодрила перед зеркалом останки былой красоты хозяйка и кинулась занимать знатных гостей; и вот уже появились нераспечатанные колоды карт, освобождались столы для жарких баталий, извлекались из тайников: задних карманов брюк, из широких поясов, из набрюшников, даже из сапог — заначенные от жен плоские пачки денег. Запенилось вино в бокалах, зазвучали тосты за процветание жемчужины Европы — Шиофока, за здоровье Кальмана, и вот как из-под земли возник горбоносый, лезвиеликий цыган с неизменной скрипочкой, и звуки чардаша подняли патристическое чувство до степени экстаза. Лишь иноземец, верный своей малой заботе, настаивал на появлении «ночной жизни».

— Объясните ему, — попросила мадам Жужа, — что у нее лезет зуб. И чего он беспокоится? Коль на то пошло, у меня давно прорезались зубки.

Но настырный иностранец, оглядев мадам Жужу, с пол-

¹ У нас — «Сильва».

ного лица которой пудра осыпалась, как штукатурка со стен старой сельской церкви, потребовал, чтобы ему показали больную.

В конце концов из двери, ведущей в кухню, выглянула одутловатая физиономия с подвязанной шерстяной тряпичей щекой. «Ночная жизнь» Шиофока выглядела крайне непрезентабельно, но опытный глаз приезжего проглянул скрытую прелесть Манечки.

— Тут есть дантист,— вспомнил он.— Ну-ка, любезнейший, покажите свое искусство.

Манечка замотала головой.

— Не дам рвать зуб мудрости. Я хочу умной стать.

— Марица! — строго сказала хозяйка.— Самое умное, что ты можешь сделать, это хорошо развлечь нашего гостя. А для этого зуб мудрости не обязателен.

Дантист раскрыл свой чемоданчик со страшными инструментами, и рыдающую Манечку увели на кухню для операции.

А цыганская скрипка, чуждая житейской пошлости, томилась о небе...

...Рано утром зерноторговец и жиддитель славы Шиофока нетвердой походкой возвращался домой. Его встретили звуки скрипки — играл постоялец, профессор Лидль,— и багровое от гнева лицо жены.

— Доброе утро, женушка! — воскликнул глава семьи.— Похоже, я сделал лучшее дело своей жизни.

— Сомневаюсь,— сказала жена, глядя на его опухшее лицо.

— Поверь мне, душа моя. Мы заложили фундамент нового Шиофока.

— Если это фундамент,— покачала головой мадам Кальман,— то хороша же будет вся постройка.

Ее муж сделал вид, будто не понял намека.

— А где Вениамин нашей семьи, радость моих слабющих очей, мой Имрушка? — переводя этим патетическим восклицанием разговор на другую тему, спросил он со слезой умиления.

— Заперт в чулане,— спокойно отозвалась мадам Кальман, в числе многих добродетелей которой не последнее место занимала отходчивость.

— Что он опять натворил? — грозно спросил строгий родитель.

— Профессор Лидль пожаловался на него. Он хулиганит под окнами, когда тот занимается.

— Н-нет,— чуть подумав, сказал Кальман.— Тут что-то не то.

Преступника извлекли из чулана, где он, по некоторым признакам, утешался вишневым вареньем, и за руку отвели пред грозные очи профессора Лидля.

— Извините, глубокоуважаемый профессор,— сказал папа Кальман,— чем проштрафился наш парнишка?

— Он мне мешает работать! — гневно раздувая усы, ответил Лидль.— Только я начинаю играть, он тут как тут. Заглядывает в окна, корчит рожи. Скверный мальчишка!.. Я откажусь от комнаты, если это повторится.

— Это не повторится, господин профессор,— заверил папа Кальман, который после всех жертв во имя Шиофока не хотел лишаться выгодного жилья.— Но он не хулиган. Когда его сестра училась музыке, он часами просиживал под роялем. Он буквально помешан на музыке.

— Помешан на музыке?.. — фыркнул профессор.— А ну, что я играл?

— Вторую рапсодию Листа,— сразу ответил мальчик.— Переложение для скрипки.

— Гм!.. Угадал... А ты можешь ее напеть?

И полный, несколько флегматичный мальчик без всякого смущения с абсолютной точностью стал напевать труднейшее произведение Ференца Листа.

— Вы издеваетесь надо мной! — вдруг вскричал Лидль.— Этот маленький мошенник получил музыкальное образование!

— Да,— Имре лукаво глянул на профессора,— под роялем.

— Невероятно! — почему-то сразу поверил Лидль.— Мальчика необходимо учить музыке. У него абсолютный слух и превосходная музыкальная память. Он будет вторым Эрккелем,— добавил, усмехнувшись, Лидль.

— Господь с вами! — испугался папа Кальман.— У нас совсем другие планы. Кем ты хочешь стать, Имрушка?

— Государственным прокурором! — выпятив грудь и надув губы, бойко ответил мальчик, едва ли понимавший, что это значит.

— Вон что-о! — разочарованно протянул Лидль и снова рассвирепел: — Тогда — пошел вон!.. Прокуроры меня не интересуют!..

Семья Кальманов ретировалась из комнаты жилья.

— Ты с честью вышел из положения,— похвалил сына Кальман и вытащил из кармана горсть мелочи.

Сын с жадным интересом следил за рукой отца. Но тот

успел подавить порыв неразумной расточительности — монеты посыпались назад в карман, остался один грошик.

— Держи! — важно сказал папа Кальман. — Не транжирь, лучше брось в копилку. К совершеннолетию у тебя скопится...

— Два гроша, — договорил сын...

...Минуло время, и все, о чем мечтал папа Кальман, обрело весомость яви: дома и виллы, отели и рестораны, летний театр и концертный зал, барочные здания бассейнов, великолепный парк, где гарцевали всадники и всадницы. Шиофок стал модным курортом. Его бескрайние пляжи были усеяны полосатыми телами — будто зебры пришли на водопой, но то вовсе не зебры, а дамы в наимоднейших поперечно-полосатых купальных костюмах. Закрывая максимальную площадь тела, костюмы начинались штанишками чуть повыше колен и почти достигали горла. Тем не менее этот туалет казался на редкость соблазнительным представителям сильного пола, окружавшим зебровидных дам. Купальщики нежались под солнцем, плескались в воде, ныряли, плавали; по голубой глади скользили яхты под разноцветными парусами, дымили катера...

А основоположник этого процветания — папа Кальман тщетно пытался спасти остатки своего состояния. Последняя надежда была на директора банка, старого знакомого, постоянного партнера по бриджу и компаньона в нескольких смелых финансовых спекуляциях. Но когда Кальман вошел в просторный кабинет директора, тот даже не предложил ему стула. Он стоял перед гигантским столом в поношенном, некогда элегантном черном костюме и пожелтевшем пластроне и чувствовал себя ничтожным попрошайкой.

— Так вы не дадите мне отсрочки? — с трудом проговорил он и услышал, как жалко звучит его голос.

— Нет, дорогой. И вы это отлично знаете. Ведь когда-то сами были коммерсантом.

— Похоже, меня окончательно списали?

— Это вы себя списали, дорогой. Слишком азартны, размахнулись не по чину.

— Кому обязан Шиофок своим процветанием? — горько сказал Кальман. — Эти парки, отели, рестораны, толпы туристов, ваш банк, даже стол, за которым вы сидите, — все это поначалу было лишь в моей голове. — Что — не так?

— Так, — равнодушно согласился директор.

— Значит, я провидел будущее?

— Конечно, провидели, дорогой Кальман, никто не собирается уменьшать ваших заслуг. Но вы — нищий.

— А кто меня разорил? Вы. Хотя всем обязаны мне.

— Никто никому ничем не обязан, — медленно и внушительно, как символ веры, произнес директор. — Люди вкладывают деньги и получают прибыль... Люди берут деньги в кредит и возвращают с процентами. Если же они только берут и не могут рассчитаться, их выбрасывают за борт деловой жизни. Ей-богу, совестно говорить вам об азах коммерческой деятельности. С такими людьми можно выпить рюмку ликера, сыграть партию в кегли, обменяться анекдотами — и все! Практически этих людей уже нет, они бесплотные духи. Вы призрак, Кальман, и вам пора исчезнуть, уже пропел пепел. Я устал от вас.

Кальман обвел глазами солидную обстановку кабинета: мебель «чиппендейл», английские напольные часы, портреты каких-то чванлых людей в багетных рамах, в том числе и сидящего перед ним, которого он некогда за шиворот втянул в нынешнее богатство.

— Какая же вы бездушная скотина, — сказал он тихо.

— А вы поэт, это хуже, — и директор обрезал кончик дорогой сигары.

Кальман повернулся и вышел. Тяжелая дверь в последний раз захлопнулась за ним.

Оказавшись на улице, он выпрямился, приосанился. Пусть он проиграл, пусть он банкрот, но нынешний Шиофок был придуман им, он все-таки золотая голова, пусть не для себя и своей несчастной семьи, но для любимого города, оказавшегося таким неблагодарным. Но все равно он любит Шиофок и будет любить до последнего дня.

Он двинулся по улице, изредка раскланиваясь с прохожими и людьми в экипажах, но ни один не остановился, чтобы перекинуться с ним словом.

Лишь сильно постаревшая, но куда более дерзко рыжая, чем в прежние времена, мадам Жужа, пившая какую-то смесь со льдом в летнем кафе при своем новом и весьма презентабельном заведении, дружески приветствовала Кальмана.

— Добрый день, господин коммерсант! Почему вы к нам больше не заходите?

— Разве вы не слышали о моих обстоятельствах, дорогая Жужа? — вздохнул Кальман.

— Вы столько сделали для города, и никто не поддержал вас в трудную минуту, — искреннее сочувствие было в ее голосе.

— Такова жизнь! — философски заметил Кальман.

- Хотите рюмочку чего-нибудь?
- Спасибо, сердце пошаливает...
- Жаль, девочки еще спят... Хотя... Марица!..

Из двери высунулась Манечка с перевязанной щекой. Кальман вздрогнул, испытав жутковатое чувство повтора уже раз пережитого.

- Это что еще такое? — грозно спросила хозяйка.
- Жубы,— с трудом проговорила Манечка, вид у нее был довольно затрапезный.— Опять режутся, теперь сверху.
- Тьфу на тебя! Ступай на кухню. Не отпугивай посетителей.

Кальман приподнял котелок и побрел дальше, позабыв о выправке.

— Такова жизнь,— пробормотала ему вслед мадам Жу-жа...

Дома Кальмана ожидал очередной сюрприз. У дверей стояли подводы, дюжие молодцы выносили из квартиры рояль. На одну из подвод уже были погружены кровати, диваны, комод и огромный платяной шкаф с зеркалом. За грузчиками, выносившими рояль, с плачем тащилась старая служанка Ева и, потрясая кулаками, вопила:

— Осторожней, ироды! Рояль дорогая, на ней барин молодой играет. Испортите вещь, что мы барину скажем?

— Успокойтесь, Ева,— сказал Кальман.— Эти вещи уже не вернутся.

— Как не вернутся? — опешила Ева.

— Их описали.

— Это писатели, что ли, утрешние? — сообразила старуха.— Всю квартиру облазили и все пишут, пишут, пишут, как ненормальные.

— Они не писатели,— улыбнулся Кальман.— Куда хуже — финансовые инспектора.

— Ну, мне такого без стакана палинки не выговорить,— проворчала Ева.— Что же, мы в пустом доме останемся?

— Нет, не останемся. Дом тоже описан.

И мимо онемевшей Евы вошел в парадное.

Жена, старший сын Бела и четыре дочери ждали его в пустой комнате, служившей некогда столовой. Мимо них из других комнат то и дело проносили всевозможные вещи. «Писатели», устроившиеся в коридоре за столом-маркетри, помечали изъятые вещи в длинном списке.

— Отказали? — спросила жена; она выплакала все слезы и сейчас производила впечатление относительного спокойствия.

— Разумеется... Сегодня же отправимся в Пешт.

— Отец, я не поеду,— сказал Бела.

— Что это значит? — нахмурился Кальман.

— Я пойду служить в банк. Кто-то должен работать. Мы не можем всей семьей сесть на шею родственникам.

— Ты пойдешь работать в банк, который нас разорил?

— Да. Я уже был там. Я сказал: вы отняли у нас все. Так дайте мне возможность помогать семье.

— И они взяли тебя?

— Без звука!.. Впрочем, сперва устроили небольшой экзамен. Но ведь я хорошо подготовлен. Тут нет никакого благородства с их стороны, отец. Работы будет много, а жалованье маленькое.

— Тут есть великое благородство, сын мой! — патетически воскликнул господин Кальман, который, не читав Диккенса, порой в точности повторял интонации и жесты бесшумного мистера Майкобера.— Твое благородство. Разреши обнять тебя от всего сердца. Жена, дочери, перед вами редкий пример самопожертвования, запомните этот миг.— Он смахнул слезу.— Но что делать с нашим меньшим, нашим Вениамином, что в детском неведении резвится в поместье своего родовитого школьного друга? — впав в деланный тон, папа Кальман не мог от него избавиться.

— Надо написать ему, чтобы он сидел там как можно дольше,— предложила мадам Кальман.— Куда нам его девать?

— Но разве добрая будапештская тетка не приютит бедного сиротку? — витийствовал господин Кальман.

— Побойся бога, дорогой, какой же Имре сиротка? Мы, слава богу, живы и не собираемся умирать. Ну, потеряли деньги, было бы здоровье и мужество.

— Здоровье и мужество — ты это хорошо сказала. Молодец, женушка! Правда, я предпочел бы деньги. Ладно, напиши ему, чтобы сидел на месте. Экий счастливчик! Мы будем ютиться невесть где, а он — наслаждается жизнью и лучшим поместьем нашего округа! Итак, будем собираться.

— Собирать нам нечего. Все при нас.

— Тем лучше,— беспечно сказал господин Кальман.— Не придется тратиться на перевозку.

— И на носильщика,— добавила жена.

— И на оплату багажа,— заметил Бела.

— И на носильщика в Пеште,— сказала Розика.

— И на подводу,— добавила Вильма.

— Колоссальная экономия! — обрадовался господин

Кальман.— Ну, дети, присядем на дорогу... А, черт, ни одного стула. Плевать, мы люди не суеверные. Вперед, к новой жизни!.. Хей-я!..

ИЗГНАННИК

Не ведая о несчастье, постигшем семью, юный Имре безмятежно резвился в садах первых шиофокских богачей — родителей его школьного приятеля Золтана.

Тот роковой день начался, как обычно, с шоколада и лимонного торта на открытой террасе, овеваемой ароматом роз. Два упитанных мальчика быстро разделались с угощением и вытерли салфетками коричневые сладкие усы. На них умильно поглядывала чинная и томная мама Золтана, одетая так, словно вокруг не сельская пустыньность, а будапештская эспланада: огромная, словно цветочная клумба, шляпа, отделанное кружевами платье и митенки.

— Кем ты хочешь стать, Имре, когда вырастешь? — спросила дама, не потому что это ее сильно интересовало, а потому что этикет требует занимать гостя.

— Министром юстиции, — не задумываясь, ответил Имре. Аппетит его повысился за минувшие годы.

— Какой умница! — умилилась дама. — Ты наверняка будешь министром при связях твоего дорогого отца и влияния, каким он пользуется в Шиофоке. Ну, а ты, мой мальчик?

Завистливо поглядев на Имре: ишь, в министры шагнул — и шумно втянув воздух полуоткрытым ртом — адептоиды — Золтан выпалил:

— Императором!

Дама испуганно замахала руками.

— Глупыш! — произнесла она с интонацией, подразумевавшей более крепкое слово. — Для этого надо быть Габсбургом, а не Габором.

— А я поменяю фамилию, — находчиво отозвался сын.

Матери очень хотелось дать ему подзатыльник, но неудобно было в присутствии постороннего; она тщетно придумывала подобающую случаю сентенцию.

— Почтальон!.. Почтальон!.. — закричал Золтан и кинулся с террасы навстречу человеку в форме и с большой кожаной сумкой через плечо.

Он вернулся с ворохом конвертов, газет, рекламных проспектов.

— Тебе, Кальман, письмо. А это все тебе, мама.

Имре схватил письмо и, узнав каллиграфический почерк

старшего брата, отбежал к кустам жимолости, чтобы без помех прочесть дорогие строки.

«Братишка, — писал Бела, — отец разорился, и нас выгнали из родного дома. Где мы будем жить, неизвестно. Постарайся пробыть у своих друзей как можно дольше, а потом поезжай к нашей доброй тетке в Будапешт. Так решил семейный совет. Не вешай носа, малыш. Твой любящий брат Бела».

Имре заревел сразу, без разгона.

Дама, в отличие от сына, у которого был неважный ушной аппарат, услышала этот плач и как-то нехорошо усмехнулась. С плотоядным видом она перечитала только что полученное ею письмо и удовлетворенно покачала головой:

— Сколько веревочке ни виться, все кончику быть!

— Что? — гнусаво спросил сын.

— То!.. Приезжает младший Веречи, а ты мне ничего не сказал.

— Его мать сама тебе писала. И когда еще он приедет!..

— Когда, когда!.. А если завтра, что тогда?

Сын оторопело посмотрел на мать.

— Позови мне Яноша.

— Какого Яноша?.. Тут каждый второй Янош.

— Кучера, кого же еще... Живо!..

Сын нехотя потащился выполнять поручение, а к даме робко приблизился зареванный Имре. Она сделала вид, будто не замечает его мокрых глаз и дорожек слез на щеках.

— Куда ты девался? — голос был совсем не похож на прежний, в нем звучал холодный металл. — Тебе пора собираться. К Золтану приезжает старый друг, надо подготовить спальню.

— А мне нельзя еще побыть у вас? — застенчиво сказал Имре. — Мама просит...

— Ты же слышал: приезжает новый гость.

— У вас такой большой дом, — прошептал Имре. — Я мог бы спать в чулане.

— Что ты бурчишь?.. В каком чулане?.. Это неприлично. Янош отвезет тебя на станцию, как раз успеешь к поезду. Ты ведь едешь в Будапешт? — произнесла она с нажимом.

И мальчик понял, что мать его друга, совсем недавно столь ласковая и приветливая, все знает, но вместо сострадания испытывает лишь одно чувство: скорее избавиться от сына банкрота. Он понял, что такое бедность, и испугался этого на всю жизнь.

Дама повернула все так ловко, что Имре едва успел по-

прощаться с Золтаном, и вот он уже трясется в разбитых дрожках, а Янош нахлестывает залысые крупы старых пони. Выезд непарадный...

...Он с трудом добрался со своим баульчиком от вокзала до теткиного дома в одной из длинных и глубоких, как ущелье, улиц Пешта. Час был поздний, но в редких окнах еще горел свет. Трусил ли он, совсем один, посреди чужого огромного города, медленно погружающегося в ночь? Он мог заблудиться, его могли ограбить, избить... Во всю последующую жизнь он так и не вспомнил, что чувствовал тогда. Он был оглушен, как под роялем сестры Вильмы, когда она играла позднего Бетховена. Но аккорд, оглушивший его ныне, был еще мощнее. При этом он все делал правильно: спрашивал редких прохожих о нужной ему улице, переходил на другую сторону, сворачивал за угол, перебегал перекресток, пропустив мчавшийся экипаж или конку.

Он добрался до небольшого двухэтажного дома, поднялся по каменной лестнице и постучал в дверь. Никто не отозвался. Он постучал чуть сильнее — тот же результат. Тогда он дернул хвостик колокольчика и вздрогнул испуганно, услышав жестяной треньк в квартире. Но тетка либо не слышала, либо спала, либо ушла в гости. В последнее не верилось, редко выходила старая домоседка.

Он снова постучал и снова дернул хвостик колокольчика. Тишина. Имре повернулся спиной к двери и хотел ударить задником ботинка, но в последнее мгновение не решился. Прежний Имре, сын преуспевающего коммерсанта, одного из отцов Шиофока, будущий министр юстиции, баловень взрослых и заводила среди сверстников, уже не существовал. Был оробевший маленький человек. Столкновение с жестокостью жизни и человеческой подлостью было слишком внезапным и потому сокрушительным, от этого удара он так никогда и не оправится. Молчаливость, отдающая угрюмостью, недоверие к окружающим, переходящее в подозрительность, бережливость, оборачивающаяся скупостью, порой смехотворной,— все это завязалось в описываемый летний день. У мальчика, так и не достучавшегося к тетке и прикорнувшего на лестнице, стала другая душа.

Он не заметил, как уснул.

А потом родился знакомый грохот вскрывающегося Балатона, огромные трещины раскалывали тело льда, в них вспучивалась черная вода и растекалась с шипением, пожирая снеговую налипь. И как всегда, настигнутый этим



сном, предвещавшим перемену, он плакал и вскрикивал.

А потом кто-то с силой тряс его за плечо.

— Проснись же, соня!.. Да проснись ты, горе мое!..

Он открыл глаза и уткнулся взглядом в некрасивое доброе, исполненное бесконечного участия лицо тетки.

— Здравствуйте, тетя, — сказал Имре.

— Здравствуй, Имрушка, ты когда приехал?

— Вчера. Я не достучался.

— Ты плохо стучал. Я же глухая тетеря... Ладно, идем домой.

«Домой!» — это слово, прозвучавшее на чужой холодной лестнице, отозвалось слезой в углу карего полного глаза. Имре не заметил, как очутился в маленькой уютной квартире, как в руку ему ткнулся кусок белого хлеба, густо намазанный маслом и медом, а в другую — стакан с молоком. Он жевал, давился, исходя влажной из глаз и носа.

Тетка была не только добрым, но и умным душой человеком.

— Слушай, мальчик, тебе сейчас паршиво, да?

Имре не ответил, только хлюпнул носом.

— Вот слушай. Я скажу тебе самое важное для жизни. Тебе еще не раз будет плохо, но будет и хорошо. Когда хорошо, радуйся и ни о чем не думай. Когда плохо, тоже радуйся, пой, пляши, дурачься, и все пройдет. Давай споем из «Свадьбы Фигаро».

Тетка надела немыслимую шляпу с облезлыми страусовыми перьями, другую, похожую на воронье гнездо, нахлобучила на голову Имре, схватила его за руку и понеслась вокруг стола, распевая:

Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный,
Адонис, женской лаской прельщенный.

Невольно рассмеявшись, Имре подхватил:

Не пора ли нам бросить резвиться,
Не пора ли мужчиною стать?..

— Фу! — устало выдохнула тетушка. — Когда на душе мрак, Моцарт — лучшее лекарство. Штраус-младший — тоже неплохо, — рассуждала она с видом врача, прописывающего микстуру. — Некоторые предпочитают Оффенбаха, другие — Зуппе. Но и от самой простой веселой песенки — хвост морковкой!.. — И она засмеялась, показав желтые лошадиные зубы, которые не могли испортить лица, вылепленного добротой.

Имре на всю жизнь запомнил этот совет...

Пропустим школьные годы Имре Кальмана. В конце концов, все мальчишки похожи друг на друга: дерутся, играют, ссорятся, поверяют друг другу «страшные» тайны и тут же их выдают, соперничают в играх, запойно читают плохую литературу, заглядываются на девчонок, влюбляются, терпят поражение, пишут скверные стихи — впрочем, это уже в преддверии юности. И школьная жизнь Кальмана мало чем отличалась от жизни всех других мальчиков. Разве лишь тем, что он рано начал зарабатывать деньги и помогать отцу.

Но в рядовом детстве было одно обстоятельство, мимо которого нельзя пройти, ибо оно сделало мальчика непохожим на всех других мальчиков: он вновь и навсегда пленился музыкой.

Возвращаясь из школы, шли два мальчика: небольшой, кругленький Имре и долговязый, с романтической шевелюрой Антал.

— Ты только мечтаешь, Имре, а я создаю музыку, — витийствовал Антал. — Музыка звучит во мне даже на уроках, даже когда я зубрю теорему или жую слоеный пирожок.

— Какой ты счастливый, Антал! — восторженно сказал Кальман. — Дал же тебе господь такой выдающийся талант!

— Дело не только в таланте, — назидательно проговорил Антал.

— Конечно! Все знают о твоём трудолюбии. Ты изнуряешь себя, Антал!

Мальчики пересекли улицу и теперь двинулись по аллее запущенного парка.

— Для композитора мало таланта, мало трудолюбия, — поучал Антал, — надо уметь слышать музыку всюду. Вот ты, скажем, слышишь мелодию земли?

Антал распластался на газоне и припал ухом к земле, Кальман доверчиво последовал его примеру.

— Слышишь? — восторженно закричал Антал. — Слышишь эту божественную песнь?

— Я ничего не слышу, — потерянно признался Имре.

— Значит, ты бездарен, — с не ведающей жалости прямотой заявил юный гений, поднялся и отряхнул брюки.

Имре с убитым видом последовал его примеру.

— Сейчас я слышу, как воркуют голуби, а вот и мотив насекомых... О, скрипка кузнечика... флейта шмеля... арфа, арфа стрекозы!..

— Я слышу: заржала лошадь!

— Она еще и пукнула,— презрительно сказал Антал.— Не знаю, как у тебя с ушным аппаратом, но внутреннего слуха ты лишен начисто. Не слышать скрипки кузнечика!.. Как же ты собираешься писать симфонию?

— А я разве собираюсь?

— Надеюсь, ты думаешь о серьезной музыке, а не о дешевых песенках: ля, ля, тру, ля, ля?.. Я лично работаю над большой симфонической поэмой.

— Я напишу симфонию, — покорно сказал Имре.

— А ты слушал когда-нибудь настоящую симфонию в филармоническом концерте?

— Н-нет... А как я мог ее слышать? Отец дает мне на неделю два гроша и просит ни в чем себе не отказывать.

— Беда мне с тобой! — вздохнул Антал и дал волю природному великодушию. — Концертмейстер оркестра — мой учитель по классу скрипки. Он достанет нам контрамарки.

— Когда?

— Сегодня. Дают симфонию Берлиоза «Гарольд в Италии». Вещь гениальная, но сложная. Впрочем, надо сразу воспарять к вершинам... Это говорил еще Гендель. Сегодня без четверти семь — у артистического входа. А сейчас оставь меня, дружок. Я слышу пение аонид, ты мне мешаешь...

Вечером Имре долго томился возле артистического входа. Мимо него торопливо проходили оркестранты со скрипками, виолончелями, флейтами, трубами. А затем поток иссяк, и в одиночестве прошествовал в святая святых сам Маэстро — дирижер сегодняшнего концерта.

Когда Имре совсем отчаялся, подбежал его талантливый друг Антал.

— Где ты пропадал? — накинулся на него Имре.

— Т-с!.. Стой тут и жди. Я помню о тебе. Сегодня ужасный наплыв. Даже мои связи бессильны. Но я представляю тебя профессору Грюнфельду. Другого выхода нет. Я скажу, что ты молодой композитор. Симфонист. Это звучит!

Он скрылся в артистической. Затем туда прошмыгнули какие-то молодые люди, видимо ученики музыкальной академии.

Назад они выходили, весело помахивая контрамарками. Наконец появился Антал.

— Уф, даже потом прошибло! — сказал он, обмахива-

ясь носовым платком. — Ужасный день. С неимоверным трудом достал одну контрамарку.

— Ты настоящий друг, — растроганно сказал Имре. — Пожертвовать таким концертом!..

— Ты в своем уме? Я не собираюсь ничем жертвовать. Пойдешь в другой раз.

— Но как же так?.. Ты же хотел представить меня профессору Грюнфельду.

— Ничего не вышло. Я убеждал его, что ты будущий гений, надежда нации. Старик прослезился, но контрамарку не дал. Ладно, у тебя вся жизнь впереди. Я побежал. Концерт уже начинается.

И он исчез.

С мокрыми глазами Имре пробрался к дверям концертного зала и припал ухом к замочной скважине. И услышал музыку...

Так и простоял он весь концерт, но и сквозь закрытые двери проникали к нему мощь и красота большого оркестра...

В тот вечер Имре Кальман понял, для чего стоит жить. Но музыки земли так и не услышал, сколько ни прижимал к ней ухом. Впрочем, разве земля не участвовала в создании его музыки?..

ЮНОСТЬ НЕМЯТЕЖНАЯ

Когда Кальман вспоминал свою раннюю юность, она рисовалась ему одним долгим хмурым затянувшимся днем. Этот день начинался еще в сумерках, когда голова болела не от грешной рюмки палинки или пары пива, как у многих его школьных соучеников, а с недосыпу: до поздней ночи он занимался перепиской разных бумаг ради грошового заработка: то он каллиграфически выводил рекламные объявления разных фирм, рождественские поздравления богатым, почтенным клиентам и — не столь изысканным почерком — напоминания о долгах клиентам малоимущим и малопочтенным; корпел над «деловой» перепиской отца, перебеливая его небрежную мазню, и сам разносил эти письма, чтобы не тратиться на марку, то был сизифов труд — никто не нуждался в услугах разорившегося коммерсанта; просматривал тетради своих частных учеников, здоровенных тупых оболтусов, которым был по плечу (с тринадцати лет он стал репетитором по всем предметам, по-

сколько обладал хорошей головой, равно приемчивой к гуманитарным и точным наукам). День продолжался гимназией, включал скудный завтрак, заменяющий нередко и обед: чашечка жидкого кофе с черствой булочкой, частные уроки, разбросанные по всему городу (из экономии он всюду поспевал пешком), долбежку домашних заданий и уже упоминавшиеся дела: просмотр тетрадей, переписка бумаг, отцовских писем, порой выполнение поручений папы Кальмана, в котором суетливое беспокойство заменило былую деловитость. Развлечением служили воскресные домашние трапезы (когда семья вновь соединилась в Пеште, за исключением старшего брата Белы, до ранней своей смерти проработавшего в Шиофокском банке, пустившем их семью по миру). Скудные, унылые трапезы не слишком оживлялись красноречивыми вздохами матери — беспросветная жизнь лишила ее природной отходчивости и выдержки — и преувеличенными, назидательными восторгами отца перед жертвенностью «бедного Белы». Кусок не шел в горло, Имре с горечью ощущал, что к светлой братской любви и благодарности шиофокскому мученику начинают примешиваться менее прозрачные чувства. Как ни выкладывался Имре, он не мог сравниться в родительских глазах с просиживающим штаны за банковской конторкой Белой.

Но Имре был любящим сыном и братом, к тому же некоторая флегма остужала тревоги и беды внешней жизни. Он был терпелив, прилежен, не жалел себя, умел принимать мир таким, каков он есть.

Пухлые щеки уже познакомились с бритвой, но ни разу девичьи руки не сомкнулись на его шее, ни разу мягкие губы не искали его губ, ни разу не закружилась юная голова ни от страсти, ни от горячительных напитков, ни от безумной жажды подвига или хотя бы подлежащих легкому взысканию дерзких поступков. Он, правда, позволил завлечь себя несколько раз на скачки, но быстро спохватился и удвоенным прилежанием искупил тяжкую вину. Другой бы на его месте совсем отупел и ссохся душой от столь праведной жизни, но его спасало умение мечтать. В те несколько минут, когда сон еще не склеивал усталые веки, он успевал представить себя высоким и красивым, загадочным и томным. Вот он небрежно опирается холеным ногтем изящного мизинца о мраморную балюстраду, лорнируя порхающих вокруг красавиц, которые все бы отдали, лишь бы задержать на себе рассеянный взгляд светского льва. Кто знает, не из этих ли мечтаний несытого, замороженного юноши возникла черная маска таинственного

мистера Икс, пряное очарование индийского принца Раджами, бесшабашная удаля Наездника-дьявола? Иначе чем объяснить, что безнадежно будничным, рано отяжелевшим Кальман, скряга, тревоугодник и мизантроп, умел придумывать таких романтических, блистательных героев и, главное, наделять их горячей жизнью, что крайне редко случается в условном искусстве оперетты. У Кальмана почти нет безликих, статичных, скроенных по готовым рецептам героев. Им присуща та окрашенность, которую сообщает творению лишь пристрастие творца. Да, он сам был красавцем Раджами, жертвующим тронем ради любви, загадочным смельчаком мистером Икс, затравленным и гордым в своем падении графом Тассило, бесстрашным удалцом Наездником-дьяволом. Но все это много позже, сейчас навещавшие его в полусне образы не имели четких очертаний, судеб, они являли разные ипостаси того образа, который ему хотелось бы увидеть в зеркале, и чтоб душа была под стать зеркальному отражению. Он засыпал счастливый, а вскакивал обалделый, неспавшийся, по хриплому звону старого будильника, зная, что вынесет на своих вроде бы некрепких плечах уготованный ему груз дня.

На шестнадцатом году он обрел душевное подспорье в музыке, стал брать уроки фортепианной игры, а для этого пришлось еще утяжелить ношу, ведь плату за учение вносил он сам. Да, был характер у нерослого, коренастого паренька...

И все-таки ему однажды посветило счастье в хмурые дни первой юности. Отец взял его с собой в поездку по делам фирмы, в которую с трудом устроился на небольшую должность.

Они остановились в хорошем отеле, и отец сказал:

— Я вернусь завтра утром. Дела, брат... А ты сиди в номере. Надо им хорошенько попользоваться. Оплачивает фирма.

И ушел.

Юный Имре впервые был в отеле. Ему интересно было все: обстановка, картины на стенах, барометр, градусник, Библия на тумбочке возле кровати, интересно было раздраживать и задерживать шторы, просто смотреть в окно, хотя оно упиралось в брандмауэр и не давало пищи для наблюдений. Но вскоре все это ему надоело, и тут он обнаружил возле двери три фарфоровые кнопки. Он долго рассматривал их с глубокомысленным видом, потом нажал верхнюю. И мгновенно, как лист перед травой, перед ним стал пожи-

лой человек в черных брюках и белом кителе, с салфеткой на локтевом сгибе.

— Что угодно молодому барину? — спросил он перепуганного Имре.

— А правда, что мне угодно? — запинаясь, промолвил Имре.

— Наверное, молодой граф проголодался? Не подать ли хороший ужин?

— А почему бы и правда не поужинать? — уже смелее сказал Имре.

Со сказочной быстротой появился столик на колесиках, а на нем прибор, крахмальная салфетка, бутылка белого вина, устрицы, дольки лимона, зернистая икра, пышный хлеб, масло со слезой.

Все это исчезло со столь же сказочной быстротой вкупе с жареным цыпленком, ветчиной, салатом, сыром, мельбой и чашкой душистого мокко.

Радостно ухмыляясь, Имре нажал вторую кнопку.

Немедленно возник человек в фартуке с белой бляхой отеля и сказал:

— Что угодно молодому господину?

— А правда, что мне угодно? — пошел по проторенному пути Имре.

— Не угодно ли господину барону, чтобы я почистил ему костюм и ботинки, а господин барон облачился в свой атласный халат и парчовые туфли?

— Угодно! — радостно согласился Имре и мигом разделся.

Коридорный унес его вещи, а Имре облачился не в атласный, а в байковый, порядком заношенный отцовский халат и в его шлепанцы. После чего нажал третью кнопку.

В комнату впорхнула юная фея в белой короне. Так почудилось в первое мгновение, потом фея обернулась румяной горничной в белой крахмальной наколке.

— Что угодно молодому господину? — спросила девушка.

— А правда, что мне угодно? — слегка оробел Имре.

— Наверное, чтобы я приготовила ему постельку для сна?

— Наверное, так! — обрадовался Имре.

Горничная быстро, умело взбила подушки, приготовила постель.

— Может быть, юному принцу угодно, чтобы я навеяла ему голубые сны?

Если б в желудке юного принца не плескалось три четверти литра эгерского вина, предложение горничной по-

вергло бы его в немалое смущение, переходящее в панику, но сейчас ему море было по колено.

— Именно этого я и хочу, — значительно произнес он. И горничная погасила свет...

Когда утром вернулся отец, первый вопрос был:

— Где твои часы?

— Их взяла на память молодая дама, — ответил сын с обескураживающей прямоотой.

— Какая молодая дама?

— Которую вызывают по третьей кнопке, — пояснил сын. — Она навеивает голубые сны.

— Что-о? — вскричал отец.

— Вытри помаду, папа, — спокойно сказал сын. — Нет, на манишке.

Раздался стук в дверь, и вошли официант со счетом и коридорный с вещами Имре.

— Будьте любезны, уважаемый магнат!

Папа Кальман вырвал счет из рук официанта и, побелев, опустился в кресло.

— Ужин Ротшильда, — проговорил он болезненным голосом и слабой рукой подписал счет. — А это вам, любезнейший, — и опустил несколько монет в ладонь чистильщика.

Когда же оба с поклоном удалились, он сказал:

— Фирме придется все оплатить. Меня, конечно, уволят. Ну и черт с ними! Надрываться за такие гроши... Но тебе-то хоть хорошо было?

— Как в раю, — признался сын.

— Что тебе больше всего понравилось?

— Ветчина с горчицей, — искренне ответил юноша...

ГЕРОИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Он и сам не помнил впоследствии, где произошел этот «исторический» разговор. Кажется, в кафе «Эдиссон», расположенном напротив газеты «Пешти напло»: одно время он работал там музыкальным критиком под руководством «самого» Ференца Мольнара. Блестящий журналист, остроумный, порой едкий собеседник, одаренный ироничным романист и новеллист, Мольнар еще не нашел в ту пору главной точки приложения своей недюжинной силы — театральной драматургии, принесшей ему позже мировую славу. А покамест он был признанным главой молодого литературно-театрально-музыкального Будапешта. И в тот раз, как

положено, застолье возглавлял Мольнар, с редким изяществом управляя разговором. А кто еще был там? Старые товарищи по консерватории: Виктор Якоби, уже сделавший себе имя опереттой «Высокомерная дочь короля», дававшей полные сборы в Народном доме, Альберт Сирмаи, не уступавший ему в одаренности, поэт и автор песенных текстов Ене Хелтаи — он, по обыкновению, помалкивал, набрасывая какие-то строчки в растрепанном блокноте, подсаживался к столу всесильный директор Королевского театра Ласло Беоти, перед которым трепетали все, кроме Мольнара, пришвартовывались и отчаливали еще какие-то люди: либреттисты, газетчики, начинающие литераторы — завсегдатаи журналистско-музыкального рая.

О спутниках своей молодости Кальман оставил теплые, даже нежные (у этого молчуна и угрюмца была чувствительная душа, на редкость склонная к дружбе) и превосходно написанные воспоминания. Незаурядный литературный дар сочетался в них с умным и памятливым сердцем. Как жаль, что друзья не ответили ему тем же и не сохранили для потомства черт молодого, слегка робеющего перед авторитетами Кальмана. Это было бы важнее для истории, нежели их собственные портреты, набросанные его рукой.

Но это — так, к слову. Что же касается молодых людей, собравшихся в «Эдиссоне», то, не ведая судьбы и будущего, грядущих успехов и разочарований, взлетов и падений, преисполненные честолюбивых надежд и веры в свою счастливую звезду, они сидели над остывающим мокок и клешнями вытягивали из Кальмана рассказ о его недавней поездке в Берлин, куда он отправился с учебными целями на завоеванную им академическую премию Роберта Фолькмана. Соль этой истории, известной Сирмаи и Якоби, состояла в том, что Кальман, охваченный внезапной губительной страстью, за неделю истратил всю премию-стипендию на впервые увиденные такси. Вначале неуверенно, но постепенно разогреваясь от непривычного внимания слушателей, он поведал, как, робея, опустился на пружинящее сиденье, оперся о тугую спинку, и тут улица со всеми домами, витринами, полосатыми тентами кафе, фонарями, киосками, деревьями в железных клетках, пешеходами, извозчиками и отмечающими каждый перекресток жрицами любви стремительно понеслась назад, спазмом восторга перехватило дух, и он понял, что ничего лучшего не будет в его жизни. Он провел несколько дней в сладком бреде, не увидев при этом города, ибо все мелькало за окошками такси слишком быстро, не позволяя взглянуться и в себя

самого, а когда очнулся, то едва наскреб на обратный путь.

— Мотовство тебя погубит, — сказал Мольнар под дружный смех компании, хорошо знавшей прижимистость Кальмана. — Но рассказывать ты умеешь, не ожидал от тебя такой прыти.

Смутившийся было Кальман расцвел — подобная похвала была крайней редкостью в устах Мольнара, который, как и все краснобаи, мог долго слушать лишь самого себя.

Крестным отцом Кальмана в этой компании был добрый Виктор Якоби. Ему хотелось, чтобы его протеже развил свой успех.

— Послушай, Имре, ты ведь ничего не рассказывал нам о поездке к Никишу.

— К Никишу? — потрясенно повторил Мольнар.

Встретиться с величайшим дирижером мира и не развонять об этом на весь свет — было выше его понимания. Стоит повнимательней приглядеться к этому флегматичному парню.

— Да это уже давно было, — скромно заметил Кальман.

— Исторические события только выигрывают в отдалении. — Мольнар взял себя в руки и вновь обрел привычный насмешливый тон.

— Ну, будь по-вашему. Я приехал к Никишу после того, как тщетно пытался опубликовать свои лучшие сочинения: фортепианные пьесы, скерцо для струнного оркестра и «Сатурналии». Я просил совсем немного, но издатель заявил, что нотная бумага обойдется ему дороже. И тогда я помчался в Мюнхен к Никишу.

— Ты хотел поручить ему издание своих произведений? — невинно спросил Сирмаи.

— Не совсем так, — хладнокровно отпарировал Кальман. — Я просто думал, что он истосковался по хорошей музыке.

— Великолепно! — вскричал Мольнар.

Подошел официант и хотел забрать чашку Кальмана, но тот быстрым движением защитил черную гущу.

— Ваш кофе остыл, господин Кальман. Я принес горячего.

— Вы что, забыли? Я люблю остывший кофе.

— Дайте господину кофе и впишите в мой счет, — распорядился Мольнар.

Кальман быстро опрокинул в рот гущу и взял новую чашку.

— Я люблю холодный кофе, но еще больше — горячий, —

сказал он официанту, — особенно когда за него платит господин Мольнар.

— Услышим мы про Никиша или нет? — не выдержал Якоби.

— Какой ты нетерпеливый, Виктор! — Кальман с наслаждением отхлебнул горячего ароматного кофе и стал обрезать кончик сигары. — Никиш жил в отеле «Четыре времени года». О, это человек! Я принес ему «Сатурналии». Великий дирижер и безвестный композитор сидели рядом, он читал партитуру, что-то бормотал, порой напевал, размахивал руками, а я не смел дышать. «Хорошая работа, малый!» — сказал он от души. — Нужно и впредь быть таким же прилежным. Как тебя зовут, сын мой, я что-то забывал. Он спрашивал меня об этом уже в третий или в четвертый раз, и я гаркнул изо всех сил: «Эммерих Кальман». «Хорошо звучит, мой мальчик, но я не страдаю глухотой, как Бетховен. Так вот запомни: оркестр — это альфа и омега музыки. Ты и должен его знать от альфы до омеги. С завтрашнего дня я начинаю дирижировать «Мейстерзингерами», приходи, я посажу тебя в оркестр — к скрипкам. Следующий раз — к ударным, потом — к духовым». Он выполнил свое обещание. Смотреть, как он дирижирует, — райское наслаждение.

— Я думаю! — пылко воскликнул Якоби. — Он несомненно полюбил тебя.

— Да. Я глубоко запал ему в душу. Когда мы расставались, он спросил, как меня зовут. Я тихо ответил: Виктор Якоби.

— Вот нахал! — вскричал Якоби.

— Никиш поглядел на меня пристально и сказал: зачем же вы подсунули мне сочинения какого-то Кальмана?.. Расстались мы душевно, но помочь мне в издательских делах он наотрез отказался: «Это безнадежно. Кому нужна сейчас серьезная музыка?» Но после его похвал я вновь обрел уверенность и принялся обходить мюнхенских издателей. Эти негодяи даже не стали со мной разговаривать.

— Неслыханно! — произнес Ференц Мольнар — не понять, всерьез или в шутку. — Не стали разговаривать с автором «Сатурналий», с самим Эммерихом Кальманом!

— Пусть они не слышали моего имени, музыка говорит сама за себя. Неужели «Сатурналии» и «Принц Эндре» так и будут валяться в моем письменном столе?

— Невероятно! — откликнулся хор.

— Если дальше так пойдет, я сделаю что-то ужасное, — зловеще произнес Кальман и отхлебнул кофе.

— Кого-нибудь убьешь?.. Наложить на себя руки? — поинтересовался Мольнар.

— Хуже... — и Кальман сказал загробным голосом: — Я напишу оперетту.

Собеседники Кальмана отозвались стоном на эту чудовищную угрозу. Взгляды посетителей дружно обратились в их сторону. Ференц Мольнар сделал вид, что лишился чувств...

Поначалу ничто не предвещало того, что Кальман всерьез намерен осуществить свою ужасную угрозу. Напротив, словно испугавшись кощунственных речей, он налег на серьезную музыку: создал несколько «возвышенных» номеров для патристической комедии «Наследство Переслени», посвященной народному герою Венгрии Ференцу Ракоци и его сподвижникам-куруцам, симфоническую мелодраму, которой сам дирижировал, и тут поступило неожиданное предложение от довольно известного издателя сочинить песенку для нового кабаре. И хотя автором текста был его приятель, талантливый Хелтаи, Кальман почувствовал себя оскорбленным. Ему, автору «Сатурналий», «Эндре и Иоганны», предлагают унизиться до шлягера, к тому же в тайном соперничестве с другими композиторами, видать, издатель не слишком-то доверял его способностям. От закрытого конкурса с премией в сорок крон Кальман с негодованием отказался, но песенку на слова Хелтаи написал... через час после разговора с издателем.

Он и сам не мог взять в толк, как это произошло. В голову назойливо лезли задорные куплеты со смешным припевом: «Я комнатная киска Шари Фёдак». Красивая, осанистая и при этом живая, как ртуть, Шари была звездой будапештской оперетты и варьете. Музыка возникла будто сама собой, без того высокого, но тягостного напряжения, которое требовалось для симфонических поэм, скерцо и сонат. Те дети рождались в мучительных потугах, этот младенец сам выскочил на свет божий. «Тут нет творчества», — решил Кальман, — просто игра», но песенку все же отнес в издательство. Случайно там находился Хелтаи. Издатель и поэт пришли в неопишуемый восторг. Кабаре «Бонбоньерка» вскоре открылось, и гвоздем программы стала песенка «про комнатную киску Шари Фёдак». Ее запел весь город, и Кальман испытал сложное чувство удивления, легкого стыда и сожаления, что скрыл свое авторство под псевдонимом. Все-таки нелегко после песен о бесстрашных куруцах воспевать кошечку опереточной дивы. Но сожаление усилилось, когда блистательная Шари услышала

эту песенку и забрала себе. В первом же ревю Королевского театра Фёдак — в забавной маске, с таксой Буберль, в роли кошечки, на руках — с оглушительным успехом исполнила эту пародийную песенку. Безымянный автор шлягера стал самым популярным композитором в столице Венгрии. Свою следующую песенку, написанную также в содружестве с Хелтаи, Кальман, отбросив ненужную щепетильность, выпустил под собственной фамилией и не прогадал — новый шлягер затмил первый...

Сочинять такие веселые, искристые мелодии — одно удовольствие, но точила мысль, что это измена своему предназначению, святой муке творчества. Ведь творчество — это тяжкий труд, бессонные ночи, черный пот неудач, изнурительных преодолений. А тут без всяких усилий с твоей стороны начинал бить музыкальный фонтанчик, успевая лишь подставлять ладони под сверкающую струю.

Оказывается, вселенная напоена дивными мелодиями, надо только уметь расслышать их в какофонии безалаберного бытового шума суетливой жизни. Ни к чему «придумывать» созвучия, искусственно возбуждая в себе творческий стимул воспоминанием древних напевов, находок великих предшественников, уроков сурового профессора Кесслера, неистового почитателя немецких романтиков; откройся потоку ликующих звуков, даруя им всеобщую жизнь в целостной, совершенной форме.

Когда Кальман принялся за первую свою оперетту «Осенние маневры» (в начальной редакции — «Татарское нашествие»), охмеленный все той же победной легкостью, его вдруг осенило: а что, если и великие: Бетховен, Шуман, Лист, Чайковский — именно так создавали свои бессмертные творения — не вымучивая величественный громозд из дремлющей души, а выражая себя напрямую с естественностью дыхания. Это откровение подарило ему крылья, и захотелось навсегда сохранить окрыленность. С симфоническими и сонатными упражнениями было покончено.

Ах, какое облегчение он испытал, соединившись с собой настоящим в том светлом мире, где горе и напасти преходящи, где страдания отступают перед напором побеждающей радости, где любую беду, любую печаль ничего не стоит переплавить в солнечное золото. Следует сказать, что внутренняя перемена почти никак не отразилась на его внешнем поведении. Взгляд его оставался печальным, он по-прежнему не ждал милостей от судьбы.

Встреча с театром отнюдь не способствовала пробуждению оптимизма. Прекрасное кончилось, когда он поставил

точку в партитуре. Правда, потом оказалось, что это весьма условная точка. А дальше... Прежде всего — оперетту негде поставить. Старый друг, директор Ласло Беоти, отказал в дебюте молодому безвестному сочинителю музыки, в которого мгновенно превратился «самородок» Кальман, как только осмелился предложить свою «скороспелку» Королевскому (!) театру. Конечно, Беоти облек свой отказ в любезнейшую форму, он даже не отказал, а дружески предупредил Кальмана, что репертуар забит, а на очереди — несравненная «Греза вальса», вот если потом... Но как ни зелен был Кальман, он хорошо знал, что значит директорское «потом». «Старую лису не поймашь в самодельный капкан», — посмеивались в кофейнях, узнав о ловком отказе Беоти. «Старик пошел в церковь возблагодарить святого Антония, что тот помог отделаться от ребяческих упражнений Кальмана», — острили в канун премьеры. «Беоти небось рвет на себе остатки волос», — зубоскалили те же остряки во время премьеры, состоявшейся в Театре комедии. Да, первая оперетта Кальмана «Татарское нашествие» была поставлена на сцене драматического театра.

Но до того как она состоялась, Кальман прошел через все круги ада, кошмары, напоминающие болезненные видения Иеронима Босха. Актеры издевались над ним, как хотели. Последний удар нанесла примадонна Корнаи, исчезнувшая перед самой премьерой. До этого она заявила, что ее выходная песенка никуда не годится, разрыдалась, надавала пощечин директору, была уволена и скрылась невестой где. Трясаясь в наемном фиакре от одного предполагаемого убежища дивы к другому, Кальман научился записывать ноты на манжетах. Он сочинял новую выходную арию. С примадонной дело было наконец улажено, а Кальман утратил остатки доверия к жизни.

И все же наступило то неправдоподобное утро, когда позади осталась премьера с бесконечными вызовами, цветами, овациями, затянувшийся на всю ночь банкет — праздник победы — с речами, слезами и поцелуями, с сенсационным сообщением Мольнара, что Беоти нашли повесившимся на театральной люстре, и одуревший не от вина (он почти не пил), от усталости и успеха, оглушенный восторженными речами, помятый дружескими объятиями, зацелованный сладкими губами актрис, источавшими прежде лишь змеиный яд, Кальман обнаружил, что в полном одиночестве бредет по улице в сторону своего дома.

Утро только занялось, а трудолюбивые дворники широкими полукружьями уже гоняли метлы по будапештским

тротуарам. Внезапно Кальман замер. Пожилой дворник с солдатской выправкой и седыми усами, чуть приплясывая и делая скребком ружейные приемы, напевал лучший номер оперетты: «А это друг мой Лёбль». Делал он это на редкость ловко и ритмично и, не зная, что за ним наблюдают, от души упивался театром для себя.

Кальман ушам своим не верил: трудно предположить, что дворник был на премьере или на генеральной репетиции, откуда же знает он и слова, и мелодию? И тут двигавшийся по другой стороне улицы молодой дворник отозвался своему старшему коллеге мелодичным свистом, воспроизводя ту же мелодию.

— Откуда вы знаете эту песенку? — спросил Кальман усатого дворника.

Тот глянул на кутилу во фраке и небрежно бросил:

— Кто же ее не знает?.. Весь Будапешт поет.

— А кто автор?

— Какой еще «автор»?

— Ну, кто эту песню сочинил?

— Да кто его знает!.. А вы, молодой человек, ступайте-ка домой да проспитесь хорошенько.

Дворник двинулся дальше, напевая: «А это друг мой Лёбль», а Кальман пошел своей дорогой и вскоре услышал, как его песенку распевает служанка, моющая окно.

А потом он услышал, как проборматывает куплеты о друге Лёбле толстая торговка овощами и фруктами, опрыскивая водой свой аппетитный товар. Кальман остановился, ему вспомнилось.

...Начало его будапештской жизни. Благовоспитанный мальчик из хорошей, хотя и разорившейся, семьи замер перед горкой спелых, налитых соком персиков, и слюна наполнила рот, — он так давно не пробовал этих прекрасных плодов. Искушение было слишком велико, и, когда торговка отвернулась, он схватил персик. Ушлая баба видела спиной, она молниеносно рванулась к нему, выхватила персик и, заметив, что тот помят пальцем, расплющила переспелый плод о лицо похитителя. Сладкая жижа заполнила глазницу, потекла по щеке, да в рот не попала. Ослепленный, он кинулся бежать, наталкиваясь на прохожих, а вслед ему несло: «Воришка проклятый! Ты кончишь на виселице!..»

Он подошел к лотку, быстрым движением схватил персик и сунул в карман. И, как прежде, торговка мгновенно обернулась, но, увидев респектабельного господина, лстыиво засмеялась. Кальман кинул мелочь в корзину для денег.

— Видите, я все еще не кончил жизнь на виселице, — сказал он.

— Занятный господин! — усмехнулась продавщица. — Виселица не для таких красавчиков.

— А вы мне это когда-то предсказали. Я украл у вас персик. Неужели не помните?

— Да разве всех воришек запомнишь?.. — она вновь занялась своим делом, напевая про Лёбля.

— Вы поете мою песенку, — сказал Кальман.

— Почему вашу? Она всеяная.

Кальман как-то странно посмотрел на продавщицу: на миг ему почудилось, будто он и впрямь самозванец, похитивший общее достояние.

И еще несколько раз, пока он добирался до дома, «друг Лёбль» настигал его слух. В этот день и во многие последующие Будапешт был озабочен лишь одним: посердечнее представить своего друга Лёбля, а затем эта «зараза» перекочевала в Вену, Берлин, Стокгольм, пришла в Россию, только оперетта обрела иное название — «Осенние маневры». Об руку с другом Лёблем начал Имре Кальман свое триумфальное шествие по планете...

МАРШРУТ «БУДАПЕШТ — БЕССМЕРТИЕ»

Это было похоже на семейный совет, хотя все знали, что решение уже принято. Не скажешь даже, как это случилось, наверное, оно было заложено в самом предложении Лео Фалля, автора знаменитой «Принцессы долларов», и директора театра «Ан дер Вин» Вильгельма Карчага (дяди Вильмоша): в Вену дважды не приглашают, тем более с гарантией (пусть словесной) незамедлительно выпустить твою оперетту — в новой редакции — на сцену.

Но мама Кальман проплакала весь долгий воскресный обед, а сестры хлюпали носами. Но о сестрах Имре не очень беспокоился: прослезят носовые платочки и вернутся к своим делам, а вот мама...

— Не плачь, мамочка, — в который раз просил Имре. — Я же скоро вернусь. Вена — не Аляска, всего несколько часов на поезде.

— Ты никогда не вернешься, сыночек. Не обманывай себя.

— Тогда я вовсе не поеду, — с тяжелым вздохом сказал Имре.

— Погоди, Имре, ты слишком горяч,— вмешался отец, хотя к сыну такое определение подходило, как к холодцу из судака.— Тебя пригласили директор «Театра ан дер Вин» и сам Лео Фалль, разве таким людям отказывают? Это твой величайший шанс.

— Но раз мама не хочет...

— Мама — слабая женщина, но от тебя я ожидал большего мужества и... благоразумия. Все-таки ты сын крупного коммерсанта... Пробовал ты подсчитать, сколько может дать твоя оперетта исходя из численности населения Будапешта и даже всей Венгрии?

— Пробовал,— скромно сказал сын и вынул из жилетного кармана какой-то листок.— Тут несколько вариантов. Первый — если каждый житель ходит на спектакль один раз, второй, если он ходит дважды, третий, если трижды.

— Оказывается, ты вовсе не такой безумец! — с легким удивлением и законной отцовской гордостью проговорил старый Кальман.— Вот что значит хорошая наследственность. Итак — общий вывод?

— Будапешт не самый большой город в мире...

— Это не главное...

— Я не договорил. Никто из наших не вырвался на мировую сцену. Якоби мечтает о Франции, Сирмаи — об Америке...

— Есть еще Ференц Легар.

— Он стал Легаром, когда уехал в Вену. Здесь провинция, отец.

— К сожалению, ты прав. У нас великолепные композиторы, отличные театры, талантливейшие актеры, но мы — задворки Австро-Венгерской монархии. Изменить это не в силах ни я, ни ты, даже великий Кошут потерпел поражение. Значит, надо принять приглашение. Пора более энергично помогать семье. В тебя был вложен капитал, хотелось бы увидеть проценты.

— Какой капитал? — болезненным голосом спросила мама Кальман.— Что ты несешь?.. Мальчик работал с десятилетнего возраста.

— Пройдем в кабинет, Имре,— чуть нервно сказал папа Кальман.— Мне надо дать тебе несколько деловых советов.

— Только не слушай их, сынок, не то останешься банкротом,— и, пустив эту отравленную стрелу, мама Кальман залилась тихими слезами.

Отец с сыном вошли в кабинет.

— Имре, тебя, конечно, удивит, что твой старый отец

собирается наставлять тебя в музыке. Но тот, кто разбирается в зерноторговле, разбирается во всем. Мама считает меня негодным коммерсантом, потому что я разорился. Но ведь моя цель в ту пору была — Шиофок, а не личное обогащение. И разве я не достиг, чего хотел?.. Шиофок — жемчужина Венгрии. Ты едешь в Вену — это правильное решение, единственно правильное, здесь каши не сваришь. Будапешт — место для непризнанных гениев, талантливых неудачников или всего добившихся старцев, как Ференц Лист. Прежде чем перейти к главному, скажи: после возвышенных «Сатурналий» тебе противно писать о своем друге Лёбле?

— Ничуть! — искренне ответил Имре.— У меня — как гора с плеч. Я тянулся за Бартоком и Кодаем, но это все не мое. А теперь я нашел себя. Только поди объясни это критикам.

— А зачем? Ну их к бесу, этих злобных неудачников. Ты создан для успеха, для настоящего, большого успеха. Но венцы не лыком шиты. Не пытайся победить наследников Штрауса их же оружием. Это удалось Легару, но он платил успех потерей своей венгерской сути. Он растворился в стихии венского вальса. Сладкий, плавный, нежный вальс! Тут тебе не переплунуть Легара. Твой слух воспитан чардашем. Держись за него, и он вынесет тебя на гребень волны. Сохрани лицо — это главное. И у тебя есть юмор, плутишка! Используй его. Ты победишь. Поверь человеку, знающему толк в делах. Ничто так не близко друг другу, как оперетта и коммерция. Кстати, одолжи мне двести шиллингов, чтобы стало ровно шестьсот сорок. За мной не пропадет... Не будем устраивать пышных проводов и волновать мамочку. Завтра я сам отвезу тебя на вокзал.

Так и сделали. Папа Кальман говорил без умолку и этим не то чтобы скрасил, а смазал тягостные и патетические минуты расставания. Имре опомниться не успел, как они оказались на перроне Восточного вокзала. Поезд давно подали, на вагонах висели дощечки «Будапешт — Вена». Предъявив билет кондуктору, отец с сыном прошли в купе, пристроили в сетке тощий чемоданчик путешественника, и почти сразу ударил вокзальный колокол.

Потом Кальман часто вспоминал, как отец, все убыстряя шаг, но неуклонно отставая, бежал за поездом — одна рука на сердце, другая размахивает шляпой — и кричал:

— Полный вперед, мой мальчик!.. Маршрут: «Будапешт — Бессмертие!..»

В тот вечер Кальман, как всегда, отправился в кафе неподалеку от театра «Ан дер Вин», где собиралась венская театральная, музыкальная и литературно-журнальная братия. Лавируя между столиками, он слышал злобные пересуды завсегдатаев:

— ...новый венгерский сувенир. Пришел, увидел, победил!..

— Это все Лео Фалль. Приволок его сюда после триумфального шествия по будапештским борделям.

— Если хотите начистоту: музыка «Осенних маневров» вовсе не опереточная. Она слишком перегружена...

— Вы с ума сошли! Этот мужлан не знает азов...

— Простите, он все-таки ученик Кесслера!

— Он недостойн своего учителя. Старик переворачивается в гробу.

— Кесслер живехонек.

— Не думаю. Его убили на «Осенних маневрах»...

Кальман невозмутимо продолжал свой путь. Он привык к змеиную шипению «знатоков» оперетты, к свирепым — порой до неприличия — разносам критиков (они будут преследовать его и за гробом), к завистливым сарказмам менее преуспевших коллег — триумф «Осенних маневров» в Вене был оглушителен, и этого не могли простить «ревнители классических традиций» и злые карлики, крутящиеся возле искусства. Такие овации выпадали лишь на долю Иоганна Штрауса, изредка Миллекера, Целлера, но то были коренные венцы, позднее фурор произвела «Веселая вдова» Ференца Легара, но за привычными венскому уху созвучиями знатоки не уловили новаторства венгерского маэстро. А с Кальманом получилось черт знает что — пряное, переперченное блюдо дерет и обжигает глотку, а тянешься почему-то за новым куском. Необычно, неслыханно, неприемлемо по ритму и всему музыкальному языку. Легар искупал грех своего происхождения изумительным мелодическим даром и приверженностью к вальсу, а этот будапештский мужлан бьет по ушам цыгано-венгерским чардашем. Но театр содрогается от восторгов, померкли недавние кумиры, и рутине, косности, глухоте к новому остается последнее прибежище — злоязычие.

Конечно, приятно, когда тебя напропалую хвалят, когда тобой все восхищаются, но Кальман, понимая, что находится на вражеской территории, довольствовался признанием нескольких друзей и успехом у рядовой публики, под-

тверждавшей свою любовь самым прямым и надежным способом: сплошными аншлагами.

И он, не убыстряя шага, спокойно шел сквозь строй карателей, не отзываясь ни вздрогом плоти, ни вздрогом души на удары словесных шпицрутенов.

Он пробрался в дальний угол кафе, где сидела компания его венских знакомых, заказал кружку пива и уселся чуть в сторонке, слившись с тенью своим костюмом, темным галстуком и загорелой лысоватой головой. Ухоженные корректные усы дарили завершающий штрих внешности преуспевающего делового человека.

К столику подошли еще трое: двое элегантных мужчин и высокая стройная дама с плавной, чуть лунатической повадкой. Дама, видимо, хорошо тут всех знала и не испытывала к присутствующим повышенного интереса. Привлек ее тихий человек, сидящий чуть на отшибе. Возможно, его изолированность задела отзывчивое сердце.

— Здравствуйте,— сказала она, улыбнувшись какой-то далекой улыбкой.— Наконец-то новое лицо. Будем знакомы — Паула.

— Кальман,— приподнявшись, назвал себя композитор.

— Эммерих? — сказала дама и рассмеялась.

Он не понял причины ее внезапной веселости.

— Эммерих... К вашим услугам. Дома я — Имре.

Женщина снова засмеялась. Возможно, перед приходом сюда она выпила бокал-другой, чем и объяснялась эта беспричинная смешливость. Ее бледное с ореховыми глазами и тенями под ними, с мягкими чертами лицо не говорило о природной веселости, скорее — о глубоко запрятанной печали.

— Приятно быть тезкой и однофамильцем знаменитости?

— Не знаю,— серьезно ответил Кальман.— Мне не доводилось.

— Но вы же Имре Кальман? Или я совсем оглохла?

— Имре Кальман.

— Автор «Осенних маневров», что свели с ума старушку Вену? — Она опять засмеялась.

Недоумение Кальмана росло. Женщина ему нравилась, но сейчас в нем стало закипать раздражение.

— Да, да, да!.. «Осенних маневров» или «Татарского шествия» — как вам будет угодно.

— Кальман — высокий блондин с волосами до плеч. У него романтическая внешность, и все женщины от него без ума.

— Точный портрет!.. Спросите этих господ...

— Они вечно всех разыгрывают. Надоело. Вы трепач, но симпатичный. Я люблю таких людей, хотя всю жизнь имела дело с горлопанами и устала от них. Только зачем вы врете? — И очень музыкально, поставленным голосом она запела: «Дас ист майн фройнд дер Лёбль».

В углу стояло миниатюрное французское пианино. Кальман подсел к нему и заиграл импровизированный вариант шлягера, переведя мелодию в вальс из своей оперетты. Он проделал это с редкой виртуозностью, украсив финал головоломными пассажами.

— Паула,— сказала женщина, протянув ему тонкую породистую руку; она не забыла, что уже называла себя, просто зачеркивала первое, несерьезное знакомство.

— Имре Кальман,— поклонился тот.

— Теперь я и сама знаю. Я влюблена в вашу музыку. Ни у кого нет такой свежести. Венцы надоели, они все повторяют друг друга.

— Тем горше разочарование...— сказал Кальман и покраснел.

— Разочарование — в чем?

— Исчез высокий романтический герой, любимец женщин.

— Ну и черт с ним! — прервала Паула. — Это такая скука — я знала бы наперед каждое его слово. Все высокие блондины одинаковы, как венские вальсы.

— Боже мой, вы дарите мне надежду...— Кальман опять смутился и замолчал.

Паула смотрела на него дружески, даже нежно.

— Какой вы милый! Вы еще не разучились смущаться. Договаривайте!

Раз в жизни надо уметь решиться, и Кальман со смертью в душе произнес:

— Уйдем отсюда.

Паула даже не оглянувшись на своих спутников...

...Они шли по ночной Вене, выбирая тихие улицы со спящими деревьями.

— Мне нравится слушать, а не говорить,— убеждала Кальмана Паула. — А вы, наверное, чересчур намолчались в нашей Вене. Я же знаю всех этих людей: они начисто лишены способности слушать. Все сплошь остроумцы, блестящие рассказчики, спорщики, трепачи.

— Я не большой говорун,— признался Кальман. — Куда охотнее слушаю других.

— Тогда мы оба будем молчать.

— Это не так плохо.



— Но не с вами. Мне многое интересно. Вы блестящий пианист, но в легенде о Кальмане об этом не упоминается.

— Вы затронули мое больное место. Я мечтал стать виртуозом. А потом со мной случилось то же самое, что с моим кумиром Робертом Шуманом — отказал сустав мизинца. Один сустав, но все было кончено. Правда, в случае с Шуманом мир потерял неизмеримо больше, но для меня лично это оказалось тяжким ударом.

— А кто ваш главный кумир?

— Ну, как у всех венгров, — Ференц Лист. Но; если по секрету, — Чайковский.

— Скажите, Имре, как случилось, что вы выскочили, точно чертик из банки? Где вы были раньше?

— Писал серьезную музыку. Кроме того, дебютировал в качестве адвоката и позорно провалился. Потом плюнул на все и занялся своим настоящим делом.

— Вы совсем не похожи на автора легкой музыки.

— Вы хотите сказать, что я скучный человек?

— Нет. Серьезный. Это совсем другое.

— Легкая музыка — дело серьезное. И разве вы не замечали, что комики, юмористы, клоуны, паяцы, все профессиональные весельчаки — грустные люди... Скажите честно, я вам уже надоел?

— Нет.

— Вас ждет друг?

— У меня нет друга... Только прошу вас, не предлагайте мне дружбы.

— Почему? — огорчился Кальман.

— Потому что она уже принята.

— Вы пойдете ко мне? — сказал Кальман и умер.

— Конечно, — услышал он и воскрес.

— Вы будете первой... первой... — дыхание его пресеклось.

— Не станете же вы утверждать, что я буду первой женщиной в вашей жизни? — отчужденно сказала Паула.

— Нет, конечно. Но первой порядочной женщиной...

«ЦЫГАН-ПРЕМЬЕР»

Завоевать успех оказалось куда проще, чем его сохранить, а тем более развить. Кальман слишком заторопил путь к славе. Не дав публике оправиться от потрясения «Осенними маневрами», он наскоро сработал «Отпущника» и пос-

тавил в Будапеште. Нельзя сказать, что это был полный провал, но новых лавров молодой композитор явно не стяжал. Венский вариант — «Добрый товарищ», несмотря на серьезные исправления в либретто и перемену названия, постигла та же судьба. Поезд в Бессмертие оказался вовсе не курьерским, а пассажирским — со всеми остановками.

Склонному к панике Кальману уже мерещился материальный и моральный крах, бесславное возвращение по шпалам домой во тьму забвения. Но рядом была умная, преданная и мужественная Паула Дворжак, она не дала ему пасть духом, опустить руки. Кальман всегда придавал большое значение быту, Паула устроила его жизнь так, что и в минуты крайнего упадка сил Кальман не шел на дно. Они занимали скромное, но отмеченное артистическим вкусом Паулы жилье, на улице, носившей символическое, как считал Кальман, название Паулянергассе. Тут не было ничего, что связывалось у сына шиофокского зерноторговца с представлениями о богатстве: ни ампирной мебели, ни антиквариата, никаких хрупко-шатких безделушек, но красивый букет на столе, два-три офорта на стенах, яркая ткань, небрежно кинутая на диван, веселые занавески придавали неброскому обиталищу уют и даже изящество. И был вкусный, обильный стол — любимую ветчину он покупал собственноручно, остальное будто падало с неба, — крайне осмотрительный в денежных тратах Кальман не расщедрился на хозяйство. Но они жили, держали бестолковую, зато дешевую служанку-кухарку, не жалели крепкого кофе для либреттистов, изредка принимали друзей.

Паула заботилась не только о требовательной плоти Кальмана, она внушала ему: не стремись быть таким, как другие, ищи свое.

Старый будапештский цыган-скрипач Радич, сам того не ведая, помог Кальману вернуться к себе настоящему. Радич был типичным ресторанным цыганом: он ходил от столика к столику со своей скрипочкой, в потертых бархатных штанах и жилетке, что отвечало традиционному образу «сына шатров», не брезгуя подачками, охотно принимая кружку пива или стакан вина; Кальман поднял его на высоту артиста, вложил ему в руку скрипку Страдивария и дал грозного соперника в любви и музыке — родного сына Лачи, виртуоза новой формации. Либреттисты Вильгельм и Грюнбаум — под ревнивым присмотром самого маэстро — силились как можно эффектней развенчать уходящую романтику в образе Радича — Пала Рача и привести к заслуженной победе его сына, человека сегодняшнего дня с кон-

серваторским образованием и светским лоском. Поскольку Кальман в глубине души был на стороне развенчанного кумира с его необузданным нравом и стихийным даром, всю музыкальную силу он отдавал старому цыгану-примасу.

Кальман не принадлежал к тем композиторам, что сочиняют музыку про себя, хотя, случалось, набрасывал целые номера прямо на крахмале манжет, ему необходимо было, чтобы звуки немедленно обретали жизнь в пространстве. И он обычно импровизировал за роялем, ища нужные созвучия.

Он любил работать в ранние утренние часы, когда Паула бесшумно прибирала в комнатах, — они не мешали друг другу. Но в тот раз рояль вдруг зазвучал как-то необычно, словно решив открыть свою тайную душу, и Паула замерла, совсем забыв об уборке. В том, что играл Кальман, звучала пронзительно-печальная скрипка одинокого цыгана его детских грез.

Кальман кончил играть. Паула подошла к нему, обняла.

— Как хорошо, Имре!.. Но я не пойму, это твое или народное?

— А я и сам не пойму, — простодушно отозвался Кальман. — Года два назад я встречался с Дебюсси в Будапеште. Он тогда открыл для себя венгерскую народную музыку и влюбился в нее. И заклинал нас шире пользоваться народным мелосом. Не копировать, конечно, а пытаться передать его свободу, скорбь, ритм и дар заклинания. Недавно я вспомнил, что мой отец говорил то же самое, что и великий Дебюсси: держись за свою землю. А я польстился на австрийские штучки. Короче говоря, «Цыган-премьер»...

— Писатели пришли! — объявила, заглянув в комнату, краснорожая от жара плиты кухарка.

— Меня нет! — тонким голосом вскричал Кальман и кинулся в спальню.

Паула вышла в коридор и почти сразу вернулась.

— Имре, выйди, что с тобой?

Кальман осторожно глянул, на лице его истаявал след пережитого испуга.

— Это твои либреттисты. Ты же сам им назначил.

— Чертова баба! — рассвирепел Кальман. — Зачем она заорала «писатели»?

— Ты хочешь, чтобы кухарка так тонко разбиралась в литературе?

— У нас в семье «писателями» называли судебных инспекторов, которые описывали имущество после банкрот-

ства отца. У меня навсегда остался страх перед этим словом. Вообще, все дурное во мне с той поры. Это был слом жизни, потрясение, от которого я так и не оправился. Я был веселым, приветливым, доверчивым мальчиком, но после мне уже никогда не было хорошо. Когда кухарка крикнула: «Писатели!» — я сразу решил: ты наделала долгов, и нас пришли описывать.

— Может, хватит?.. Давай лучше поговорим об оперетте. Как все-таки вы ее называли?

— Мне хотелось «Одинокий цыган» или «Старый цыган», но либреттисты настояли на «Цыгане-премьере». Австрийская традиция: если девка, то непременно «королева», «принцесса», на худой конец, «графиня», если цыганский скрипач, то «премьер». «Одинокий», «Старый» — грустно, а оперетта не терпит грусти. Хотя у меня речь пойдет как раз о неудачнике. Но пока публика разберется, дело будет сделано. Надо было отстоять свое название, но я боюсь провала. Особенно после неудачи «Отставника». Я всего боюсь: новых знакомств, директоров, критиков, людей в форме. Я смертельно боюсь провала и больше всего, с детства, боюсь нищеты. Я не завистливый человек, но завидую Шуберту. Он был кругом неудачлив, а пел: «Как на душе мне легко и спокойно». Вот счастливый характер!

Паула пристально смотрела на него.

— Удивительная исповедь!.. До чего странно слышать такое от создателя легкой музыки.

— Я, наверное, извращенец. Чем мне грустнее, тем больше хочется писать веселую музыку.

— Чудесно! Ты опереточный композитор милостью божьей. Это твой разговор с людьми, богом и собственной душой.

— Когда я выбрал оперетту, то вовсе не думал об этом, — признался Кальман.

— Естественно! Потому что не ты выбрал оперетту, а оперетта выбрала тебя.

Кальман посмотрел на Паулу с тихим изумлением.

— Ты все оборачиваешь в мою пользу.

— Я говорю чистую правду. И если хочешь знать, насколько я серьезна, то послушай не совсем приятное. Твоя способность создавать легкую музыку из тягот жизни когда-нибудь очень тебе пригодится. У твоего отца диабет, у меня пошаливают легкие, а наша старая такса совсем ослепла.

— Не надо!.. Не хочу!.. — замахал короткими руками Кальман.

— Надо, милый... Дай миру вальс из сахарной болезни, чахоточный канкан и матчиш слепоты.

— Ты страшновато шутишь; Паула.

— Самое страшное, что я вовсе не шучу.

— Писатели пришли! — объявила краснолицая кухарка.

Кальман побледнел. Паула бросила на него укоризненный взгляд.

— Милый, возьми себя в руки. Поработай хорошенько с Грюнбаумом и Вильгельмом и не давай им спуска. Трагедия оперетты — идиотские либретто.

— Уж я-то знаю! Хорошо было Оффенбаху, он пользовался пьесами Галеви и Мельяка.

— Выжми сок из этих завсегдатаев кофеев. Опрокинь на них, как помойное ведро, весь свой дурной характер.

— Постараюсь, — заверил Кальман.

— И мне будет немного легче, — пробормотала Паула про себя, отправляясь за либреттистами...

...Чем ближе подступал день премьеры, тем сумрачнее становился Кальман. И было с чего...

Он всегда приходил в театр до начала репетиции. Незаметно садился где-нибудь в сторонке и грустно размышлял о том, какие новые огорчения и каверзы готовит ему грядущий день.

В этот раз он едва успел занять место в полутемном зале, как к нему подседа субретка.

— Доброе утро, маэстро... До чего же точно вы назвали вашу оперетту «Цыган-премьер». Тут действительно один премьер — Жирарди, Александр Великий, как зовут его хлебатели, остальные все — статисты.

— Вы недовольны своей партией?

— Ее просто нет! — И субретка вскочила с подавленным рыданием.

Кальман был достаточно опытным композитором и знал, что за этим обычно следует: хорошо, если просто истерика, куда хуже — отказ от роли.

Он задержал актрису за руку.

— Сговоримся на дополнительном дуэте во втором действии?

— Мало, — жестко ответила крошка. — Мне нужна выходная песенка.

— Идет! Но вы будете хорошей девочкой и — никаких интриг против Жирарди.

— А песенку правда напишете?

— Слово!

— Где вы их берете?

— Я набит ими по горло, — он отпустил руку субретки, и та упорхнула.

Кальман вынул крошечный позолоченный карандашик и, поскольку под рукой не было ни клочка бумаги, стал записывать ноты прямо на манжете.

На стул рядом с ним тяжело опустился первый комик.

— Эта интриганка что-то выпросила у вас, — сказал он мрачно. — Я все видел. У меня нет ни одного танцевального ухода. Вы же знаете, что мое обаяние в ногах.

— Да уж, не выше, — пробормотал Кальман.

— Что?.. Не поняли?.. Или вы дадите мне уход...

— Дам! Уже дал. Но перестаньте сплетничать.

— Маэстро, как можно?.. — и довольный комик покинул Кальмана тем самым «уходом», который составлял его обаяние.

Пришлось пустить в дело вторую манжету. За скоропалительным творчеством Кальман проглядел начало репетиции. Очнулся он, когда Жирарди проходил свою коронную сцену.

Жирарди старался превзойти самого себя. Но Кальман, застенчивый, молчаливый, к тому же омраченный театральными склоками, равно как и боязнью провала, ничем не выражал своего восторга. Не выдержав, Жирарди оборвал арию и, наклонившись со сцены к сидящему в первом ряду автору, крикнул:

— Может, я вам не нравлюсь, приятель? Скажите прямо. Это лучше, чем сидеть с таким насупленным видом.

Все замерли. У режиссера округлились глаза от ужаса. Кальман, выведенный из своей прострации, не знал, что ответить. Разгневанный любимец публики сверлил его своим огненным взглядом. Премьера повисла на волоске.

— Я молчу, господин Жирарди, лишь потому, что слишком потрясен, — наконец проговорил Кальман. — У меня просто нет слов.

— Хорошо сказано, сын мой! — вскричал растроганный актер. — Дай я прижму тебя к своей мужественной груди. Не стесняйся, обними меня. Только не слишком крепко, мне надо сохранить ребра для премьеры.

Кальман встал, и они крепко обнялись, к великому облегчению присутствующих...

Вечером Кальман жаловался Пауле:

— Они вертят мною, как хотят. Разве мне жалко лишней арии, дуэта или шуточных куплетов? Но ведь существует целое, не терпящее лишнего. Даже великая ария,

если она не нужна, портит спектакль. Как можно быть настолько эгоистичными?

— Неужели ты до сих пор не понял актеров? — удивилась Паула. — Я ведь сама играла на сцене. Актеры — это дети, злые, легкомысленные, жадные и себялюбивые дети. Им наплевать на спектакль, лишь бы несколько лишних минут прокрутиться на сцене. Их извиняет только детскость, они не ведают, что творят. Но ты должен стать императором.

— Что-о?..

— Им-пе-ра-то-ром! Чтобы они ползали перед тобой на коленях!

— Этого никогда не будет, — со вздохом сказал Кальман.

— Будет. Ты сам себя не знаешь. Еще один такой успех, как у «Осенних маневров», и в Вене станет два императора: престарелый Франц-Иосиф и молодой, полный сил Имре Первый.

Кальман не поддержал ее шутливого тона.

— Несуеверно грезить о величии накануне премьеры. Все шансы, что я окажусь не на троне, а в помойной яме.

— Перестань, Имре! Это становится невыносимым. Все страхи уже позади. Жирарди, сам говоришь, бесподобен, актеры обожались своими ролями, оркестр сыгран, постановка — по первому классу. Любопытство публики раскалено...

— Тем хуже, тем хуже! — перебил Кальман. — Не всем по вкусу венгерская кухня.

— Что ты имеешь в виду?

— Это самая венгерская из моих оперетт. Я сделал ее на радость отцу. И еще у меня была мысль. Я даже тебе боялся признаться. Как бы ни сыграли «Цыгана» в Австрии, в Будапеште должны сыграть лучше. Я думал вытащить наш театр в Вену. Будапештская оперетта не высывала носа из своего закутка. С этим нельзя мириться. И я дал увлечь себя беспочвенному патриотизму.

— Но это же прекрасно, Имре! — вскричала Паула. — Ты благородный человек!

— Самонадеянный дурак!.. Какой успех, какие гастроли?.. Кого интересует старый цыган-неудачник?.. Им подавай принцесс и баронов.

— Музыка превосходна, и сюжет трогателен...

— Этого мало для успеха. Ах, Паула, ты же работала в театре и сама все знаешь. Жирарди выпил холодного пива на ветру и охрип, в примадонну стрелял любовник, дирижер подавился куриной костью, в середине действия

погас свет на сцене, субретка забыла роль, умер двоюродный брат эрцгерцога и объявлен малый траур, Турция напала на Бразилию, и Австрия не может остаться в стороне, в Кувейте поднялись цены на нефть. Герой-любовник шагнул с пистолетом к рампе, и рамолизированный сановник громко икнул со страха. Я уж не говорю о том, что сгорели декорации и умерла любимая кошечка директора. Все поггло, Паула, бедное дитя мое, зачем ты связала жизнь с таким несчастным человеком?!

— Успокойся, Имре. Жирарди бережет свое здоровье, как восьмидесятилетняя старуха миллионерша, у примадонны нет любовника, она любит женщин, сановник-рамоли умеет себя держать и ни при каких обстоятельствах не издаст лишнего звука, театр не сгорел. Все будет прекрасно, и твои родители будут гордиться великим сыном.

— Родители?.. Ты вызвала родителей? Этого еще не хватало. Бедный папа, он и так ослаблен диабетом, ему не выдержать провала.

На глаза Кальмана навернулись слезы.

— Горе ты мое!.. Твой отец веселый и мужественный человек. В кого ты такой нудный?

— В мамочку, — ответил сквозь слезы Кальман.

— Твоя мать спокойная, выдержанная женщина.

— Была когда-то. А сейчас все ее спокойствие на слезе.

— А ты чего так развалился?

— Брата вспомнил... Бедный Бела!.. Такой преданный и самоотверженный... отец постоянно ставит его мне в пример. Совсем больной, а работает не покладая рук... р-ради семьи...

— Он, видать, прекрасный парень. А не такой слюнтяй, как ты.

Рыдания душили Кальмана.

— Успокойся, милый, хватит!.. По-моему, ты расслезился на какой-нибудь хорошенький шлягер или бравурный марш. Скорей за инструмент, не теряй даром времени.

— Вечно ты смеешься надо мной, — укорил Паулу Кальман, — а мне так тяжело здесь, — указал он на кармашек куртки, подразумевая сердце, и, шаркая ногами, поплелся к инструменту.

Паула налила в блюдо молока и отнесла слепой таксе. Когда она вернулась, ее встретила бравурная мелодия, которой еще мгновения назад не существовало. Через годы и годы мелодия всплывет в сознании Кальмана и станет всемирно знаменитым дуэтом «Поедем в Вараздин!..».

...Паула и Кальман спали на широкой двуспальной, настоящей бюргерской кровати, способной вместить человек шесть. Тонкая рука Паулы невесомо покоилась на груди Кальмана, словно защищала его сердце.

Кальман спал тихо и печально, как и бодрствовал. Но вот дрогнули намеком на улыбку уголки губ: ему снился одинокий цыган, милый призрак детских лет, предвестник удачи. Цыган играл, забирая все выше и выше, вознося душу к бездонному небу, и вдруг с отвратительным звуком лопнула струна.

Кальман закричал, проснулся и сел на кровати.

— Что с тобой, милый?

— Это ужасно — лопнула струна!

— Какая струна?

— Я говорил тебе о своем детском видении... Одинокий цыган... Я увидел его, и мне стало хорошо. И вдруг у него лопнула струна. Это страшное предзнаменование — провал премьеры.

— Но ведь и у Жирарди должна лопнуть струна в конце: ты что — забыл?.. Вот если она не лопнет, будет фиаско. А так, это примета успеха...

И — лопнула струна у Жирарди в финале оперетты, старый цыган признал, что его время прошло, и уступил сыну-победителю и юную прелестную Юлиану, и своего бесценного Страдивария, а зрители плакали, бешено аплодировали и вопили от восторга.

Забившийся в артистическую уборную Имре Кальман слышал приглушенный, но грозный рев. Он устало закрыл глаза и всей душой впитывал божественный грохот освобождающегося от льда Балатона. Свершилось!.. Свершилось!.. Он медленно разомкнул веки, промокнул лицо носовым платком, привычно засучил рукав и принялся писать на манжете, только не нотные знаки, а колонки цифр.

За этим занятием его застал ворвавшийся в артистическую папа Кальман.

— Ты с ума сошел?.. Почему не выходишь?.. Зрители разнесут театр... — и тут он заметил письмена на манжете сына, когда тот опускал рукав. — Ты подсчитывал выручку, солнышко?.. Дай я тебя поцелую. Вот настоящий финал «Цыгана-примаса»...

Старики Кальманы засиделись допоздна.

— Стоит ли вам идти в отель? — уговаривала их Паула. — Наша спальня к вашим услугам.



— Что ты, девочка, мы уже давно не спим вместе, — со скорбным видом отозвался папа Кальман. — Моя жена ко мне охладела.

— Охладеешь, когда ты раз двадцать за ночь бегаешь в туалет, — не очень-то любезно отозвалась его супруга.

— Зачем такие подробности?.. Из-за диабета я много пью...

— Пива... — подсказала жена.

— Даже сумасшедший успех сына тебя не смягчил...

— Я не могу равнодушно смотреть, как ты себя губишь...

— Но согласись, что это чрезвычайно затяжной способ самоубийства. Я тебе крепко надоем, прежде чем отправлюсь на тот свет. Пойдем, Имре, в кабинет, здесь нам все равно не удастся поговорить.

Мужчины перешли в кабинет.

— Если б несчастный Бела видел твой сегодняшний триумф! — надрывно сказал старик Кальман. — Бедный мальчик, он даже на день не сумел вырваться.

— Теперь я могу увеличить вам содержание, — поспешно сказал Имре.

— Ты тоже неплохой сын, — сухо вато одобрил отец.

— У меня неважно шли дела... Но сейчас...

— Покажи-ка манжету. Ты подсчитал только венские доходы. Но «Цыган» уже ставится в Будапеште.

— Да, я очень рассчитываю на эту постановку. Моя мечта — привезти нашу оперетту в Вену.

— Вот за это хвалю. Родину нельзя забывать. И родных... Полагаю, что спектакль пойдет и в Германии, и в России, и в Париже...

— Не будем так далеко заглядывать...

— Надо смотреть вперед. Не забывай, как дорого стоит мое лечение.

— Вот на этом нельзя экономить. Я хочу показать тебя лучшим профессорам.

— Ты и без того заморожен, Имрушка. Дай мне деньги, я схожу сам.

— Твое здоровье для меня важнее всех дел, — твердо сказал сын.

— У тебя есть характер! — восхитился старый Кальман. — На сцене ты был похож на пингвина.

— А я думал, на императора!

Старик Кальман не понял.

— Оценил ты отцовские советы?.. Держись за чардаш, как утопающий за соломинку. Я не специалист, Имрушка, но это прекрасная работа. Она пахнет нашей землей. Я про-

плакал весь спектакль и осушил слезы, лишь увидев, как ты подсчитываешь выручку на манжетах. В ожидании будущих благ ссуди мне тысячу двести монет, чтобы долг мой округлился до...

— Трех тысяч ста семидесяти восьми шиллингов, — быстро сказал Имре.

— Какая голова! Если б ты не был композитором, то стал бы министром финансов. Впрочем, тебе и без того недурно, плутишка! Кто мог подумать, когда ты прыгал под окном у Лидля, что ты так далеко пойдешь! Теперь он должен прыгать под твоим окном, чтобы научиться делать деньги. Кстати, нигде так не воруют, как в музыке, разве что в благотворительных комитетах. Лучше сочинять с помощью немой клавиатуры... Мы все-таки пойдем, мой мальчик. Только не надо нас провожать. Мы пойдем, не спеша и нежно, как ходили молодоженами. Мать на людях ворчит, но любит меня, как в первый день. Ее понять можно. Дай я тебя поцелую. Если б не надорванное здоровье нашего дорогого Бела, я был бы вполне счастлив...

...И вот они опять встретились в Будапеште. В том же кафе, что и много лет назад, когда Кальман принял свое героическое решение, и даже за тем же столиком. Чуть запоздавший Кальман поспешил сделать заказ.

— Порцию сосисок с томатным соусом. Чашечку кофе.

— Что я слышал — ты уже покидаешь нас? — как всегда громко, чтобы всем было слышно, накинулся на него Мольнар. Он по-прежнему царил в артистическом кружке.

— Увы, да. И очень скоро. — Кальман глянул на часы. — Обниму друзей — и на вокзал. Саквояж со мной.

— Нехорошо, Имре. Ты помнишь, что случилось с Антеем?

— Разумеется. Его задушили в воздухе.

— Потому что он дал оторвать себя от матери-земли. Нельзя отрываться от родины.

Официант принес сосиски, кофе и поставил перед Кальманом.

— А я и не отрываюсь, — сказал Кальман, принимаясь за сосиски. — Кроме того, у меня толстая шея, меня мудрено задушить.

— Да, после «Цыгана» — это впрямь нелегкая задача, — усмехнулся Мольнар, — хотя и соблазнительная.

— Что вам сделал мой бедный «Цыган»? Вы все на него кидаетесь?

— Я — нет. Я кинулся тебе на грудь после премьеры... Но знаешь, тут все бедные, а от «Цыгана» несет деньгами.

— Боже мой, как все любят считать в чужом кармане! — вздохнул Кальман. — Денег у меня никогда не будет...

— Ты слишком расточителен... Эй, приятель, что вы делаете? — закричал Мольнар на официанта, хотевшего унести тарелку Кальмана. — Господин едет в Вену. Слейте соус в стеклянную банку и вручите ему.

— Слушаюсь, — бесстрастно сказал официант.

— Ты недобро шутишь, Ференц, — Кальман дрожащими пальцами достал сигарету и чиркнул спичкой.

— Безумец! — закричал Мольнар. — Мог бы прикурить от моей сигары.

Странно, но после второй выходки Мольнара Кальман не дрогнул.

— Мне понравилось твое сравнение с Антеем, — сказал он благодушно. — Но ведь родина — не только земля или трава. Для меня наш старый Королевский театр тоже родина. И эта родина явится ко мне в Вену. Не Магомет к горе, а гора к Магомету.

— Что это значит, Магомет?

— А то, любезный Мольнар, что я добился приглашения нашей труппы в Вену с «Цыганом-премьером».

— Ну знаешь!.. — И впервые острый, находчивый Мольнар растерялся: приглашение в Вену было заветной и, как все считали, несбыточной мечтой будапештской оперетты.

— Вот ваш соус, — сказал официант.

— Благодарю вас, — Кальман хладнокровно опустил банку в карман плаща. — До встречи на новой премьере, друзья мои!..

И когда он отошел от столика, Мольнар сказал грустно:

— Похоже, этот парень становится мне не по зубам...

И все же Кальман еще не был императором. Не так-то легко вытравить из человека страх перед жизнью. Понадобится немало лет, взлетов и падений, горестей, тревог, труда и упорств, чтобы сбылось предсказание Паулы.

Но зато вся Вена повторяла шутку Легара, что после «Цыгана-примаса» старый «Иоганн Штраус-театр» надо переименовать в «Имре Кальман-театр». Прозвище держалось недолго — до оглушительного провала «Маленького короля» в исходе того же года...

Даже самый умный и осмотрительный человек не застрахован от повторения своих ошибок. Легче извлекать уроки из чужих промахов и заблуждений, нежели из собственных. Известно, что наши недостатки — оборотная сторона наших достоинств, и расщепить это единство неимоверно трудно. Во всяком случае, Кальман — в точности — лишь с большей поспешностью повторил промах своего театрального начала: еще не истек год великого триумфа «Цыгана-премьера», как на сцене театра «Ан дер Вин» появился скороспелый «Маленький король» и бесславно пал. По обыкновению тяжело пережив неудачу, Кальман засел за «Барышню Суси», и, хотя порой испытывал ту подъемную, крылатую легкость, которую называют «вдохновением», сам чувствовал, что, подобно поезду, сошедшему с рельсов, валится под откос. Тема оставляла его равнодушным, и он скинул все заботы о либретто на ненадежные плечи Ференца Мартоша, так плохо распорядившегося сюжетом «Маленького короля», и помогавшему ему Броди.

Меж тем наступило лето 1914 года, воздух был наэлектризован предвестьем грядущих потрясений, и мрачному, раздраженному Кальману казалось, что земля уходит из-под ног.

Все началось с того, что, уже одетый на выход, но в пижамных штанах, Кальман нетерпеливо и настырно рылся в платяном шкафу.

— Милый, что ты ищешь? — послышался голос Паулы из ванной комнаты. — Я тебе подам.

— Я ищу свои старые брюки-дипломат.

— Зачем они тебе понадобились? Что, у тебя мало новых брюк?

— Новых? — с великим сарказмом повторил Кальман. — Весь мир — пороховая бочка. Вот-вот вспыхнет война, самое время занавешивать новые штаны!

— Прости, но какая связь между надвигающейся войной и твоими брюками? — Паула вошла в комнату в капоте, расчесывая черепаховым гребнем густые каштановые волосы.

— Прямая связь. Во время войны обесцениваются деньги. Банки прекращают платежи. Мои ничтожные накопления будут заморожены. Я ничего не зарабатываю. Что остается?..

— Жить на продажу штанов.

— Не пытайся острить!

— Хорошо, я буду серьезной. Как с процентными отчислениями?

— «Цыган-премьер» выдыхается. Паршивый «Маленький король» не дал ни гроша. На «Барышню Суси», чует сердце, не прокурмишь и собачьих блох. Почему мне так не везет, Паула?

— «Маленький король» был просто халтурой, ты писал его между делом. В «Барышне Суси» есть хорошие музыкальные куски, их надо будет когда-нибудь использовать, но либретто ниже всякой критики. Сколько раз я тебе говорила: нельзя либреттистов оставлять одних. У них на уме только кофе, карты и девочки... — Паула вдруг заметила, как побледнел Кальман. — Что с тобой?

Он держал в руках искомые брюки-дипломат.

— Чернильное пятно. На самой ширинке.

— Подумаешь! Отдам в чистку...

— Что-о?.. — впервые голос Кальмана зазвенел яростью. — Мы не Ротшильды, чтобы отдавать вещи в чистку. Неужели ты сама настолько разленилась, что не можешь свести пятно?

— Я только этим и занимаюсь: ты неопратно ешь. Но я не умею сводить чернила. Сколько шума из-за каких-то грошей!

— Грошей?.. Хорошо тебе говорить. Болезнь отца съедает весь мой доход. На этом нельзя экономить. Но транжирить деньги на чистку, сахарные кости для собаки...

— Остановись, Имре, — тихо, но впечатляюще сказала Паула. — Иначе — крепко пожалеешь. Я покупаю сахарные косточки Джильде на свои собственные деньги. И продукты для твоих любимых блюд — тоже. Живя с тобой, я превратилась в прислугу за все: стираю, глажу, штопаю, чищу обувь, свожу пятна, готовлю твой любимый гуляш, уху и ветчину с горошком, кухарка умеет только варить яйца, кое-как мыть посуду и открывать дверь. У меня было маленькое состояние — где оно?

— Я... я не знал...

— Так знай!.. Я не сшила себе ни одного нового платья, только переделывала старые. Ты большой гурман, а денег, которые ты даешь мне на хозяйство, хватало бы, дай бог, на луковую похлебку. Ты, такой практичный и так быстро считающий, задумался хоть бы раз, на что мы живем?

— Нет, Паула, — растерянно проговорил Кальман. — Трудно поверить, но я и правда никогда об этом не думал. Я считал, что моих денег вполне хватает. Ты всегда такая элегантная, стол обильный и вкусный... и я думал, то есть

никогда не думал, не давал себе труда думать, как ты справляешься... Тяжелое детство...

— Замолчи, Имре! Я больше слышать не могу о тяжелом детстве.

— Но, Паула, милая, ведь человек формируется в детские годы...

— А потом жизнь обрабатывает его на свой лад. Я распустила тебя. Так всегда бывает при неравенстве отношений. Кто я тебе? Прислуга, которую барин навещает ночью.

— Это неправда! Я всегда считал тебя своей женой. И все окружающие считали. Давай оформим наши отношения.

— Вот истинная речь влюбленного! Я не хочу ничего «оформлять», и ты знаешь почему. Я не могу дать тебе детей, а без этого брак — бессмыслица. Ты должен оставаться свободным. Но пока мы вместе, надо жить общей жизнью. Нельзя натягивать на себя все одеяло.

— Я согласен с тобой, Паула. Ты говоришь редко, но до конца. Я, конечно, скуповат, таким меня воспитали. Отец давал мне два гроша... молчу, молчу, я уже сто раз рассказывал об этом... Вечный страх перед... это уже было... Понимаешь, я растерян. После «Цыгана» сплошные неудачи... Но об этом тоже говорено-переговорено...

— Барина спрашивают! — сообщила кухарка.

— Судебные исполнители! — охнул Кальман.

Паула посмотрела на него с материнской жалостью и вышла из комнаты. И почти сразу раздался ее голос:

— Имре, тебе принесли деньги! Надо расписаться!

Кальман боязливо выскользнул в переднюю, а Паула прошла в спальню, чтобы закончить свой туалет. В гостиной они сошлись одновременно, Кальман похрустывал пачкой новеньких бумажек. Видно, что ему доставляло удовольствие само прикосновение к деньгам.

— Бедный цыган еще подкармливает нищего композитора! — воскликнул он. — Паула, мы начинаем новую жизнь. Теперь ты будешь покупать Джильде сахарную косточку из хозяйских денег... Паула, ты сошьешь себе новое платье, в котором элегантность будет органично сочетаться со скромностью. Отныне домашний бюджет — твоя забота. Я оставляю за собой лишь покупку ветчины.

— Ты великолепен, Имре, — улыбнулась Паула. — Но смотри, чтобы щедрость не перешла в мотовство.

Он не заметил иронии.

— Какая ты красивая, Паула! — продолжал прозревать

Кальман. — А я порядочная свинья. Но повинную голову меч не сечет. Давай в знак того, что ты меня прощаешь, выпьем вина. Пошли Анхен в лавку.

— Представляю, какое вино купит Анхен! Которым подкрепляется ее кузен из пожарной части. Я лучше сама схожу. «Либфраумильх» годится?

— Отличное вино! — в упоении вскричал Кальман. — Кутить так кутить! Но знай, девочка моя, недорогие вина куда забористее!..

Супруги дружно отобедали и осушили бутылочку забористого вина. Джильда доглаживала сахарную косточку, а Кальман, вновь охваченный беспокойством, жаловался Пауле.

— Иенбах и Лео Штейн навязывают мне либретто. Но само название отпугивает: «Да здравствует любовь». Ты веришь, что оперетта с таким названием выдержит хотя бы десять представлений?

— Ты зря беспокоишься. Все равно она будет называться «Королева или Принцесса Любви, Долларов, Вальса»...

— Едва ли, ведь действие происходит в кабаре.

— А кто героиня?

— Простая венгерская девушка, ставшая звездой варьете.

— Венгерская?.. Значит, она танцует чардаш?

— Это ее коронный номер.

— Все ясно. Ваша оперетта будет называться «Княгиня чардаша».

— Изумительно! — Кальман был потрясен.

— А главное — оригинально, — рассмеялась Паула. — Но шутки в сторону. Ты созрел для чего-то большего. В бедняжке «Суси» есть дивные куски, в последнее время ты играл много красивой и веселой музыки. Ты должен создать свою лучшую вещь. Но не спускай глаз с халтурщиков-либреттистов. Они могут все изгадить.

— Я вцеплюсь в них, как бульдог, — заверил Кальман. — На этот раз содержание особенно важно. Я хочу, чтобы там был дух Венгрии — в героине, девушке из народа, и сладко-гнилостный дух разлагающейся монархии. Я выведу целую галерею титулованных уродцев...

— Имре, ты революционер! — рассмеялась Паула.

— Ничуть! — он тоже засмеялся. — Просто я разночинец, презирающий знать.

— Но если твоя оперетта станет откровенной сатирой, ты прогоришь. Успех создает не галерка, а высший свет.

— Не бойся. Они не посмеют узнать себя. Будут счи-

тать, что высмеяны нувориши, а не урожденные Гогенлоу, Лобковицы, Эстергази.

— Чего ты так расхрабрился?

— Я и сам не знаю, — развел руками Кальман. — Я очень люблю мою героиню Сильвию Вареску, а ее там все обижают...

— Сильвия... — повторила Паула, словно пробуя имя на вкус.

— Как странно!.. Вот прозвучало имя, а что будет с ним дальше? Умрет ли, едва родившись, или разнесется, как эхо в горах?.. До чего же все непредсказуемо в искусстве, если только оперетту можно считать искусством.

— Жалко, что не осталось вина. Мы бы выпили за успех.

— Упаси боже! — в неподдельном испуге вскричал Кальман. — Нельзя пить за дела! — И он постучал по деревянной столешнице. — Я же говорил тебе, что успех зависит от бесчисленных случайностей. И никогда не знаешь, где подставят ножку. После пятисотого спектакля я осмелюсь сказать: видимо, моя оперетта увидит свет.

— И все-таки успех зависит от другого, — не приняла шутки Паула. — Дать тебе добрый совет?

— Ты сегодня на редкость щедр. Сперва бунт, суровая отповедь, куча наставлений, теперь добрый совет.

— Ты забыл, а название оперетты?..

— Действительно! Название — половина дела. Так что же ты мне посоветуешь?

— Не тебе, а в а м: господам Иенбаху, Штейну и Кальману. Я знаю, что такое работать в Вене. Вы накачиваетесь крепчайшим кофе, от возбуждения ругаетесь, как извозчики, нещадно дымите и временно примиряетесь на свежих неприличных анекдотах.

— Утешительная картина вдохновенного творчества!

— Во всяком случае, правдивая. Я пропустила сплетни. По этой части венские либреттисты могут дать сто очков вперед любой демимонденке.

— Хватит унижать моих сотрудников. Давай по существу.

— Выбирайте какое-нибудь тихое место...

— Святая наивность! Иенбах и Лео Штейн дня не проживут без свежих газет, без черного...

— Дай договорить, Имре! — стукнула кулачком Паула. — Я вовсе не надеюсь загнать этих бульвардые в медвежий угол. Но найдите более спокойное место для работы, чем Вена. Твоим приятелям надо немного остыть и сосредоточиться. Нельзя кропать либретто между двумя

партиями в покер. И ты будь неотлучно при них. Как гувернантка, как педель... Пойми, Имре, твой час пришел, сегодня или никогда.

— Ей-богу, даже страшно! И куда ты нас отсылаешь?

— Хотя бы в Мариенбад...

— Франценсбад тише.

— Там слишком много гинекологических дам. Мариенбад тоже не заброшенная в горах деревушка, но после взбодраженной столицы курортный шорох покажется вечным покоем. И ты выиграешь свою большую ставку.

— Да, Мариенбад — то, что нужно для Иенбаха и Штейна. Тихий рай сердечников, почечников и толстяков с нарушенным пищеварением. — Кальман улыбнулся. — Решено, Паула, маршрут в Бессмертие ведет через Мариенбад...

«КНЯГИНЯ ЧАРДАША»

Все говорили о неминуемой войне, и никто в нее не верил. И людный в разгаре сезона Мариенбад жил обычной суматошной и пустой курортной жизнью. Встречи у источника, где с раннего утра играл духовой оркестр, торжественные хождения, словно к Лурдской божьей матери, на ванны и прочие процедуры, нудный крокет, карты по-маленькой (ночью рулетка по-крупному), долгое высиживание в плетеных креслах открытых кафе под огромными зонтиками и обсуждение текущих мимо пестрой лентой гуляющих, вечер танцев с премиями, лотереи и гастроли неведомых европейских звезд в местном избыточно фундаментальном театре. И все же здесь было куда спокойнее, чем в Вене.

Правда, лишняя нервозность шла от Лео Штейна — выдающегося военного стратега; он носил задранные вверх усы а-ля Вильгельм II, и это обязывало к «вмешательству» во все европейские дела; он мог без усталости распространяться о Балканах — очаге войны — и сравнительных достоинствах британского и немецкого флотов. Не выдержав, Кальман объявил приказ: за милитаристские разговоры — штраф десять шиллингов, безжалостно этот штраф взимал. Лео Штейн приметно умерил свой боевой пыл. Его напарник Бела Иенбах тяготел к пикантным разговорам, но был куда менее запальчив и велеречив, Кальман счел возможным не облагать его денежной пеней за два-три соленых анекдота в день. За большее следовало наказание.

Оба либреттиста с удивлением и легкой тревогой отме-

тили перемену в человеке, хотя и склонном иной раз к упрямству, но отнюдь не казавшемся сильным и настойчивым. Между собой они шутили, что Кальман и сам находится во власти какой-то таинственной высшей силы. Да так оно и было на самом деле. Целыми днями он донимал их, что у Эдвина, героя оперетты, нет характера.

— Но он бесхарактерен по самой своей сути, — защищались либреттисты. — Даже совершив благородный поступок, с легкостью от него отказывается.

— За что же любит его такая женщина, как Сильвия? — допытывался Кальман.

— Разве любят за что-нибудь? — возразил Иенбах, большой дока во всем, что касалось взаимоотношения полов. — Еще великий Гёте сказал, что легко любить просто так и невозможно — за что-нибудь... Кстати, — его очки весело взблеснули. — Один господин застал свою жену с любовником...

— Помолчи! — сердито оборвал Кальман. — Мелодии текут из меня, как вода из отвернутого крана, но я не могу дать Эдвину арию. Он все время на подхвате у Сильвии. А где его тема?..

Воцарилось молчание, прерванное чуть натужно оживленным голосом Иенбаха:

— Представляете, муж входит, а жена и любовник...

— Заткнись! — прикрикнул Штейн. — А если дать Эдвину сольный номер после того, как Сильвия рвет брачный контракт?

Кальман задумался, подошел кельнер, насвистывая в угоду композитору «А это друг мой Лёбль», поставил на столик горячий кофе и забрал груды грязных чашек.

— Друзья мои, только вообразите картину, — хлебнув свежего кофейку, възгнал Иенбах. — Муж как ни в чем не бывало входит в спальню...

— Покушение в Сараево!.. — раздался пронзительный голос мальчишки-газетчика. — Убийство кронпринца Фердинанда!..

— Это война! — потерянно прошептал Иенбах.

— А я что говорил! — с непонятым торжеством воскликнул Штейн. — Австрия предъявит Белграду такой ультиматум, что не будет выхода! — он выхватил газету из рук мальчишки.

— Сараево принадлежит Австрии, — возразил Иенбах. — Почему Белград должен отвечать за убийство австрийского наследника на австрийской территории австрийским подданным?

— Ты сущее дитя! Это же предлог, чтобы прибрать к рукам Сербию. Габсбургам — нож острый ее самостоятельность. Не исключено, что убийство спровоцировано. Тем более что покойного Фердинанда не выносили даже при дворе.

— Платите штраф: по пять шиллингов с каждого, — раздался спокойный и по-новому властный голос Кальмана.

Штейн вздрогнул и безропотно положил на стол купюру.

— Что делать?.. Что делать?.. — лепетал Иенбах, шаря по карманам.

Очки сползли на нос, его голые, незащищенные стеклами голубые глаза круглились детской беспомощностью.

— Что делать? — повторил Кальман. — Финал третьего акта. У Эдвина не будет собственной арии. В наказание за вину перед Сильвией. Нарушение традиции?.. Да. Но в этом и будет его музыкальная характеристика.

Либреттисты потрясенно смотрели на своего «командора», не узнавая его. Ледяное спокойствие, за которым не равнодушные даже, а полное презрение к судьбам Австрийской монархии, твердая убежденность Мастера в необходимости своего дела, верность поставленной цели вопреки всему — откуда такая сила? О том знал лишь сам Кальман, и он знал к тому же, что это еще не его собственная сила...

...Он вернулся домой в таком приподнятом настроении, в каком Паула никогда его не видела. Вечные сомнения — не в музыке, он с равной легкостью выпускал и сталь, и шлак, — в успехе, терзавшие его вплоть до последнего падения занавеса, омрачали семейную жизнь. Не успевали отгреть заключительные аккорды, как он уже подсчитывал доходы — ошеломляюще быстро — порой с весьма кислым видом («Маленький король»), порой с холодноватым прищуром делового удовлетворения («Цыган-премьер»). Но удача не дарила ему радости, упоения: так сухарь-финансист подводит удачный баланс, так циничный адвокат прячет в карман гонорар за выигранный или проигранный процесс, так, разглаживая мятые бумажки, подсчитывает дневную выручку дантист или гинеколог. Паула до сих пор не могла понять, как, где и когда зарождаются у Кальмана его великолепные мелодии. Спал он долго и крепко, за редкими исключениями, много времени тратил на либреттистов, репетиции, внимательнейшее изучение курса акций, на прокуренные кафе — по старой будапештской привычке. И вдруг невеста откуда возникала дивная мелодия: огневой чардаш, чарующий вальс, головокружительный галоп.

И столько обнаруживалось в этом флегматичном, сумрачном, тяжелом человеке нежности, романтики, веселья, восторга перед жизнью — откуда только бралось? В отличие от многих Паула знала, что у Кальмана есть сердце, есть страх за близких, старомодно-сентиментальные чувства к матери, брату, сестрам, безоглядная щедрость — к отцу. Но на окружающих Кальман производил впечатление музыкальной машины, чуждой всем земным волнениям, кроме взлета и падения биржевых акций.

И вот Кальман ликует, и будто легкое свечение осеняет его засмугленный мариенбадским солнцем лоб, и Паула чувствует, что не в силах сказать того, чего не сказать нельзя, а пальцы непроизвольно комкают траурную телеграмму.

— Как ты была права! — благодарно твердил Кальман. — Впрочем, ты всегда и во всем права. Даже война нам не помешала. Правда, приходилось одергивать штрафами генералиссимуса Штейна, чтобы держал на привязи свой стратегический гений, но бедный Иенбах совсем примирел и утратил интерес к прекрасному полу. В общем, мы отлично поработали, я привез готовое либретто и всю музыку или на бумаге, или тут, — он хлопнул себя по лбу.

Нет, она ничего ему не скажет. Мы вообще так редко бываем счастливы, а люди, подобные Кальману, вовсе никогда. Конечно, потом, когда все откроется, он не поймет ее молчания, не простит кощунственной утайки, ну и пусть, она не станет оправдываться, не станет убеждать, что бергла его радость, а к несправедливости ей не привыкать.

— С оркестровкой дело неожиданно пошло хуже, — Кальману не терпелось все рассказать. — Я начал спотыкаться там, где оркестру скользил, как по льду. В чем, в чем, а в незнании оркестра меня не упрекнешь. Но ничего, авось справлюсь. Хуже: я никак не слажу с одной мелодией, которая дает ключ не только к первому акту, но и ко всей оперетте. Вернее, к ее второй линии, почти столь же важной, как и первая. Вот послушай. — Он подошел к роялю, откинул крышку и заиграл что-то меланхолическое, со, странно бравурными вспышками.

— Весьма элегично... — начала Паула, но он не дал ей договорить.

— То-то и оно, черт побери! В самый раз для Эдвина, если бы тот на старости лет вспоминал об утраченной Сильвии. Но ничего подобного у нас нет. Эта песенка шалопая Бонни, бабника и добряка. И главное, он выходит с кордебалетом, танцует и поет, и потом все подхватывает

вают припев. На сцене должен вскипать вихрь, а у меня похороны.

Паула вздрогнула, ее обожгло неожиданное слово, сорвавшееся с губ Кальмана. Она не может молчать. Каждый человек имеет право на счастье, но и страдания — право каждого. Даже любящие не уполномочены распоряжаться душой близкого человека. Если ты не можешь взять на себя его боль, то вся твоя бережь гроша ломаного не стоит.

— Имре!.. — сказала она и осеклась, губы ее задрожали.

Впоследствии она всегда поражалась чуткости, с какой он, довольный, веселый, ничего не подозревающий, погруженный в музыку, мгновенно уловил ее интонацию. Наверное, это свойство истинно художественной натуры.

— Отец? — произнес он, и крупное лицо, и вся плотная фигура стали будто распадаться на ее глазах.

И тут она с постыдной радостью поняла, что совершенно произвольно облегчила себе задачу, ослабила силу удара, ибо сейчас избавит его от самого страшного.

— Твой отец жив и здоров и ждет не дожидается премьеры. Мать заказала новый туалет... Но бедный Бела...

— Что с ним?

— Его уже нет. — Паула протянула ему стиснутую в шарик телеграмму.

Кальман не стал ее разворачивать. Он сразу тихо засочился из глаз, как скала, скрывающая в своей толще ключ. Это детское вернулось к нему с треском рвущегося Балатона, с милым веснушчатым лицом, расплывающимся в карзубенькой улыбке, с необходимыми колотушками, без которых не воспитывают младшего брата, не учат уму-разуму, с застенчивой серьезностью спокойного живого паренька, приговорившего себя ради семьи к тусклой участи клерка. Бела был в сто, в тысячу раз лучше него, добрее, чище, благороднее.

Паула поняла, что лучше оставить его одного. Она ушла в спальню и, не раздеваясь, прилегла на кровать. И странно: в таком перевозбуждении, тревоге, страхе за Имре она мгновенно заснула, будто провалилась в черную бездонную яму. Очнувшись от мощных звуков, сотрясавших дом. Ничего не понимая, она поднялась и приоткрыла дверь. С мокрым лицом Кальман изливал свою скорбь в звуках ни с чем не сравнимой бодрости. Она сразу уловила ту мелодию, которую он ей наигрывал, жалуясь, что не может найти верного тона. Теперь тон был найден, его подсказала смерть Бела. Это было кошунственно, страшно, это было величественно. Насколько же человек находился

во власти своего гения! Сейчас он спасал собственное сердце изысканно-бравурной мелодией с едва приметным оттенком грусти, и этим будут спасены сердца многих и многих людей.

«Красотки, красотки, красотки кабаре» — траурный марш по брату Беле...

...Когда ехали в театр, Кальман подавлял всех своей мрачностью. Накануне он от души радовался приезду родителей, бодрому и оживленному виду отца. Паула заказала старикам номер в одном из лучших венских отелей, и папа Кальман ликовал. Он любил гостиничную жизнь с ее волнующей суетой, будившей память о тех далеких днях, когда он, преуспевающий коммерсант, ездил из Шюффа в Будапешт заключать сделки и сбрасывать домашнее напряжение.

Имре всегда трусил перед премьерой, но такой свинцовой скорби еще не бывало. «Похоже, ты едешь не в театр, а на собственные похороны», — заметил папа Кальман. «Так оно, возможно, и есть», — пробурчал сын. «Значит, обычная суеверная боязнь премьеры, — с облегчением подумала Паула, — а не рецидив былой скарденности». Ради торжественного дня она заказала роскошный выезд: ландо на дутых шинах, с фонарями у козел, и опасалась, что Кальман разозлится на ее расточительность.

Толстые шины упруго и мягко катились по запруженным улицам. Что ни говори, а в старомодном экипаже, запряженном статными, лоснящимися рысаками, списанными по возрасту с бегов, больше шика, чем в смердящих бензином и гарью автомобилях, чей быстрый ход лишен всякой торжественности. Бездушные металлические символы утратившего неторопливое достоинство времени.

Впереди открылись здание театра и осаждавшая его толпа, в которую со всех сторон, как ручьи в озеро, вливались потоки машин, карет, извозчичьих пролетов, пешеходов.

— Весь город спешит на премьеру нашего Имре, — горделиво произнес старый Кальман.

— Уж если не весь, то добрая часть, — уточнила не склонная к преувеличениям мама Кальман.

— Успокоился наконец? — спросила Паула.

Кальман отозвался вялым пожатием плеч.

— Ну и характер у тебя!..

— Вспомни о покойном брате Беле, — посоветовал старый Кальман, — вот кто никогда не вешал носа.

— Ты и так не даешь мне забыть о нем, — огрызнулся сын.

Странно, что толпа у входа в театр — здесь присутствовал весь свет: дамы в роскошных туалетах и рассыпающих искры бриллиантах, зафрахченные кавалеры, военные в шитых золотом мундирах — как-то странно колыхалась, переминалась, но не стремилась внутрь.

— Что случилось? — спросил папа. Кальман какого-то потертого человека, с виду театрального барышника.

— Что, что! — раздраженно отозвался тот. — Комик охрип, спектакль отменяется.

— Я так и знал! — сказал Имре и выпрыгнул из коляски.

Он не ведал, зачем это сделал. Просто нужно было какое-то резкое движение, имитирующее поступок, чтобы «жила не лопнула», как говаривала их старая шиофокская служанка Ева. Но через мгновение его безотчетный порыв обрел смысл. На него наплыло горящее лихорадочным (даже про себя он не осмеливался произносить «чахоточным») румянцем лицо Паулы, ее тонкие пальцы с длинными, острыми ногтями впились ему в плечо. Обдавая его сухим, горячим дыханием, она не говорила, а вбивала в мозг слова, как гвозди:

— Иди к директору!.. Возьми его за горло!.. Комик — чушь. Он просто струсил. Скажи ему, что забереешь оперетту. Он знает — это золотое дно. Будь хоть раз мужчиной, иначе... ты потеряешь не только оперетту, но и меня. Клянусь честью!..

Наверное, все остальное было лишь следствием того, что он боялся Паулу больше, чем директора. Последний так и не мог постигнуть, что случилось с тихим, сдержанным, покладистым человеком, как, впрочем, не понимал прежде, почему композитор, «делающий кассу», скромн и робок, как девушка.

Кальман не вошел, а ворвался в кабинет, он не поздоровался, не протянул руки.

— Охрипший комик — пустая выдумка! — загремел он с порога. — Вы просто струсили!

Директор был так ошеломлен, что не стал выкручиваться.

— Поневоле струсишь, — понуро согласился он. — Аристократы запаслись тухлыми яйцами.

— Плевать! — гневно и презрительно бросил новый, непонятный Кальман. — Простая публика за нас.

— Успех создает партер, а не галерка.



Кальман и сам так считал, но сейчас им двигала сила, чуждая здравому смыслу, расчетам, логике и тем несокрушимая.

— Тогда я забираю «Княгиню чардаша». Найдется кому ее поставить.

«А вдруг он согласится?» — пискнуло мышью внутри.

— Вы хотите меня разорить? — Из директора будто разом выпустили весь воздух — о, мудрая, проницательная Паула! — Ладно. Пусть немного спустят пары. На следующей неделе дадим премьеру. Но если провал... — Директор открыл ящик письменного стола и вынул свернутую в кольцо веревку, присовокупив выразительный жест.

— Я составлю вам компанию, — усмехнулся Кальман...

...Непонятные вещи творились вечером и ночью после отложенной премьеры вокруг «Иоганн Штраус-театра». Светская толпа, не привыкшая оставаться с носом, яростно разнуздалась. Аристократы, блестящие военные, богачи сломя голову кинулись в ближайшие рестораны и бары и забушевали там в гомерическом кутеже. Ничего подобного не видели в чопорных окрестностях старого венского театра. Светские львицы перепились и вели себя, как уличные девки; принц Лобковиц открыл бутылку шампанского прямо в лицо своему другу, получил пощечину и вызвал его на дуэль; кто-то из младших Габсбургов пытался оголиться, его кузина успешно осуществила это намерение. Было во всем что-то надрывное, истерическое — от предчувствия надвигающегося краха.

Под конец, чтоб не пропадал товар, устроили перестрелку тухлыми яйцами. Одному рослому капитану с глуповздорным лицом дяди Эдвина угодили прямо в глазницу с моноклем...

...Наконец премьера состоялась. Уже выходная ария Сильвы произвела фурор. Театр раскалывался от аплодисментов. Приблизив губы к уху сына, старый Кальман прокричал, обливаясь слезами счастья: «Какой триумф! Если бы покойный Бела видел!..» «Сколько?» — спросил сын, потянувшись за бумажником. Папа сделал жест: мол, еще поговорим и, вытянув манжету, стал делать какие-то подсчеты угольным карандашом...

Папа Кальман не успел закончить подсчет доходов от «Сильвы», когда аристократы решили дать бой. Едва граф Бони, офицер, несущий исправно службу лишь в уборных артисток варьете, вывел кордебалет с залихватской песенкой «Красотки, красотки, красотки кабаре!», как

поднялся тот самый рослый надутый капитан с моноклем и зычно, словно на поле боя, крикнул:

— Позор!..

И другие зрители-аристократы подхватили его крик.

Дирижер невольно приглушил оркестр. Бони оборвал песенку, испуганно замерли красотки кабаре.

— Австрийские офицеры не юбочники! — витийствовал капитан. — Они проливают кровь...

— В партере! — послышался голос с галерки, покрытый смехом простых зрителей.

— Оскорбление армии!..

— Поругание чести!..

— Долой!..

Папа Кальман глянул на поникшего сына, вздохнул и носовым платком смахнул цифры предполагаемых доходов.

И тут в королевской ложе выросла фигура кронпринца Карла, мгновенно узнанного всеми.

— Молчать! — грозно прикрикнул он на капитана. — Молчать! — приказал всему партеру.

Шум смолк, офицер вытянулся с глупым и удивленным лицом.

— Продолжайте! — кивнул кронпринц дирижеру и опустился в кресло.

Дирижер взмахнул палочкой. Зазвучала музыка.

Папа Кальман вытянул манжетку и вновь выстроил колонку цифр.

Капитан не успел сесть на место, как пущенное с галерки тухлое яйцо по-давешнему залепило ему глазницу с моноклем...

...Шла чудовищная война. Но даже колючая проволока, перепоясавшая тело Европы, разделившая ее на два непримиримых лагеря, не могла помешать победному шествию «Княгини чардаша». В Россию оперетту завезли австрийские военнопленные, ставившие ее в своих лагерях. Трудно сказать, как попала она к французам и их союзникам. На фронте происходили такие сцены: проволочные заграждения, ходы сообщений, окопы, пулеметные гнезда, замаскированные орудия... Громко распевая «Частица черта в нас», немецкие солдаты дают залп по французским позициям. Удар попадает в цель. С фонтаном земли взлетают бревна, какие-то железяки, красные штаны пуалю.

«Любовь такая — глупость большая!» — поют французские артиллеристы и шарахают из гаубиц по немецким око-

пам. Меткий удар: вскипает земля, взлетают на воздух разные материалы и глубокие каски, начиненные тем, что они призваны оберегать...

И несмотря на такой успех, а вернее, в силу его, «Княгиню чардаша» сняли из репертуара «Иоганн Штраус-театра». Этому предшествовал визит к Кальману видного журналиста из влиятельнейшей правительственной газеты. Журналист был похож на борзую: сух, востролиц, породист.

— Господин Кальман, — сказал он строгим голосом, — вас не смущает, что музыка «Княгини чардаша» служит и нашим, и вашим? Ее поют и по эту, и по другую линию фронта и даже на передовой — солдаты противостоящих армий.

— Новое обвинение! — насмешливо бросил Кальман. — Не дает кому-то покоя моя скромная оперетта!

— Но согласитесь, что...

— Я не милитарист, — перебил Кальман, — и не вижу в этом ничего плохого. Если люди со смертоносным оружием в руках поют о любви и женщинах, это поможет им сохранить душу. Что и требуется. Ведь все войны когда-нибудь кончаются, — и, глядя на быстро бегущее вечное перо, добавил: — Прошу передать мою мысль без искажений.

— Уж вам ли жаловаться на прессу, господин Кальман! — с двусмысленной интонацией отозвался журналист.

— Ну знаете! — вскипел Кальман. — Трюк, который сыграли со мной газетчики, мог бы зародиться разве что в голове Макиавелли. Я сам был журналистом и знаю эту кухню изнутри, но здесь писаками управляла чья-то могучая рука.

— Что вы имеете в виду?

— Вся пресса, за редким исключением, обвиняет меня в низкопоклонстве перед высшим светом. Я, видите ли, подкуплен знатью. И почему-то этим особенно возмущены монархические газеты, ваша в первую очередь.

— В нашей стране каждый имеет право на собственное мнение, — сентенциозно заметил журналист.

— Вот именно: на собственное! А это мнение навязано. Что писали после премьеры «Княгини чардаша»? — Он вытянул наугад какую-то газету из кучи, наваленной на журнальном столике. — «Кальман должен был представить на сцене офицеров императорской армии и благородных господ, но публику вынудили терпеть «Публичное осмеяние представителей высшего общества нашей монархии» и дальше: «Пусть жандармерия примет надлежащие меры, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные оскорбления лиц выс-

шего круга и не делать их предметом осмеяния со стороны подлого народа». Великолепно: жандармерия против оперетты! — Он взял другую газету. — «Недопустимая бестактность по отношению к высшему кругу». И как, скажите на милость, произошел головокружительный прыжок от этих обвинений к прямо противоположным: я, видите ли, певец титулованных особ?

Журналист потупился. Теперь он был похож на борзую, нагадившую в комнатах и ожидающую порки.

— Не знаете? — усмехнулся Кальман. — Да знаете отлично! Надо вбить клин между мной и демократически настроенной публикой. А теперь еще хотят добавить обвинение в антипатриотизме. Для этого прислали вас.

Журналист быстро поднялся.

— Не смею злоупотреблять вашим терпением.

— Попутный ветер!..

И журналист поспешно ретировался.

Из кухни вышла Паула в белом фартучке.

— Зачем ты тратишь силы на эту гнусь? Что они могут тебе сделать? Для всей Вены ты теперь «дер Кальман».¹

Но о н и знали, что делали. В один из ближайших дней, проходя мимо «Иоганн Штраус-театра», «дер Кальман» увидел поперек афиши «Княгини чардаша» жирную надпись «Отменяется». Не раздумывая и не колеблясь, он кинулся к директору.

На этот раз нашла коса на камень. Театр уже вернул деньги, затраченные на постановку, да и заработал порядочный куш. Конечно, можно было заработать и в десять, и в двадцать раз больше, но директор, опытный и осторожный человек, решил не искушать судьбу. Существует множество «безошибочных» способов стать миллионером, но наживают миллионы лишь очень немногие. Он и так рисковнул, поставил под удар свое доброе имя, репутацию театра — слава тебе господи, сошло с рук, да еще немало золотых кружочков прилипло к ладоням. Но нельзя и дальше играть с огнем. Время сейчас военное, и власти шутить не любят. «Княгиня чардаша» — гениальная оперетта, ничего подобного не было со времен «Летучей мыши» Штрауса, и, когда замолкнут пушки, можно будет ее возобновить. За Кальмана тоже не стоит беспокоиться, его оперетте уготован мировой успех. Надо проявить лишь немного терпения.

И на гневные тирады бомбой ворвавшегося в кабинет

¹ В немецком языке артикль к имени не прилагается. Это делают лишь в знак особого признания и почтения.

композитора директор ответил с насмешливым благодушием:

— Не надо пресмыкаться перед знатью.

— Но вы же прекрасно знаете, что дело в прямо противоположном!..

— Конечно. Вот в чем был смысл заступничества крон-принца. Ловкий ход!

— Он знал, с кем имеет дело. Я имею в виду «Иоганн Штраус-театр». Меня с Веной не поссоришь. Дураки в ложах, а не на галерках. Простых людей не так-то просто облапошить, я и сам из них.

— А куда вам торопиться, дорогой? Военные в силе, пока война, а знать?.. Сохранится ли она в Австрии? Вы свое возьмете. Да и мы — тоже. А пока дайте нам что-нибудь новенькое и не столь колючее.

— Если вы не возобновите «Княгиню», ничего новенького вам не будет.

— А что намечается? — жадно спросил директор.

— «Фея карнавала».

— Черт возьми, звучит заманчиво! — Корысть боролась в душе директора с осторожностью.

— Ладно, прощайте! — Кальман небрежно махнул рукой и шагнул к двери.

— Стойте! — закричал директор. — Так дела не делаются. Вы подписываете с нами договор на «Фею карнавала» и на следующую оперетту...

— А вы немедленно возобновляете «Княгиню чардаша»! Директор тяжело вздохнул.

— Вы взяли меня за горло. Будь по-вашему...

Паула права: он теперь «дер Кальман» даже для этого трусливо-самовластного человека, перед которым прежде трепетал. И он одолел его не заимствованной, а собственной силой. И все-таки он еще не император...

БРЕМЯ СЛАВЫ

Утром на прогоне все начиналось хорошо. Когда вышел стройный полубог Тройман в костюме Раджами, Кальман закрыл глаза и, по обыкновению, вообразил себя на месте премьера. Его лысоватую голову обвивала серебристая чалма с бриллиантом в тысячу карат, плечи и солидный животик тиснул узкий парчовый кафтан, блистательную картину завершали узорчатые галифе и золотые, похожие на мотоциклетные, краги. «И почему художник с бла-

гословения режиссера так причудливо обрядил индийского принца? — мелькнула мысль. — А что он знает об Индии, что знаем мы все об этой далекой, загадочной стране, которой, похоже, всерьез надоело английское владычество?» С недавнего времени общество охватило повышенный интерес к азиатским делам. Похоже, древняя земля начинает пробуждаться от многовековой спячки.

Старый журналист, Кальман в отличие от своих коллег читал газеты. Конечно, и те, забежав утром или вечером в кафе, накидывались на припахивающие типографской краской свежие листы, но пробегали лишь музыкальную колонку, отчеты о премьерах, светские новости, уголовную хронику и некрологи. А Кальман читал газету от первой до последней строчки, особенно внимательно биржевые и политические новости, тем более что одно с другим тесно связано. Он сразу уловил, что материалы его любимых отделов недвусмысленно указывают, где сейчас горячо в мире: от Дели до Сайгона закипало национальное движение. Это было чревато немалыми последствиями. Волновались политики, волновалась биржа, недаром и в дамских модах, а это чуткий барометр, появился привкус Востока. Потому и ухватился он за совершенно чуждую ему ориентальную тему. Рассеянный взгляд публики сфокусировался на Индии, чем объяснялся ошеломляющий успех таинственного и глуповатого боевика «Индийская гробница» с большеглазым Конрадом Вейдтом в главной роли.

Понимая, что ни либреттистам Браммеру и Грюнвальду, ни ему самому не воссоздать подлинного Востока, он перенес действие в Париж, куда направил набираться ума-разума наследного принца Раджами. Но принц набирался опыта не в Сорбонне, а возле несравненной Одетты Даримонд — баядеры¹. Это пряное слово означает в Индии танцовщицу, певицу, но, конечно, не «красотку кабаре», а храмовую служительницу, славящую своим искусством бога. Впрочем, последнее было столь же безразлично Кальману, как и полное незнакомство с индийской музыкой. Из сугубо европейских представлений о восточном мелодизме он создал роскошное блюдо, где условный ориентализм перемежался с песенными ритмами парижских бульваров, синкопами вошедших в моду фокстротов, тустепов и шимми. Романтико-иронический тон оперетты подчеркнут резким противопоставлением бескорыстия влюбленного индийского принца, жертвующего престолом ради любви, зловещим коз-

¹ По-русски правильной «баядерка».

ням английского полковника Паркера¹ и шутовству двух комических персонажей: шоколадного фабриканта и светского шалопая; тут Кальман вволю поиздевался над измещавшейся после войны верхушкой светского общества, дав первому имя короля-буржуа Луи-Филиппа, а второму императора-авантюриста Наполеона (разумеется, не гениального корсиканца, а его жалкой пародии — Наполеона III).

Кальман быстро, с аппетитом сочинил эту оперетту, пьянящую, игристую и пенящуюся, как «Вдова Клико». Но сейчас в зале, закрыв глаза, насмешник и неисправимый романтик слился с Раджами; это его сладкозвучный голос, а не душки Троймана наполнял зал, это на нем переливались золото и серебро. Совсем разнежившись, он разомкнул веки и увидел на сцене смешного коротышку в серебристой чалме, парчовом кафтани, не сходящемся на животе, узорчатых бриджах и мотоциклетных крагах, с черными усами под большим унылым носом. «А ведь это я», — удивленно сказалось внутри, и он едва сдержал крик: «Занавес!» Галлюцинация длилась какое-то мгновение, он вновь видел красавца Троймана, на котором немыслимый костюм Раджами казался образцом изящества и вкуса. Наградил же господь круглого дурака ростом, статью, гордым профилем, смугло окрашенным голосом и беззаветной любовью красивейшей из опереточных примадон! И что с того, что тебя вся Вена в знак особой почтительности величает «дер Кальман» — все равно ты низкоросл, тучен, плешив, а дома у тебя больная жена, которой все труднее скрывать подтачивающее последние силы недомогание.

Померкла короткая радость, владевшая им в начале прогона. Ну, еще один успех, еще раз вспыхнут овации, и он грузно поднимется на сцену, чтобы кланяться, улыбаться, пожимать руки актерам, целовать — актрисам, а потом устало и равнодушно торчать допоздна на банкете, выслушивать льстивые тосты, отвечать на них и тайком со скуки подсчитывать выручку от новой оперетты на крахмальных манжетах. И не станет он от мишуры успеха ни юным, ни стройным, ни изящным, ни златокудрым, и не вернутся к Пауле молодость и красота, здоровье и безмятежный смех, и никогда уже не испытает он того, о чем поет его музыка. В дурном настроении, скрыв его за деланными комплиментами исполнителям и режиссеру, покинул Кальман театр.

А очутившись на улице, он с оборочной силой пережил ощущение уже раз бывшего. Едва ли найдется человек,

хоть когда-нибудь не испытывавший подобного: было, было, уже было вот это самое в моей жизни!.. Не столь редкому наваждению находится много объяснений: действительно случалось нечто подобное, могло быть, но не было, а заложилось в ячейку памяти как свершившееся; не было, но должно было рано или поздно случиться, когда же наконец случилось, то кажется повторением старого: намечтанное или томившее страхом облекается в плоть истинно бывшего, а реальность воспринимается как полувоображаемое повторение. С Кальманом все обстояло куда проще: Вена распевала арию Раджами, как некогда Будапешт — шлягер из «Татарского нашествия». Дворники, выписывающие полукружья метлами на тротуарах, торговцы фруктами и овощами, служанки со свежими икрами, моющие окна с внешней стороны и ничуть не страшась разверстой под ногами бездны, маляры в люльке с истекающими яркой краской кистями. Было и новое: шофер такси проиграл на класоне «Ты любовь и мечта»; протопал отряд полицейских в начищенных касках, а когда остановился по команде тучного «шупо», то из-под каблучков отчетливо выбились два заключительных такта арии. Разница лишь в том, что «Друг мой Лёбль» разнесся по городу после генеральной репетиции, а признание Раджами сняли с уст исполнителя, когда тот еще осваивал партию. До чего предусмотрителен был Верди, вручив «Песенку герцога» артисту и дирижеру перед началом премьеры «Риголетто».

Но вообще-то Кальману наплевать было на преждевременное «рассекречивание» коронного номера. Успех «друга Лёбля» волновал и радовал молодое тщеславное сердце. «О, баядера» раздражало напоминанием: ты старый... ты коротышка... у тебя плешь... тебе не полюбить юной богини и уж подавно не дожидаться ответного чувства... Окружающие ловко украли его безнадежное, тоскующее и в последнем тайнике на что-то надеющееся признание. Он разбудил чувственность венцев, дал толчок их жажде любви и наслаждения, а сам шел сквозь многоголосый любовный хор, как безмолвный и жалкий нищий.

— О, баядера!.. — надрывался трубочист на крыше.

— Ты любовь и мечта!.. — заливался почтальон, крутя педали велосипеда.

— О, баядера!.. — брусил, опуская полосатый тент над летним кафе, старик с военной выправкой, в синем комбинезоне.

«Маленький... толстый... старый...» — билось в ушные перепонки.

¹Из-за чего в Англии оперетта оставалась долго под строгим запретом.

Кальман пытался выключить слух, ускорял шаги, все было тщетно. «Баядера» настигала его на каждом шагу, за каждым поворотом, еще одно испытание ждало его в подъезде дома: старуха привратница, вязавшая бесконечную паголинку — на какую ногу рассчитана такая кишка? — бросила рассеянный взгляд на жильца и пробормотала себе под нос:

— С тобой не надо дня!..

Паула мгновенно увидела, что Кальман взбешен, и кинулась на защиту его души.

— Я здорово надоел самому себе. Вся Вена поет, мурлычет, насвистывает, гугнит, сипит арию Раджами.

— Только и всего? Пора бы привыкнуть. Сказал же Легар, что теперь в католических храмах вместо «Аве, Мария» поют «О, баядера»...

— Вот не думал, что популярность может так осточертеть!

— Успокойся... Смотри, какой чудесный день! — Паула шире распахнула окна, глядевшие в сад. — Как заливаются птицы. Вот скворушка прилетел, мой любимый скромный певун.

На ветке, совсем близко от окна уселся крупный, отливающий медью в лучах солнца скворец. Он глянул темным, в охряном обводе, зрачком и засвистал.

Кальман в ужасе отпрянул от окна.

Скворец насвистывал арию Раджами.

— Боже мой, я, кажется, схожу с ума!..

— Не волнуйся, милый, — улыбнулась Паула. — Скворец — известный подражатель. К нему прицепился мотив, который напевает весь город...

«МАРИЦА»

Ни к одной оперетте Кальман не подбирался так долго, как к «Графине Марице», почти затмившей славу «Княгини чардаша». Еще в дни войны молодые способные драматурги Юлиус Браммер и Альфред Грюнвальд принесли ему наброски либретто и целиком разработанный первый акт будущей оперетты. Кальман ухватился за предложение: венгерский сюжет, хорошо знакомая среда, желанный мир чардаша. Он с аппетитом принялся сочинять музыку, но вдруг прервал работу и со своими старыми сотрудниками Иенбахом и Штейном уселся за «нейтральную» «Голландочку». Непри-

язательная оперетта имела успех, принесла хорошие деньги и композитору, и драматургам, после чего господ Иенбах и Штейн придались упоительному ничегонеделанию, а трудолюбивый Кальман вернулся к «Марице».

И тут обнаружилось, что у него множество претензий к либреттистам, неожиданных не только для них, но, похоже, для него самого. Все сделанное решительно перестало нравиться. Нет, побоку «Марицу», надо браться за что-то другое. Браммер и Грюнвальд, отнюдь не новички в своем деле, спрятали в карман уязвленное самолюбие и послушно уселись за либретто «Баядеры». Умные и честлюбивые, они во что бы то ни стало хотели приручить Кальмана. Ничто так не сближает, как общий успех, к «Марице» все трое вернулись с железной решимостью довести дело до конца.

В связи с «Марицей» современники обвиняли Кальмана в «провалобоязни», но ведь не побоялся же он выпустить «Фею карнавала», «Голландочку» и «Баядеру» на материале неизмеримо более чуждом ему, чем история разорившегося венгерского графа Тассило, который поступил в управляющие именем к соблазнительной, капризной и вздорной графине Марице; бывший баловень света на собственной шкуре узнал «черное хамство» помещиков.

Паула считала, что причина совсем в другом: «Марица» была слишком важна для Кальмана, он снова, после продолжительного перерыва, брался за самое дорогое для себя и близкое; искушенный мастер, он хотел действовать наверняка. Одно дело оплошать с «Маленьким королем», другое — потерпеть поражение на «своей территории». Пока длилась война, принося все большие бедствия, распадалась изгнившая вконец австро-венгерская монархия, столько времени задававшая тон в европейской политике, публике не желательны были даже условные страсти, ей подавай что-то легкое, бездумное, грезовое, чисто развлекательное, лишь бы забыться от кошмара действительности. И Кальман откликнулся всеобщему настроению «Феей карнавала» и «Голландочкой». Потом, когда война отошла в прошлое, он чутко угадал перемену в общественном настроении, связанную с выходом на авансцену истории народов, казавшихся навечно уснувшими, — просыпался, «алел» Восток. Он откликнулся на эти веяния вовсе неожиданной «Баядерой» и попал в точку.

Но к середине двадцатых годов люди оказались в состоянии оглянуться на свое недавнее прошлое, одни с грустью, другие с насмешкой и презрением, кто — с мучительным сожалением, кто — с холодноватым прищуром: а какими мы

были прежде и почему сломался, рухнул казавшийся незблемым уклад? Время для «Марицы» настало. Паулу поражала художественная отвага Кальмана: показать притирающемуся к новым условиям «свету» его отталкивающее лицо. В оперетте не было ни одного положительного героя, если не считать третьестепенных персонажей. Промотавшийся граф Тассило, пошедший в услужение под чужим именем, но не оставивший надежд на выгодную женитьбу, его сестра Лиза, глупенькая и пустая, мечтавшая выскочить замуж все равно за кого, лишь бы деньги водились, взбалмошная Марица, бывший полковник князь Популеску — неотесанный солдафон, чаровница давних лет, старая развратница Лотти¹ — такова портретная галерея героев оперетты. Тассило выглядел привлекательней других, и то лишь в силу своего зависимого положения — баловень гостиных, ставший парием. Но традиционно-счастливая развязка, соединившая Тассило с Марицей, означала его возвращение из стана униженных в стан угнетателей, в круг титулованных хамов. А музыка?... Интонационно она большей частью контрастировала происходящему на сцене, и это придавало оперетте загадочное очарование.

Сидящие в зале скотопромышленники, старые распутницы, разорившиеся и припрятавшие деньги аристократы, бывшие вояки, сменившие форму на пиджаки, бешено аплодировали, и Паула думала: до чего ж ослабели! Не было не только попытки обструкции, как на «Княгине чардаша», но и тени возмущения. В глубине души все эти осколки прошлого знали, что получают по заслугам, а сейчас не до фанатерии, надо уцелеть, приспособиться, умело распорядиться оставшимся и вновь всплыть на поверхность.

Но конечно же не карикатурным фигурам обязана оперетта своим феноменальным успехом, а музыкальному одеянию, которое не одеяние даже, а суть. Никогда еще так вольно и мощно не разливалась со сцены цыгано-венгерская мелодика Кальмана. Кому какое дело до мелких расчетов Тассило, когда он рыдает под цыганскую скрипку: «Гей, цыган!», а разве помнишь о дурном характере Марицы, поющей свою блистательную выходную арию? И наплевать на скотскую глупость свиновода Зупана, коли он может закрутить вихревое «Поедем в Вараздин!». А огромные, захватывающие душу финалы, поразительные по вдохновению и мастерству!..

Кальман всю премьеру оставался тих, грустен и впер-

вые ничего не записывал на манжетах или клочках бумаги.

— Что с тобой, милый? — с неиссякаемым терпением спросила Паула. — Почему ты опять невесел?

— Бедный отец! Я думаю о нем. Он так и не дожил до самой венгерской из моих оперетт.

Каждая новая оперетта на отечественную тему казалась Кальману «самой венгерской».

— Чудо, что он столько прожил. Ты продлил ему жизнь.

То была святая правда: старик Кальман, давно приговоренный к смерти, жил и жил вопреки всем диагнозам, прогнозам, опыту и мудрости медицины, словно на зло венским и будапештским эскулапам. Его держала напряженная воля сына: подчиняясь непонятному наитию, Имре сам назначал лечение и режим, отменял предписания врачей, выбирал лекарства и год за годом отвоевывал у смерти своего отца — к вящему раздражению медицинских светил.

Кальман растроганно коснулся бледной руки Паулы.

— Я так ясно вижу: вот он подсчитывает, какой доход даст «Марица», вспоминает — мне в назидание — о примерном сыне Беле и просит округлить свой долг ровно до десяти тысяч ста восемнадцати шиллингов. Он был поэтом в коммерции и коммерсантом в поэзии.

— Ты истинный сын своего отца, Имре. Я не видела человека, в котором так гармонично и естественно сочеталась бы полная художественная раскованность с трезвым расчетом.

Кальман кисло поморщился: комплимент показался сомнительным.

Когда они выходили из театрального зала, к ним протиснулась молодая, броско элегантная, какая-то профессионально красивая дама, дружески кивнула Пауле и ударила Кальмана веером по плечу.

— Неужели, Имре, я такая дура?

— При чем тут ум? — в нем не было и тени смущения. — Дело в характере.

— Попался, попался! — рассмеялась дама. — Сразу понял, о чем речь. Вы опасный человек, Имре, с вами надо держать ухо востро, а язык на привязи!

И, снова тепло улыбнувшись Пауле, она сбежала по мраморным ступеням лестницы к поджидавшему ее седоватому господину с меховой накидкой в руках.

— Кто это? — с любопытством спросила Паула.

— Агнесса Эстергази. Фильмовая звезда... Да ведь нас познакомили у Легара! Ты забыла?

¹ В первой редакции графиня Гугенштейн.

— Теперь вспоминаю, — Паула провожала Агнессу заинтересованным и добрым взглядом. — Она узнала себя в Марице?

— Это нетрудно. Я использовал ее словечки. К тому же взбалмошность, капризы...

— Похоже, ты неплохо ее знаешь?

— Кто не знает Агнессу? На то она и звезда.

— Она настоящая Эстергази?

— Самая настоящая. Из тех Эстергази, что уцелели при крушении Габсбургов. Кинематограф — ее призвание, а не средство к жизни.

— Зачем же ты высмеял такую славную женщину?

— Господи, для нее это дополнительная реклама. Вся Вена будет болтать: видели Марицу? Это вылитая Агнесса Эстергази. Я уверен, что она не сердится.

— Я тоже так думаю.

Похоже, Паула гордилась им, как мать сыном, успешно сдавшим государственные экзамены. «Да ты стал совсем взрослым, мой мальчик!» — говорил ее взгляд. Кальману стало не по себе: она будто видела его насквозь и дальше — в перспективе грядущих лет, куда он не мог, да и не осмеливался, заглянуть...

ИМПЕРАТОР

Это случилось на генеральной репетиции «Принцессы цирка», которую вел король венской оперетты, герой-любовник, режиссер и директор театра «Ан дер Вин» красавец Губерт Маришка.

— Эта ария героини лишняя, — безапелляционно заявил кумир Вены.

— Мне хочется оставить ее, Маришка, — посасывая незажженную сигару, проговорил Кальман. — Ты же знаешь, я сам постоянно стремлюсь к сокращениям, но...

Маришка в черном плаще и шелковой полумаске так посмотрел на Кальмана, что тот осекся. Не отводя глаз, Маришка сложил ноты вдвое и отшвырнул прочь.

— Начали!..

— Минутку, — не повышая голоса, произнес Кальман. — Я произведу еще сокращение.

Он подошел к пюпитру, снял ноты, вынул тетрадку и разорвал ее на четыре части.

— Как?.. Вы снимаете главную арию мистера Икс? — ошеломленно проговорил дирижер.

— Да... Продолжайте!

Казалось, Маришка то ли кинется на Кальмана, то ли потеряет сознание, он был блее пластрона своей сорочки.

— Кальман!.. — произнес он сдавленным голосом.

— Да, Маришка?

— Это лучшее, что ты создал.

— Мне это многие говорили, — равнодушно пробурчал Кальман. — Не задерживайте репетицию. У меня нет времени.

Маришка был корифеем австрийской оперетты, баловнем зрителей, властным и самолюбивым человеком, но прежде всего он был артистом. И пока на сцене творились суэта и растерянность, напоминающие панику в обозе, он подошел к дирижеру и коротко с ним о чем-то переговорил. Затем дал знак к продолжению репетиции. Оркестр заиграл вступление к арии мистера Икс. Маришка вышел на просцениум, опустил на колени перед Кальманом и запел:

Верни, Маэстро, песню сердца назад,
Верни мне радость, о, мой названный брат!
Я нищ и жалок без тех звуков и строк,
Мой дух подавлен, я опять одинок...

Спел настолько блистательно, что даже партнеры захлопали, а Кальман холодно спросил:

— Как с арией героини?

— Будет, будет, все будет, уже есть, Ваше величество!

— Так бы сразу... — Кальман прикрыл пальцами зевок. — А ты отлично спел, Маришка...

...С цветами и бутылкой вина, возбужденный и радостный, Кальман вернулся домой.

— Паула, Паула! — закричал он с порога. — Я — император!.. Ты и тут оказалась права. Я — император!.. Сам Маришка пел передо мной на коленях!..

В ответ — тишина. Дурная, давящая тишина. Встревоженный Кальман поспешил в комнаты.

Из спальни выползла старая слепая такса. Припав к полу, она вскинула длинную острую мордочку и завывала.

В страшном смятении Кальман распахнул дверь.

Паула лежала ничком вкось кровати, на подушке алели пятна крови. Казалось, она не дышит.

— Паула!.. — то был голос смертельно раненного зверя...

Женщина медленно открыла глаза.

— Я вернулась, — прошептала Паула. — Не так-то просто оставить своего старого мальчика... Но приучайся жить без меня, милый...

НЕ УХОДИ!..

Кальман медленно катил инвалидное кресло, в котором сидела больная обезножившая Паула. На руках у нее дремала дряхлая, совсем ослепшая Джильда. Она не обращала внимания на многочисленных товарок, прогуливающих по улицам. В ту пору Вена по справедливости считалась городом такс: для их удобства на тротуарах были установлены низенькие поилки.

Вот выбежала рыжая длинношерстная такса.

— Попьет! — сказал Кальман и перестал толкать кресло.

— Спорим! — с бледной улыбкой отозвалась Паула.

Такса подбежала к поилке и заработала розовым язычком.

— Ты всегда выигрываешь, — с обидой сказала Паула.

Такса скрылась за углом, а возле крыльца появилась другая — черная, с рыжими подпалинами.

— Попьет! — азартно вскричала Паула.

— Спорим! — отозвался Кальман.

Такса потянулась к воде, но почуяла свою предшественницу и со всех ног устремила ее вдогонку.

— Почему ты всегда выигрываешь? — почти жалостно спросила Паула.

— Но это же кавалер, а то была дама. Для него любовь сильнее жажды.

Кальман толкнул кресло...

У дверей их дома сверкал черно-зеркальными плоскостями большой «кадиллак». Кожаный человек за рулем прикоснулся кончиками пальцев к околышу фуражки с очками над козырьком. Кальман удивленно и отчужденно подумал, что эта большая нарядная машина принадлежит ему, а таинственный черный человек в коже — его шофер. Раньше он мечтал об автомобиле, это началось с тех давних дней, когда он проездил все деньги на только что появившихся такси — единственное безрассудство за всю его жизнь. Когда же он оказался в состоянии завести машину и нанять шофера, Паула была безнадежно больна, и ему все сделалось безразлично. Но она настояла на покупке машины. Кальман обрадовался, решив, что она преодолела

свое отвращение к автомобилям, и теперь можно чуть не беспредельно расширить ее жизненное пространство, жестко ограниченное инвалидным креслом. Но оказалось, Паула по-прежнему ненавидела бензиновую вонь, выхлопные газы и бессмысленную скорость, не позволяющую взглянуть в окружающее. Прежде он мог бы завести выезд, но в современной Вене держать лошадей было негде, извозчики перевелись, а кареты и старинные экипажи для туристов Паула отвергала как всякую подделку. Машина предназначалась ему, а Паула осталась при своем кресле с большими колесами.

Он покорился ее желанию. С тех пор как он понял, что болезнь Паулы неизлечима, а чудеса не повторяются (ему не продлить ее дней, как это посчастливилось с отцом), Кальман стал жить машинально, просто из привычки жить. Он машинально отбывал свой музыкальный урок, сочиняя новую оперетту «Герцогиня из Чикаго», без подъема и божества, но равнодушно зная, что она обречена на успех в силу рутины — императора приветствуют даже идущие на смерть, равно и потому, что в музыке непременно окажется то б р и о, которое всегда покоряет венскую публику; машинально спорил с либреттистами, верными Браммером и Грюнвальдом, машинально покупал ветчину, машинально ходил в кафе, что-то говорил, не слыша самого себя и ответов собеседников, и даже машинально завел любовницу. Впрочем, в безотчетности последнего не было уверенности, порой казалось, что тут им распорядилась чужая воля. Странны были его дни. Зачем-то надо было вставать, брэнчать на рояле, куда-то ехать, возвращаться, сбрасывать пальто на руки одной горничной, принимать пишу из рук другой, ложиться в постель, приготовленную третьей, его удивляла избыточная населенность прежде пустынного жилья.

Слабея с каждым днем, Паула уже не могла обслуживать дом с помощью одной служанки «за все». Но главное, она хотела облегчить Кальману ожидающее того сиротство. Он умел сочинять музыку, выгодно помещать деньги и выбирать вкусную ветчину — не так-то мало, но недостаточно, чтобы жить без призора. Во всем остальном он был беспомощен: не умел обслуживать себя, терялся перед посторонними, будь то привратница или дворник, не говоря уже о попрошайках всех мастей: от поддельных нуждающихся музыкантов до мнимых жертв войны. Его надо было оборонить от сквозняков бытовой жизни, и Паула усилила гарнизон. Она наняла трех приходящих горнич-

ных, дипломированную кухарку, опытного шофера, а для общего надзора — «дворецкого», как шутили друзья, пожилого, крепкого человека с военной выправкой — грозу неугодных посетителей. И последнее — она нашла ему любовницу. Да, это Паула незаметно подтолкнула друг к другу тяжелого, нерешительного Кальмана и рассеянную красавицу Агнессу Эстергази, которая при всей своей взбалмошности казалась ей «доброй бабой».

Паула хотела постепенно отучить Кальмана от себя, чтобы не так резок оказался переход к той жизни, где ее не будет рядом. Она уединилась в отдельной спальне, сводя постепенно их общение к нечастым совместным прогулкам. Она выбирала дни, когда болезнь делала ей маленькую поблажку и можно было навести бедную красу; не хотелось оставаться в памяти Кальмана с изглоданным недугом, влажным от слабости лицом, рдяно-острыми скулами и разрывающим худую грудь кровавым кашлем.

Но Агнесса недолго облегчала ей задачу. Веселый грешник Губерт Маришка рассказал Кальману, что у того есть «совместитель» — начинающий киноактер. «Милая Агнесса не хочет переутомлять себя», — добавил он со смехом. Кальман тут же, без объяснений, порвал с Агнессой и вместо разочарования и обид испытал неожиданное облегчение. Ему лучше было в сумерках Паулы, чем под чужим солнцем.

Кальман оборудовал свой подъезд специальными сходнями, чтобы удобней было вкатывать кресло Паулы. Не отличаясь ловкостью, он проделывал это довольно неуклюже.

— Бедный Имре, — вздохнула Паула, — как же я тебе надоела!

Они поднялись, «дворецкий» распахнул дверь. Кальман подкатил Паулу к столу, поставил перед ней вазу с прекрасными персиками, дымчатым виноградом.

— Зачем ты меня обижаешь? — грустно и серьезно сказал он. — Я и так уже не живу.

— Ты еще не начинал жить, Имре. Я не дала тебе счастья, а только в счастье жизнь.

— Перестань, Паула! Что такое счастье? Это когда улыбаются во весь рот, как на рекламе зубной пасты. Я этого не умею и не хочу уметь. Мне не нужна другой жизни, кроме нашей. Покой и работа — что может быть лучше? И печаль не враждебна музыке. Все, мною сочиненное, должно быть посвящено тебе, Паула. Ты вела меня и охраняла, не давала свернуть в сторону. Я жил твоим мужеством, твоей волей, твоим упрямством, твоей любовью.

Я слабый человек, если ты меня покинешь, — произнес он чуть ли не с угрозой, — я погибну, так и знай!

— Как это хорошо! — тихо засмеялась Паула. — До чего искренне! Какой ты дивный эгоист, Имре. Ты хочешь удержать меня в жизни, пугая своими бедами. Тебе даже в голову не приходит, что мне самой хотелось бы пожить еще немножко... Ну, просто так. Чтоб видеть солнце. Дерево за окном. Ты считаешь естественным, что мое существование полностью растворилось в твоём. И самое удивительное — ты прав. Если я дотянула до сегодняшнего дня, так только из боязни за тебя. У меня уже давно нет сил жить. Надо принять неизбежное, Имре, и научиться жить без меня.

— Не умирай, Паула! — у Кальмана прыгали губы, его усатое лицо стало беспомощным и детским. — Пожалей хоть мою музыку, если не жалеешь меня.

— Твоей музыке нужны инъекции горя. От этого она только веселеет. Из моей смерти получится хорошенький шлягер.

— Паула, ты меня ненавидишь?

— Я тебя слишком люблю, милый. Хочу облегчить тебе свой уход. Давай я напоследок стану стервой, чтобы ты вздохнул свободно.

— Как можешь ты так страшно шутить?

— А ты хочешь, чтобы я выла?.. Нет, постараюсь сохранить форму до конца. Выслушай меня внимательно. Ты не сможешь жить один. Но не заводи пустых связей. Это не для тебя. Женись. Возьми молодую, здоровую, хорошую, женщину, и пусть она родит тебе сына. У тебя комплекс отца. Ты так страшно переживал смерть своего старого, долго болевшего отца, потому что ощущал его вовсе не отцом, а сыном. Ты мучился своим несостоявшимся отцовством, хотя и боялся его. Я тебя устраивала, потому что не могла родить. Парадокс? Нет! Это снимало с тебя чувство вины за измену своей сути. Не бойся. Ты будешь прекрасным отцом. Ты вырастишь и воспитаешь не одного ребенка.

Джилльда зашевелилась, задергалась на руках Паулы.

— Опusti ее на пол, Имре. Странно, даже в таком древнем существе есть еще какие-то желания. Что ей нужно на полу?

Кальман взял таксу и опустил на пол. Джилльда стояла, пошатываясь и тупо уставившись в пол.

— Мы умрем с ней в один день, — сказала Паула. — Не выбрасывай ее на помойку. Зарой где-нибудь.

— Я все выполню, Паула: таксу похороню с воинскими почестями, женюсь на красавице и напложу детей. Ты довольна? — его боль перешла в ярость.

— Ну что ты, Имре? Перестань!.. Посмотри: мы еще все здесь, еще з д е с ь. Какое это чудо! Мы еще здесь... Возьми Джильду на руки и погладь меня по голове... Вот так... Это наш мир. Целых двадцать лет это наш мир...

...Ночью Кальману приснился старый сон, предвестник перемен: трещала и вскрывалась ледяная броня Балатона. Он ворочался, метался, громко стонал.

Потом настала тишина...

РАЗГОВОР С КОРРЕСПОНДЕНТОМ

— Зачем вам, серьезному писателю, понадобился Кальман? — вот первый вопрос, заданный мне в Будапеште, куда на исходе позапрошлого года я приехал «собрать материал об авторе «Сильвы».

Будь это праздное любопытство, я отделался б шуткой, но спрашивал корреспондент вечерней газеты, хмуроватый молодой человек в кедах, обвешанный фотоаппаратами с устрасшающими объективами. Он «накрыл» меня в гостинице «Аттриум», едва я успел переступить порог своего номера: такая оперативность удивила меня, но еще больше удивил сам вопрос.

— Вот не думал, что меня спросят об этом на родине композитора.

— Спросят, и не раз, — сказал журналист. — В вашей стране Кальман популярен, говорят, популярнее, чем у нас. Но вам-то л и ч н о он зачем?

— В двух словах не ответишь. Кальман для меня не просто важен, а важнее многого другого, да и не для меня одного...

...Это случилось в блокадном Ленинграде. Три девочки собирались в Театр музыкальной комедии, на премьеру. Да, в театр, потому что, всем смертям назло, Ленинград жил. Полуголодные опереточные актеры давали радостный, зажигательный спектакль, чтобы поддержать дух своих земляков. Спектакль, где была романтика и неподдельная ве-

селость, горячие человеческие чувства и занимательная интрига, где сквозь условность жанра пробивалась настоящая, полнокровная жизнь. Они давали «Сильву».

И три девочки, соседки по коммунальной квартире на Кировском проспекте, две постарше, одна совсем маленькая — первоклассница, чудом раздобывшие билеты на премьеру, взволнованно наряжались, крутятся перед зеркалом, потускневшим от чада печурки и испарений варящегося в кастрюле столярного клея — деликатеса блокадных дней. Их «туалеты» были до слез жалки — ведь все что-нибудь стоящее давно обменено на хлеб и червивую крупу. Они натягивали чулки так, чтоб не видно было дырок, сажей подкрашивали давно потерявшие цвет туфли, прилаживали какой-нибудь кружевной воротничок, или поясок, или брошку из крымских ракушек. Старшая девочка хотела подмазать свои бледные губы, но заработала от общей квартирной бабушки подзатыльник. Худые, как щепки, бледные и большеглазые, они казались себе в зеркале обворожительными.

Младшая из подруг ужасно беспокоилась, что ее не пропустят, хотя спектакль был дневной, поскольку не хватало электроэнергии. В своей коротенькой юбчонке, из-под которой торчали байковые штанишки, и свитерке-обдергайке она выглядела совсем крошкой.

— Бабушка, — просила она, — ну бабушка, дай же мне чего-нибудь надеть!

— Сидела бы дома, — ворчала та. — Рано по театрам-то шлендрать! — Но все же потащила к сундучку и вынула оттуда клок истершегося горностаевого меха — пожелтевшего, с почти вылезшими черными кисточками; некогда эта убогая вещичка была горжеткой.

Близкий взрыв сотряс стены квартиры, где-то со звоном вылетели стекла.

— Налет, — огорченно, но без всякого страха произнесла старшая девочка. — Неужели отменяют спектакль?

— Спектакль состоится при любой погоде! — важно произнесла вторая по старшинству. — При летной и при нелетной. По радио говорили.

Старушка набросила горжетку на худенькие плечи внучки. Истончившаяся от голода девочка обрела сказочный вид: не то «Душа кашля» из «Синей птицы», не то карлица-фея, но сама она была в восторге от своей элегантности.

— Совсем другое дело, — сказала она по-взрослому. — Теперь не стыдно идти на премьеру.

Подруги тоже успели собраться. Когда девочки выходили, маленькая приметила в прихожей выцветший и порванный летний зонтик.

— Бабушка, можно его взять?

— Да зачем он тебе? — удивилась старушка.

— От осколков, — сказала маленькая и, показав бабушке язык, схватила зонтик и выскочила на лестницу.

Они вышли из подворотни — три пугала, три красавицы, три маленькие героини, достойные своего великого города. Напротив их дома еще дотлевали останки школы, разбитой прямым попаданием немецкой бомбы.

Они прошли мимо объявления, привлечшего их внимание: «Меняю на продукты: 1) золотые запонки, 2) отрез на юбку (темная шерсть), 3) мужские ботинки желтые № 40, 4) фотоаппарат «ФЭД» с увеличителем, 5) чайник эмалированный, 6) дрель».

Под яростным ветром девочки перешли Кировский мост — внизу взрослые и дети с бадейками на салазках набирали воду из дымящихся прорубей, — миновали памятник Суворову и краем Марсова поля, где стояла зенитная батарея, вышли на Садовую улицу, затем на Невский и оказались у подъезда «Александринки» — там помещался Театр музыкальной комедии. Словно в довоенные дни, у театрального подъезда кипела взволнованная толпа, походившая, правда, на довоенную лишь своим волнением и жаждой «лишнего билетка», но никак не обликом: бледные лица, ватники, платки, валенки. И все-таки почти в каждом чувствовалось желание хоть чуть-чуть скрасить свой вид. Продавались программы на серо-желтой тонкой бумаге, а на афише значилось: Премьера. Имре Кальман. С И Л Ь В А.

Девочки вошли. Раздеваться в почти неотапливаемом театре было не обязательно, о чем предупреждало объявление, но, подобно большинству зрителей, они сдали в гардероб верхнюю одежду, только маленькая сохранила на шее свою ослепительную горжетку.

Девочки прошли в зал, где было немало военных — преобладали моряки, — заняли места. Их бледные лица порозовели: ведь сейчас начнется счастье, дивная сказка о красивой любви, и не будет ни холода, ни голода, ни разрывов бомб и свиста снарядов — немецкий огонь не прекращался во время спектакля, но никто не обращал на это внимания, — будет то, чем сладка и маняща жизнь.

И вот появился тощий человек во фраке, взмахнул большими худыми руками, и начался удивительный спектакль, где едва державшиеся на ногах актеры изображали

перед голодными зрителями любовь, страсть, измену, воссоединение, пели, танцевали, шутили, работая за пределом человеческих сил. Исполнив очередной номер, они почти вываливались за кулисы, там дежурили врач и сестра, им давали глоток хвойного экстракта, иным делали инъекцию.

Но зрители этого не знали. Они были покорены и очарованы. Не стало войны, не стало голода и смерти. Все отхлынуло — была любящая девушка из народа с нежным именем Сильва, и лишь ее горести, ее чувства были важны сидящим в зале...

И вот отгремел последний аккорд, стихли аплодисменты, широкие двери выпустили толпу.

Три девочки шли, пританцовывая и напевая: «Сильва, это сон голубой, голубой», — сами во власти голубого сна. Внезапно старшая девочка будто споткнулась, поднесла руку к сердцу и со странной, медленно истаявающей на худеньком лице улыбкой как-то осторожно опустилась на тротуар, припала к нему, вытянулась и замерла.

— Людка, ты с ума сошла! — закричала ее подруга. — Вставай немедленно! Простудишься!

— Люда, вставай, ну, вставай же! — со слезами просила маленькая.

Она опустилась на корточки, стала тормозить неподвижную Люду.

— Чего шумишь-то, — проговорила старушка с санками, — не понимаешь, что ли?..

И тогда обе девочки заплакали, закричали.

— Плачь не плачь, назад не вернешь, — сказала старушка. — Ступайте домой, я ее свезу, куда надо, мне не привыкать.

Она подняла почти невесомое тело, положила на санки и повезла...

Эту историю рассказывал людям после войны известный ленинградский литератор Недоброво. А потом я услышал ее куда подробнее от одной из этих девочек, пережившей блокаду и ставшей прекрасной женщиной.

Я и сам был причастен к блокадной премьере. Мне, двадцатидвухлетнему лейтенанту, работнику отдела контрпропаганды Политуправления фронта, пришлось сбрасывать листовку, посвященную «Сильве», над немецкими гарнизонами в Чудове, Любани, Тосно. В те дни немецкое командование вновь принялось втемняшивать своему приунывшему воинству, что «Ленинград сам себя сожрет».

Листовка содержала минимум текста и много фотографий: афиша у входа в театр, набитый до отказа зрительный зал, дирижер за пультом, сцены из оперетты, смеющиеся лица женщин, детей, солдат, матросов, заключительная овация. Крупным шрифтом было набрано сообщение о премьере «Сильвы» и приглашение немецким солдатам посмотреть спектакль в качестве военнопленных, добровольно сложивших оружие. Листовка служит пропуском для сдачи в плен («Дас Флюгблатт гилт альс Пассиршейн фюр ди Gefangengebete»).

— Кажется, я вас понял, — сказал корреспондент вечерней будапештской газеты.

Я счел нужным добавить, что благодарность Кальману вовсе не обязывает меня писать о нем жидкими слезами безоглядного энтузиазма. Кальман был живой человек со своими недостатками, сложностями, ошибками. Пушкин сказал, что в человеке выдающемся важна и дорога каждая черта. А Кальман так крепок, что выдержит все. Его не умалишь никакой правдой, как бы горька или смешна она ни была. Он встряхнется и встанет ясным и чистым, как новый день. Ибо он не в мелких очевидностях своего бытового темперамента, хотя и это интересно, важно, а в своей музыке...

ЧАСТЬ II

НИЧТО НЕ КОНЧИЛОСЬ

Кальман осторожно положил цветы на могильную плиту. Над черным гранитом возвышалась скульптура из белого мрамора: женщина, вглядывающаяся в далекую пустоту слепой сферичностью мраморных глаз. Так перед кончиной смотрела часами в окно Паула, не видя ничего, потому что взор ее был обращен внутрь, в глубь души и прошлого.

Ему сорок шесть, не так уж много, а скольких близких успел потерять: отца, брата, Паулу...

— Отчего так пустеет мир? — произнес он вслух и будто услышал тихий, насмешливо-нежный голос:

— Мы рождаемся в молодом мире. Нас окружают юные братья и сестры, полные сил родители, еще не старые деды. Мир стареет с нами, но быстрее нас. Вот уже ушли деды, потом родители, старшие братья и друзья. И никуда не деться от преждевременных потерь, кому-то на роду написано уйти до срока... Тебе надо было бежать от меня раньше, я все сделала для этого, когда-нибудь узнаешь. Лишь одного я не могла: бросить тебя сама — слишком любила...

Он коснулся плеча Паулы, ее высокой шеи — под рукой был холодный камень.

Когда он повернулся, то увидел у могильной ограды женщину, наблюдавшую за ним с выражением чуть комического сочувствия. Она была элегантна и очень красива. Некоторая усталость век обнаруживала, что страсти знакомы этому молодому существу.

— Агнесса? — удивился Кальман. — Что ты тут делаешь? Это не твое царство.

— Но и не твое, Имре, ты же боишься покойников. — Агнесса усмехнулась. — Тебе не идет поза безутешного вдовца. Для этого ты слишком эгоистичен.

— Да, я был плохим мужем Пауле. И наверное, окажусь плохим вдовцом. Но я и не позер, ты это отлично знаешь.

— Это правда. Ты не умеешь притворяться. И тебе, наверное, здорово плохо без Паулы. Поэтому я и приехала. Мне сказали, что ты бываешь здесь в это время.

— Очень мило с твоей стороны,— удивленно сказал Кальман.— Но я предпочитаю одиночество.

— Я предлагаю тебе одиночество вдвоем.

— Ты что, импровизируешь водевиль: «Ричард Третий в юбке» — соблазнение над могилой?

— Ну, соблазнила-то я тебя значительно раньше.

— И предала тоже.

— Боже мой! Лишь ты мог порвать отношения из-за жалкой мимолетной связи, которую я сама толком не заметила. Столько лет прожить в Вене и остаться жалким провинциалом!

— Тебе не кажется, что над могилой Паулы этот разговор не очень уместен?

— Надо считаться с живыми, а не с мертвыми,— жестко сказала Агнесса.— Много ты думал о Пауле, когда путался со мной?

— Паула сама прекратила нашу близость,— потупил голову Кальман.— Боялась заразить меня чахоткой. Я этого не боялся.

— Паула все знала о нас. Она переживала наш разрыв. Это была замечательная женщина с мужским умом. Она боялась за тебя и считала: какая ни на есть, я могу быть настоящим другом. Она хотела, чтобы мы поженились.

— Это дико,— помолчав, сказал Кальман,— но я верю тебе. Она настойчиво говорила, что я должен жениться и завести детей. Это была ее навязчивая идея. Мне даже казалось, что она готова назвать имя женщины, но меньше всего я мог допустить, что она имеет в виду тебя.

— Это почему же?

— Паула заставила меня верить в женскую порядочность.

— Бедный Имре! Тогда тебе лучше остаться холостяком.

— Я тоже так думаю.

— Но Паула не хотела этого.

— Не шантажируй меня ее именем.

— Что за тон, Имре? Ладно, бог с тобой. Но зачем же терять дружбу?

— Ты хорошо говорила о Пауле. За это тебе многое прощается. А дружить мы, наверное, сможем.

— И на том спасибо! Ты на колесах?

— Нет, Паула не выносила автомобилей. Я хожу сюда пешком.

Агнесса внимательно посмотрела на него.



— Нет, это не лицемерие. Ты по-настоящему любил Паулу. Давай я подброшу тебя в город.

Машина быстро домчала их до центра Вены. Возле погребка «Опера» Кальмана окликнул какой-то краснощекий человек.

— Это мой зять,— сказал Кальман Агнессе.— Я здесь сойду.

— Мы увидимся?

— Конечно. Только не на кладбище.

— Тебя не оставило чувство юмора. Ты будешь жить.

Кальман вышел из машины. Агнесса дружески помахала ему рукой.

— Поздравляю,— сказал зять.— Ты не теряешь времени даром.

Кальман пожал плечами.

— Какая женщина! — зять поцеловал сложенные щепотью пальцы.— И какое имя!.. Не знаю, что она в тебе нашла, но забрало ее крепко. Столько времени графиня Эстергази ждет пожилого мужчину с внешностью отнюдь не лорда Байрона.

— Не болтай!

— Я совершенно серьезно. Мы все... и твоя мама надеялись на этот брак. Она молода, красива, богата и знатна. Представляешь, как будет звучать: графиня Кальман-Эстергази, граф Кальман-Эстергази!..

— Я Кальман, и с меня этого достаточно.

— Надо и о родне думать. Нам давно хотелось породниться с аристократами. Может, у тебя на примете какая-нибудь Габсбург или Нассау? Признайся честно своему верному Йоше. Хочешь стаканчик чего-нибудь?

— Нет. Ты мне надоел со своими пошлостями. Пойду в кафе «Захер».

— Не сердись, Имре. Я же любя.

Кальман не ответил и пошел через улицу в сторону избранного венской богемой кафе.

Он вошел и, рассеянно раскланиваясь с посетителями, двинулся к своему обычному столику у окна.

Официант, не спрашивая заказа, с быстротой молнии поставил перед ним кофейник, чашку и стакан с ледяной водой. Чиркнул спичкой. Кальман с наслаждением закурил сигару. Голубое облако всплыло перед ним. Он пропустил мгновение, когда в этом облаке обрисовалось вначале смутно, затем все отчетливей девичье лицо такой светлой и радостной красоты, что вторично будет явлена человечеству спустя годы и годы в образе юной Мэрилин Монро. То же

золото волос, синь глаз, кипень зубов в большой легкой улыбке, та же нежнейшая кожа, совершенная линия шеи и плеч. Но в этой девушке было больше какой-то благородной прочности, при всей деликатности сложения, в ней не чувствовалось даже намека на излом, будто ее растили в особо здоровом, напоенном свежестью трав и цветов пространстве.

Кальман прочно устоял на нее, но девушка, занятая разговором с подругой, не догадалась об этом неприличном разглядывании. Когда же она неожиданно повернулась в его сторону, он успел скрыться в густом облаке дыма.

Официант как раз что-то прибирал на его столике.

— Запишите на мой счет! — крикнула девушка и быстро пошла к выходу.

Кальману показалось, что официант хотел кинуться за ней вдогонку.

— Обер! — остановил его Кальман.— Кто эта девушка?

— А, не стоит разговора, господин Кальман. Какая-то статисточка... Никогда не платит за кофе.

— Сколько она задолжала?

— Семь шиллингов четыре крейцера,— без запинки ответил официант.

— Запишите на меня,— сказал Кальман.— Она одна приходит?

— Если вы о кавалерах, господин Кальман, то одна. Раньше ее приводила мамочка. Эта хоть тихая, стеснительная. А мамочка — не заплатит да еще наорет.

— Ладно. Вам будет уплачено, и довольно об этом.

Кальман отвернулся и вдруг увидел в окне удаляющуюся фигуру девушки. Увидел ее длинные, стройные ноги, осиную талию, тонкое, долгое юное тело. Увидел в неестественном приближении, как будто навел бинокль. Девушка вдруг оказалась совсем рядом, ее можно было бы позвать шепотом. Но то был оптический обман. Она мгновенно отдалилась на всю длину улицы и вдруг исчезла, как стаяла. Но и это был обман, она продолжала существовать где-то там, в толпе и сумятице городской жизни, ее можно опять увидеть, хотя бы в этом кафе... Ему казалось еще недавно, что все кончилось. Да, все кончилось, но все начиналось снова...

ВЕРУШКА

Со стороны могло показаться, что это одевают манекен. Но не было тут сторонних наблюдателей, все обитательни-

цы захудалого пансиона с пышным названием «Централь» принимали участие в великой женской заботе. И обряжали они вовсе не манекен, а живую, нежную, розовую, дышащую плоть — изумительно сложенную золотоволосую девушку, стоящую посреди комнаты. Пахло утюгом, пылью, недорогими духами. Каждая деталь туалета придирчиво осматривалась, чистилась, встряхивалась, проглаживалась, опрыскивалась «Лориганом для бедных» и надевалась на обнаженную красавицу.

Вот на ней оказался лифчик, потом один чулок, другой, пояс с подвязками; подвязки соединились с чулками, натянув их до отказа и обрисовав длинные стройные ноги с высоким благородным подъемом и сильными икрами; ступни всовываются в черные лакированные туфли. Затем девушка продела руки в кружевные рукава тончайшей, просвечивающей кофточкой.

— Штанишки! — крикнула одна из добровольных камеристок. — Мицци, что ты там копаешься?

Из смежной двери высунулось покрасневшее от раздражения лицо рыжеволосой Мицци.

— Чего орете?.. Дырка на самой попке. Пьяный дурак Мориц уронил пепел. Сейчас зашью.

— Неужели других нет? — подал жалобный голос «манекен».

— А у тебя есть?.. Чем мы лучше?.. У одной Мицци приличные деду и те прожгли.

— При наших заработках — хоть бы фасад содержать в порядке! — сказала маленькая травестиюшка.

Наконец Мицци залатала дырку.

Одна нога, другая нога, через голову накидывается юбка, теперь жакет, шляпка. Чего-то не хватало... Добрая ворчливая Мицци принесла сумочку на длинном ремешке.

— Только не крути ее вокруг пальца, — предупредила Мицци, — это неприлично.

Полностью экипированная красавица подошла к зеркальной дверце шкафа и отразилась там во всем своем великолепии. Это уже знакомая нам посетительница кафе «Захер», чей кофе с королевской щедростью оплатил потрясенный ее красотой Кальман.

— Только смотри, Вера, к трем часам ты должна вернуться. Иначе мне не в чем будет выйти, — сказала одна из девушек.

— Не забудь где-нибудь сумочку, — предупредила Мицци.



— И штаны тоже,— злобно сказала женщина с прилипшей к губе папироской.

— Не суди по себе, Грета! — огрызнулась Вера.

— Не залей юбку, я в ней выступаю,— поступило очередное напоминание.

— Не бойтесь, девочки, все будет в полном порядке,— заверила подруг Вера, ловко орудуя пуховкой.

— Имей в виду: за чулки убью! — пригрозила травестюшка.

— У меня в два сорок массовка — не забудь...

— А у меня в три проба...

— Брось,— сказала курильщица,— на тебе некуда пробу ставить.

— Да успокойтесь, девочки, как вам не стыдно? — выщипывая брови, сказала Вера.

И хоть сильно беспокоились за свои жалкие вещички насельницы пансиона, они все равно рады за подругу, которой, похоже, наконец-то засветило солнце. Под малогостеприимным сводом собрались юные и не очень юные существа, с которыми жизнь обошлась довольно сурово: актрисы без ангажемента, балетные статисточки — «крысы», как сказано у Бальзака, будущие кинозвезды, не продвинувшиеся дальше массовки; обездоленные существа стойко держались против злого ветра неудач, хотя редкая устояла бы против временной связи с хорошо обеспеченным господином.

— А кто он хоть такой, этот твой банкир? — спросила курящая.

— Странно,— подмазывая губы и оттого чуть прищепывая, отозвалась Вера,— я его тоже приняла за банкира, когда он подошел ко мне в кафе. Он такой полный, солидный, неторопливый, молчаливый, настоящий делец, а знаете, кем он оказался? Кальманом!

— Каким еще Кальманом?

— Ты с ума сошла? Не знаешь короля оперетты?

— Ладно болтать-то! Ври, да знай меру. Будет Кальман с тобой связываться. Ему — только свистни... Весь балет...

— И все солистки...

— И все примадонны...

— Да у него роман с графиней Эстергази,— важно сказала Мицци.

Вера несколько растерялась перед этим натиском.

— Как же так?.. Он обещал представить меня Губерту Маришке. Тот даст мне роль в «Принцессе из Чикаго».

— Губерту Маришке?.. Красавцу Губерту?.. Любимцу Вены?.. Да он просто жулик, этот твой бухгалтер.

— Ладно, снимай жакет! Нечего дурака валять. Этому счетоводу и так много чести...

— А что же ты не спешишь к господину Кальману? — ехидно сказала курящая.— Уже двенадцатый час.

— Он обещал заехать за мной на машине.

Девушки издеваются над Верой не по злобе — от разочарования. Они поверили чудной сказке, оказывается, опять обман, не солидный покровитель, а какой-то очковтиратель.

Послышался резкий автомобильный гудок.

Девушки кинулись к окнам. Внизу стоял открытый «кадиллак» Кальмана. Кальман курил сигару, откинувшись на сиденье, шофер в черных защитных очках мял грушу клаксона.

— Он! — охнула белобрысая статисточка.

— Кто он?!

— Дер Кальман,— прошептала «крыса» и лишилась сознания...

...В третьем часу дня в пансионе «Централь» началась паника. Девушки — в туалете каждой чего-то не хватало — яростно бранили запозднившуюся подругу.

— Делай после этого добро людям!..

— Я опаздываю на свидание!..

— Небось сидит в ресторане и корчит из себя светскую даму!..

— Если я потеряю роль — глаза выцарапаю! — пообещала травестюшка.

И тут появилась запыхавшаяся Вера.

Девицы накинулись на нее, как грифы на павшего верблюда, и стали сдирать свои вещи...

Вера в халатике и стоптанных домашних туфлях убежала подруг не сердиться.

— Девочки, милые, честное слово, я не виновата. Господин Кальман никак не мог сговориться с директором Маришкой.

— Неужели с ним настолько не считаются?

— Он там император! — гордо сказала Вера.

— Так за чем же дело стало?

— Маришка сразу принялся ухаживать за мной. А Кальман сказал: «Маришка, ты мне мешаешь». Совсем как в

«Княгине чардаша». Тот отстал, но разозлился и нарочно развел канитель.

Вбежала готовая на выход Мицци, брезгливо держа что-то завернутое в промасленную бумагу.

— Это что такое?

— Бутерброд с ветчиной. Господин Кальман меня угостил. Он любит ветчину и всегда носит с собой в пакетике.

— Не много же ты заработала! — обдала ее презрением Мицци и выметнулась из комнаты...

— Ну, а роль тебе хоть дали? — поинтересовалась травешюшка.

— Дали. Маленькую. Всего несколько слов. Но с проходом через всю сцену. О, мне бы только показаться публике!

— Отбоя не будет от ангажементов!..

Еще несколько шуток, запоздалых охов по поводу незамеченной дырки, спущенной петли, и девушки, будто воробы, разом вспорхнули и улетели. Да они и были под стать воробьям, только в отличие от пернатых собратьев иной день и зернышка не наклеивали в городском навозе...

В опустевшем пансионе «Централь» Вера гладила свое старенькое платье в комнатке толстой, расплывшейся консержки.

— Ну как я пойду в ресторан в таком виде! — с отчаянием сказала Вера. — Может, отказаться?

— Ему нужна ты, а не твое платье. Неважно, как женщина одета, важно, как она раздета.

— Но я еще не женщина, тетушка Польди. О чем вы говорите?

— Зачем же ты идешь?

— Он мне нравится. Он знаменитый. На него все смотрят. И я никогда не была в дорогом ресторане.

— Хочешь совет? Есть у тебя хоть одна приличная вещь? Шарфик? Дай сюда этот шарфик.

Вера принесла шарфик. Тетушка Польди встала и с неожиданной грацией принялась играть пестрым лоскутом ткани, то повязывая вокруг шеи, то накидывая на плечи, то лаская пальцами, словно мужскую руку. Вера смотрела как завороженная.

— Поняла?.. Привлекай внимание к этому шарфику, и мужчина ничего больше не увидит. Ни старого платья, ни дырявых чулок, ни сношенных туфель. Мужчины, дитя мое, вообще не видят, как женщина одета. Мы обманиваем

самих себя, считая, что одеваемся для мужчин. Мы одеваемся только друг для друга.

Вера не слушала, с подавленным ужасом смотрела она на безобразную старуху, бывшую когда-то неплохой актрисой и, наверное, привлекательной женщиной.

— Тетушка Польди, а как же так случилось?..

— О чем ты?

— Все это... — Вера обвела вокруг себя рукой.

— Ушла красота, ушла молодость. Я не умела откладывать на черный день. Я жила. И ни о чем не жалею. У меня была жизнь. Смотри, платье сожжешь.

Вера поспешно отняла уют; в синих сосредоточенных глазах — твердая решимость не повторить судьбу тетушки Польди.

Кальман пришел вовремя. Вера высмотрела его из окна и сбежала вниз, прежде чем он успел позвонить. Она сразу убедилась в мудрости старой привратницы. Утром он внимания не обратил на ее элегантный туалет, а сейчас, невольно следя за игрой с шарфиком, заметил:

— Как вы мило одеты!..

Но эта игра не ввела в заблуждение зятя Кальмана Йошу, когда они, отпустив машину, вошли в вестибюль его ресторана. Он кинулся им навстречу, но вдруг отступил и стал быстро-быстро говорить что-то по-венгерски. А говорил он, что Кальман, видать, сошел с ума, если позволил себе привести в ресторан эту нищенку.

Кальман пытался ему возражать, но тут Вера повернулась и кинулась прочь.

Он успел — при всей своей тучности — настичь ее в дворах. Они почти вывалились на улицу под начавшийся, как и положено, дождь.

— Что с вами, Верушка? — впервые назвал он ее тем именем, которое останется за ней навсегда.

— Я понимаю по-венгерски, — прозвучало сквозь слезы.

— Не обращайтесь внимания на этого мужлана... Он приползет к вам с извинениями.

— Не нужны мне его извинения. Он прав. Я нищенка, а нищие не ходят по ресторанам.

— Мне казалось, что вы так мило одеты!..

Они шли под проливным дождем и не замечали, что промокли до нитки, что в туфлях хлюпала вода.

— Я хорошо знаю бедность, — говорил Кальман. — Мы все исправим. Как жаль, что магазины уже закрыты.

— Но я хочу есть, — жалобно сказала Вера. — За весь день я съела один ваш бутерброд с ветчиной.

— Бедная девочка! Знаете что, я живу поблизости. Не бойтесь, это вполне прилично. Дом полон прислуги, нам быстро приготовят поесть.

— Господин Кальман, с вами я ничего не боюсь.

Кальман накинул на плечи Веры пиджак, и они побежали сквозь дождь к его дому.

Дверь открыл важный камердинер с военной выправкой и ухоженными, торчащими вверх усами. Он снял с Вериных плеч пиджак своего хозяина и с нескрываемым презрением окинул взглядом непарадную фигуру посетительницы.

В коридор заглянула горничная, из кухни высунулась кухарка. По совету Агнессы Эстергази он перевел гарнизон на казарменное положение.

— Помогите dame, — сказал Кальман горничной. — А потом проводите в гостиную. Я пошел переодеваться.

Камердинер последовал за ним, а горничная панибратским жестом пригласила Веру в ванную комнату.

Переодеваясь, Кальман давал указания камердинеру:

— Ужин — холодный, вино — подогретое. Накройте в малой гостиной. Затопите камин. Да... обязательно — устрицы и к ним мозельвейн.

— Слушаюсь.

— Dame предложите рюмку «мартеля».

— Может, просто стопку шнапса? — с невинным видом сказал камердинер.

Кальман стал императором, но не для наглых столичных слуг.

— Делайте, как я сказал.

Когда Вера вышла из ванны с плохо просушенной головой, в мокроватом, жалко обтягивающем платье и мокрых туфлях, она сразу почувствовала по выражению лица величественного камердинера свою низкую котировку. Она хотела сесть на диван.

— Не сюда, — сказал камердинер и показал на стул с плетеным сидением.

Вера села, с ног ее текло, она попыталась надвинуть на пятно коврик, но ее остановил железный голос камердинера:

— Не пытайтесь, дамочка. Паркет все равно испорчен.

— Я вам не «дамочка», — сказала Вера, смерив его взглядом. — Имейте уважение к гостям своего хозяина.

Камердинер покраснел, он не ожидал отпора.

Кухарка из любопытства сама подавала на стол. Она принесла устрицы на льду, аккуратно нарезанные дольки лимона, поджаренный хлеб. Камердинер открыл бутылку белого вина.

Вера не торопилась. Она смотрела, как Кальман взял половинку устричной раковинки, выжал туда дольку лимона, подцепил маленькой вилкой студенистый комочек и отправил в рот. Со светским видом последовала она его примеру, но не смогла проглотить кислый, холодный и с непривычки довольно противный комочек. Камердинер прятал усмешку, правда не слишком старательно.

— Выплюньте, — тихо сказал Кальман.

Но Вера заставила себя проглотить устрицу.

— Это, видимо, отсендские, — сказала она с апломбом. — Некоторые их любят. Но мне всегда чудится легкая затхлость. Я признаю только устрицы Бискайского залива: ла-рошельские или олеронские. — У Веры была цепкая память, бессознательно вбиравшая любые сведения.

— Слушайте, Фердинанд, — сказал Кальман. — Надо брать только бискайские устрицы. А эти уберите!

— Слушаюсь! — отозвался камердинер и посмотрел на Веру.

И она посмотрела на него: открыто, прямо и вызывающе. В их взглядах читалось: увидим, кто кого. Но Кальман ничего этого не заметил.

— Разрешите выпить за вас. За ваш дебют.

Они выпили.

— Я старше вас на тридцать лет, — сказал Кальман. — Могу я называть вас Верушкой?

— Пожалуйста, — улыбнулась Вера. — Хотя никто меня так не называл.

— А когда вы ко мне привыкнете, когда мы подружимся, вы будете называть меня Имрушка, хорошо? Это напомнит мне детство, родительский дом, молодых родителей, сестер, брата.

— Вы очень любили свою семью?

— Я и сейчас люблю, памятью — ушедших, сердцем — оставшихся.

— Вы очень хороший человек, — искренне сказала Вера. — Я не видела таких хороших людей.

Полужинав, они пересели в низкие мягкие кресла у камина, им подали кофе. Спросив разрешения, Кальман закурил сигару и сквозь завесу дыма долго смотрел на Верушку. Она, отогрившись и насытившись, наслаждалась уютом, покоем и тишиной гостиной, потрескиванием поленьев в камине, игрою пламени и присутствием деликатного, надежного и милого человека. Но что-то женское неудовлетворенно попискивало в ней.

— Какие у вас круглые колени! — задумчиво произнес Кальман.

— Разглядел! — засмеялась Верушка. — Нельзя сказать, что вы слишком наблюдательны!

— У вас удивительно красивые ноги, — осмелел Кальман.

— Но в дырявых чулках, — добавила Вера.

— Верушка, — колебавшись, сказал Кальман. — Могу ли я попросить вас пойти со мной завтра в город и несколько обновить ваш туалет?

— Несомненно! — с комическим вздохом отозвалась Верушка. — Я ни в чем не могу вам отказать. Но с одним условием, — добавила она серьезно: — Я беру у вас в долг. Верну из первой полочки.

— Разумеется, — сказал Кальман. — Я это и имел в виду. А сейчас я пошлю за такси. Вам завтра рано в театр...

Несмотря на юный возраст, Верушка всегда твердо знала, чего хочет, другое дело, что знание своих потребностей ничего ей не приносило. Иначе было сегодня. В магазине на прекрасной Кернерштрассе Верушка без проволочек приобрела голубое плиссированное шелковое платье, под цвет ему туфли, сумочку, перчатки и — верх изыска — в голубых тонах трехцветную косынку. Переодевшись, она гордой и легкой поступью подошла к Кальману, поджидавшему ее в автомобиле.

— Голубая симфония! — произнес он восторженно и с более деловой интонацией осведомился, где же сверток со старыми вещами.

— Зачем тащить старые тряпки в новую жизнь? — со смехом отозвалась Верушка.

Кальман даже не улыбнулся: подобная расточительность была ему глубоко чужда. Верушка не догадывалась, с каким аккуратным и бережливым человеком свела ее судьба. Когда же догадается, то разнесет в щепы жизненные устои Кальмана. Но это случится много позже.

— Куда пойдем обедать? — спросил Кальман, оправившись от легкого шока.

— К вашему зятю, — решительно ответила Верушка.

Жажда реванша пронизывала ее юное, но испытавшее уже немало унижений сердце.

«Кадиллак» остановился возле заведения Йоши. Когда Кальман и его спутница вошли, шустрый ресторатор со всех ног кинулся к ним навстречу. Кальман не подал ему руки, лишь проворчал угрюмо:

— Сперва извинись перед дамой.

— Я впервые вижу эту прекрасную даму и ни в чем перед ней не виноват, — хладнокровно сказал Йоша. — Милости прошу, уважаемая госпожа, весь к вашим услугам! — и он любезно поклонился Верушке.

— Ты негодяй! — вскипел Кальман.

— Он умный человек, — улыбнулась Верушка. — Я не намерена принимать извинения за глупую замарашку, сунувшуюся в первоклассный ресторан. — И Вера протянула руку Йоше.

— Мы будем друзьями, — сказал тот, склоняясь к ее руке...

...Красивая и нарядная, с маленьким чемоданчиком, Верушка отправилась на премьеру «Принцессы из Чикаго».

— Пожелайте мне удачи, тетушка Польди. Сегодня у меня премьера.

— Дай бог тебе счастья, девочка! — тетушка Польди схватилась за край деревянной скамейки. — Большая роль?

— Слов десять... Но самая важная в моей жизни. Я приду поздно, если вообще приду.

— Значит, все-таки женится?..

— А куда ему деваться?.. Но уж очень он нерешительный.

— Кавалер старой школы.

— Слишком старой.

— Это у нынешних: раз-раз — и на матрас. А он приглядывается. Хочет понять: по любви ты за него идешь или по расчету.

— Почему это надо разделять? Конечно, я полюбила. Но ведь я знаю, что он не лифтер и не жилеточник. Влюбиться можно и в голь перекатную, но тогда я бы подавила свое чувство.

— Умница! У тебя сердечко с головкой в ладу. Я сразу, как тебя увидела, поняла, что ты в «Централе» не задержишься.

Премьера прошла триумфально, что уже стало привычным для Кальмана. И Верочка промелькнула по сцене эффектно, хотя замечена была лишь наметанным глазом старых любителей опереточных див, вроде пресловутого Ферри.

Кальман без конца выходил раскланиваться и был величествен, как Наполеон на торжественных полотнах Давида, благо он напоминал великого корсиканца малым ростом, дородностью и угрюмством.

Вера быстро разгримировалась и сбежала вниз, к дверям артистического подъезда, где, как она полагала, ее будут ждать Кальман, но Кальмана не было.

— Господин Кальман не приходил? — спросила она привратницу, потягивающую кофе из большой фаянсовой кружки.

Та отрицательно мотнула головой.

За стеклянными дверями проносились косые струи дождя, как будто нанявшегося сопровождать все перипетии Вериного романа.

Сверху донесся шум. Спускалась большая и блестящая компания. Возглавлял шествие сияющий, неотразимый Губерт Маришка об руку с примадонной. За ним, обведенный почтительным кругом, шествовал император Кальман об руку с графиней Эстергази, она что-то быстро говорила, и Кальман внимательно слушал, склонив к ней лысоватую голову, а сзади по бокам роились субретки, комики, оркестранты, замыкал шествие длинновязый маэстро. Конечно, они шли отметить премьеру.

Верочка выступила вперед, очаровательно улыбаясь, но рассеяннo-самоуверенный взгляд Губерта Маришки лишь скользнул по ней и ушел в пустоту, а Кальман даже не оглянулся, и никто из партнеров не обратил на нее внимание. Она была чужая им: статисточка, которую по знакомству выпустили на сцену. И тут она со стыдом и болью почувствовала, как тускло выглядит не только рядом с роскошной Эстергази и примадонной, но даже с рядовыми артистками, умеющими придать себе блеск малыми средствами. Она отступила в тень.

Веселая толпа прошла, обдав ароматом духов и пудры, сладким запахом дорогих сигар, благоуханием удачи. А за дверями, дружно раскрыв зонтики, погрузилась в иссеченную дождем ночь.

Вера выглянула за дверь — ливень сек по тротуарам, мостовой, листьям каштанов и платанов, по редким фигурам прохожих, крышам лимузинов, кожаным верхам извозчичьих пролеток, куда ни глянь — разливанное море.

— Тетя Пеппи, одолжите мне ваш зонтик, — попросила Вера привратницу.

— Еще чего! А если мне понадобится самой выйти?

— Но вы же никуда не выйдете до завтрашнего утра.

— А пописать? Ночью я люблю это делать под платанами. Хорошо обдувает.

— Мне так далеко идти...

— Дойдешь — не сахарная!.. Зонтик денег стоит.

— Какая же вы недобрая!..

— Посмотрим, какой ты будешь в мои годы!.. Не взяли тебя, — сказала она злорадно. — Ишь, вырядилась!.. Кому ты нужна, крыса?! — закончила со всей злобой неудавшейся жизни.

Слеза выкатилась из Вериного глаза. Девушка пошла к дверям и вдруг увидела поднос с песком и в нем — брошенные мужчинами недокуренные сигары. Она узнала толстую дорогую сигару Кальмана, уже погасшую, с серым колпачком пепла. Сама не зная зачем, она взяла окуроч, сунула в сумочку и вышла на улицу.

Она шла по лужам и ручьям, не выбирая дороги, нарочно ступая в самый поток, и слезы на лице ее смешивались с дождевыми каплями.

Насквозь промокшая, она подошла к своему мрачному пансиону и увидела у подъезда знакомую фигуру с зонтом.

— Верушка, — сказал Кальман, — куда вы запропастились?

— И вы еще спрашиваете?.. Вы прошли мимо меня с этой роскошной графиней и даже не оглянулись!

— Я вас не видел, — простодушно сказал Кальман. — Я немного проводил графиню, объяснил ей, что на меня нечего рассчитывать, извинился перед друзьями и вернулся назад. Но там была только старая ведьма с огромной кружкой кофе.

— Мне надоело ждать, и я пошла к своему дружку. Он живет рядом.

— Вот как!.. — Кальман опустил голову и медленно повернулся.

— Имре! — вскричала Верушка. — Нельзя же быть таким наивным. Какое свидание?.. Какой дружок?.. Я плакала и шлепала сюда по лужам. С вашим окурком в сумочке. — Она достала остаток кальмановской сигары.

— Зачем вы его взяли? — Кальман был глубоко поражен.

— Сама не знаю... Как последнюю память о вас...

— Верушка, — растроганно сказал Кальман. — Скоро закрытие сезона. Поедьте в Венецию.

— Это неудобно, Имрушка.

— Спасибо, что вы меня так называли. Пригласим вашу маму. Кстати, где она?

— В Румынии.

— А что она там делает?

— Выходит замуж. Но она немного потерпит... ради меня...

Гондола скользила по каналу, отражавшему серпик месяца. На фоне звездного неба вырисовывались контуры дворцов и высоченной колокольни собора Святого Марка. Затих неумолчный треск голубиных крыльев на соборной площади. Сизари, турманы, воркуны, чистяки разлетелись по крышам для недолгого чуткого сна.

Гондольер лениво шевелил веслом. Под балдахином на вытертом бархатном сиденье полулежал Казанова-Кальман, к плечу его приникла расцветшая на регулярном венецианском питании Верушка.

— Скажи, чтобы он спел что-нибудь народное, — попросила Верушка.

И на ужасной смеси немецкого, французского, с примесью условно итальянского — «бамбино», «баркарола» — Кальман заказал гондольеру венецианскую песню о любви, подтвердив серьезность заказа несколькими сольдо.

Гондольер отложил весло, достал гитару и не слишком приятным, но верным голосом запел нечто весьма далекое от колеблющегося ритма баркаролы:

Сияют звезды на небе ясном,
В жемчужном круге плывет луна.
Когда вместе мы с тобой,
И вдали шумит прибой,
О счастье вечном звенит струна!..

— Это не венецианская песня. Это Кальмана.

— Какого еще Кальмана? — удивился гондольер. — Народ поет.

— Народ, может, и поет, но это мелодия из оперетты «Баядера».

— Синьор что-то путает, — натянуто улыбнулся гондольер.

Чтобы задобрить его, Кальман кинул еще несколько монет.

Гондольер пришел в хорошее состояние духа и громко запел шлягер из «Княгини чардаша».

— Это тоже Кальман, — огорченно сказал композитор.

— Какой Кальман? — разозлился гондольер. — Не буду петь!.. — и скрепил это решение международной формулой разрыва: — Моя твоя не понимай.

— Ты слишком популярен, Имрушка, — сказала Вера. — Вчера в траттории весь вечер играли попурри из «Марицы».

— А я что — виноват? — проворчал Кальман. — Маришка утверждает, что на страшных Соломоновых островах

ритуальные убийства происходят под вальс из «Принцессы цирка».

— Очень остроумно, — сухо вато одобрила Верушка. — Пусть гребет к берегу. От воды несет, и слишком много дохлых крыс.

Кальман дал распоряжение обиженному гондольеру, и вскоре они вылезли из гондолы на набережной Скъявоне, неподалеку от моста Вздохов, о чем Кальман счел нужным напомнить Верушке.

— К вздохам этих несчастных прибавятся и мои вздохи, — сказала Верушка.

— Тебе надоело наше путешествие?

— Нет, ты мне надоел, Имрушка. А еще — гнилые дворцы, вонючие каналы, голубиный помет, запах жареной рыбы и туристы с отвисшими челюстями. А главное — вода. Всюду она колышется, плещется, хлюпает. И все тут какое-то зыбкое, ненастоящее. А я хочу прочной жизни на прочной земле. Мне надоела неопределенность.

Из всей ее длинной тирады, смысл которой был совершенно ясен, Кальман задержал в сознании лишь первую фразу и откликнулся на нее.

— Я должен был это предвидеть. Такая разница лет!.. Ты могла быть моей внучкой...

— Не завирайся, Имрушка. Тогда твоему сыну или дочери пришлось бы родить меня в двенадцать лет.

— А что ты думаешь, известны случаи... — Он понял, что зарепортовался, и продолжал в ином, серьезном и печальном тоне: — Никогда еще не вторгался я так глубоко в судьбу другого человека. Как хорошо мне было с тобой! Но даже в самые дивные минуты к моему счастью примешивалась боль. Ведь на свете столько мужчин, которые куда моложе и во всех смыслах привлекательнее меня.

— Разве я дала тебе повод сомневаться в моей верности? — несколько сбита с толку витийством обычно молчаливого человека, спросила Верушка.

— Неужели я оскорблю тебя подобным подозрением? Я просто неисправимый пессимист. Таким сделала меня жизнь. Я и дальше пойду скорбным путем одиночества...

— И думать забудь! — прозвучал серебристый, но твердый голосок. — Ты меня достаточно скомпрометировал.

— О чем ты, Верушка? — Интонация глубокой скорби задержалась в его голосе.

— Я согласна.

— С чем ты согласна?

— Согласна стать твоей женой.

Это было слишком для изношенного сердца, и Кальман схватился рукой за перила горбатого мостка, перекинутого через узкий канал. «Что со мной? — думал он смятенно. — Ведь сбылась заветная мечта. С первого взгляда я понял, что в ней моя судьба. Иначе за каким чертом стоило покупать дом?..»

Он купил дом перед поездкой в Венецию под нажимом Агнессы Эстергази. Насколько непостоянна была она в любви, настолько верна в дружбе. Поняв — без тени страдания, — что браку с Кальманом не бывать, она, будто выполнявшая невысказанный наказ Паулы, стала опекать его. «Тебе надо жениться, — убеждала его Агнесса. — Но ты не поселишь другую женщину во владениях Паулы. Брось скаредничать. Квартиры, даже большие, неудобны. Тебе нужен дом, чтобы в нем была детская половина... — И в ответ на протестующий жест: — Ты же непременно наплодишь кучу кальманят. Дети орут с утра до ночи, ты не сможешь работать. Женись на этой хорошенькой статисточке, как там ее?.. Она улучшит кальмановскую породу. Хватит низкорослых толстяков, она длинноногая, стройная, что надо! «Зачем я ей нужен?» — сумел он вставить. Агнесса возмутилась: «Ну знаешь, если ты годился для меня!..»

А сейчас его любимая произнесла «да», в Вене их ждет дом, которому уже присвоено название «Вилла Роз», вокруг дивный розарий, ароматом роз будут дышать его дети — вот оно счастье, о котором говорила Паула, но все его недоверие к жизни всколыхнулось мутной волной и затопило готовую вспыхнуть радость. Он сказал осторожно:

— Если мы скрепим наш союз... твоя мамочка... уедет хотя бы в Румынию?

— Да, — убежденно ответила Вера. — Ей тоже надо добить свое дело.

— Какое дело?

— Ты же знаешь, она собирается замуж.

— Это у вас семейное?.. Стремление к браку?

Вера чуть помолчала, затем сказала голосом, в котором чувствовался металл:

— Да, господин Кальман. Мы не шлюхи...

...Прямо с вокзала Кальман повез Верушку на «Виллу Роз». В холле их встретили камердинер, горничная и кухарка. Кальман сухо поклонился и сразу прошел к себе. Вера в элегантно, отделанном соболем пальто, остановилась посреди вестибюля и не спеша оглядела обслугу своими сияющими глазами.

— Сегодня же получите расчет у господина Кальмана, и чтоб духу вашего не было!

Они сразу поняли, что перед ними хозяйка, полноправная хозяйка, чьи слова обжалованию не подлежат. Недавно им вспало на ум посмеяться над ней, теперь пришла расплата. Никто не пытался и слова молвить в свое оправдание, лишь горничная спросила:

— Можно хотя бы переночевать?

— Здесь не ночлежный дом, — отрубила Верушка и стала подниматься по лестнице...

СЧАСТЬЕ

Очевидно, это и есть счастье. Ты сидишь, попыхивая сигарой, в вольтеровском кресле, гладкий бархат ласкает твой начинающий лысеть затылок, а взгляд покоится на стройной фигуре женщины, которую ты любил до недавнего времени больше всего на свете. Нет, твое чувство не остыло, только теперь оно делится между женой и с ы н о м, увесистым малышом, в котором умильно проглядывают твои черты, хорошо, что в меру, ровно настолько, чтобы испытывать щемящую родность к маленькому, осененному прелестью матери существу с голубыми, то круглыми, как копейка, то кисло зажмуренными глазами.

Сегодня «Иоганн Штраус-театр» дает новую оперетту Кальмана — «Фиалка Монмартра», и, как всегда перед премьерой, Кальман замкнут и молчалив; нынешнее его состояние не имеет ничего общего с прежней паникой, он крепок ликующей самоуверенностью Верушки. Он то прикрывает глаза, то распахивает, ослепляя взгляд серебристым сверканьем пышной шерсти какого-то зверя. Давно убитого и ставшего дамской накидкой зверя. Он никогда не помнил, как называются меха, укутывающие обнаженные плечи Верушки, похоже, что это черно-бурая лисица.

Верушка уже взяла в руки накидку, но тут обнаружила какой-то непорядок в туалете, и сразу вокруг нее засуетились три горничные, что-то одергивая, оправляя, подкалывая.

Кальмана радостно удивляло, как быстро и уверенно хрупкая девушка превратилась в блистательную молодую даму. Верушка ничуть не отяжелела, упаси бог! — она внимательнейше следила за своим кушачком и весом, но налилась, развернулась в плечах, научилась придавать своему легкому телу величественную степенность. И откуда такое

у недавней обитательницы захудалого пансиона «Централь», безработной статисточки? Она — дело его рук, он изваял ее, как Пигмалион Галатею! — горделивое чувство вновь разнеживающе смежло усталые веки Кальмана. Во тьме он слышит резкий, повелительный голос:

— Поправьте складку, чучело безрукое!

Он поспешно открыл глаза. Только в дреме могло почудиться, что сердитый окрик адресован ему, а не провинившейся горничной. Кальману по душе властная манера Верушки, столь чуждая деликатной Пауле; лишь раз или два за всю их совместную жизнь изменила Паула своей терпеливой повадке — ему во спасение. Верушка из породы сильных, из породы победителей. Хорошо, если сын и все дети, какие будут, унаследуют не только красоту, но и характер матери.

— Послушай, сердце, ты правда посвятил мне «Фиалку Монмартра»? — слышится мгновенно изменивший интонацию мелодичный голос, и Кальман испытывает гордость, что ради него Верушка насилует гортань, превращая терку в колокольчик. Как же считается она с ним, своим супругом и повелителем!

— Конечно, тебе. Ты же моя фиалка.

— А старик банкир, устраивающий счастье влюбленных, это ты сам? — со смехом спросила Вера.

— Ну... в какой-то мере, — смущенно сказал Кальман. — Но я присутствую и в художнике, таким образом, я устраиваю собственное счастье с фиалкой.

— Взбалмошная Нинон — это, конечно, Агнесса Эстергази. А вот кто такой шарманщик Париджи? — спросила она лукаво.

— Вымышленный персонаж, — пробормотал Кальман.

— Не хитри, Имре... А вы не колитесь! — прикрикнула на горничную. — Твоего злого, взбалмошного хапугу Париджи я вижу почему-то в юбке.

— Может, хватит об этом, Верушка? — Кальман кивнул на горничных.

— Подумаешь! — свободно сказала Вера. — Это никого не касается. Все мужчины ненавидят своих тещ. А мамуля такая непосредственная!

— Слишком, — пробормотал Кальман.

Верушка подошла к зеркалу, жестом отпустив горничных.

— Скажи, солнце, ты действительно ободрал Пуччини?

— Нет. У нас общий первоисточник: «Сцены парижской жизни» Мюрге. Либреттисты пошли в чужой след.

— Их пора менять, — заметила Вера (участь господ Брамера и Грюнвальда была в этот момент решена). — Они совершенно исхалтурились. Но где был ты?

— Возле тебя, — тихо сказал Кальман. — Я действительно не сидел у них над душой, как прежде. Что мне оперетта, когда рядом «магнит, куда более притягательный». Знаешь, откуда это?

— Из рекламного проспекта?

— Нет, из «Гамлета»... Понимаешь, Верушка, это самая личная из всех моих оперетт. Ведь даже сцена под дождем взята из жизни. Помнишь, как ты меня ждала, а я тебя потерял, и потом мы встретились возле твоего пансиона?

— Еще бы не помнить! Я этого тебе никогда не забуду.

— Неужели ты такая злопамятная?

— Шучу, шучу!.. Заглянем в спальню его королевского высочества и — в театр!

Они прошли в детскую. Здесь в кровати с сеткой, под бархатным балдахином, под присмотром накрахмаленной няньки, возлежал наследный принц — полуторогодовалый Чарльз.

Кальман глядел на сына больше чем с любовью — с благоговением.

— А знаешь, он все-таки похож на меня, — сказал Кальман, любясь прищуренными глазками ребенка.

— Упаси боже! — вырвалось у Верушки.

— Что — я настолько уродлив? — не обиделся, а приуныл Кальман.

— Ничуть! Ты по-своему хорош. Любая твоя черта значительна, потому что на ней клеймо — Кальман. А если мальчик не унаследует твоего таланта?.. Пусть уж лучше он пойдет умом и талантом в отца, а красотой — в мать.

— Не возражаю, — кивнул Кальман, — только бы не наоборот... Ты знаешь, я лишь однажды был по-настоящему счастлив, — сказал он самой глубиной души. — Когда из тебя вылез этот людоед.

— Чует мое сердце, что он не последний, — покачала золотой головой Верушка.

Кажется, Кальман впервые отправился на премьеру в отменном расположении духа...

Появление Веры вызвало в театре едва ли не большее волнение, нежели самого прославленного композитора. Дамы обещали ее меха, бриллианты, мужчины отдали дань красоте. Вчерашняя статисточка принимала всеобщее внимание как нечто само собой разумеющееся.

И была сцена под дождем, и Вера нашла руку Каль-

мана, и нежно пожалала, и он уже не огорчился несколько вялым приемом своего детища и порхающим по залу именем «Пуччини». Вера была благодарна ему — все остальное ничего не значило. И тут грянула ослепительная «Карамболина — Карамболетта», мелькнувшая ему из глубины печали в далекие дни, — великолепная исполнительница с волнующе-завывным голосом и совершенной пластикой схватила зал и властно повлекла за собой. И с последней нотой определилась новая победа Кальмана — такого шквала аплодисментов не было в «Иоганн Штраус-театре» со времен «Цыгана-премьера» и «Княгини чардаша».

— Ты — гарантия счастья, — шепнул Кальман Веришке, подымаясь, чтобы выйти на аплодисменты и восторженные вопли публики...

...— Мы опаздываем! — кричит Вера, еще более роскошная, сверкающая и сияющая, чем два года назад, когда Кальманы отправлялись на «Фиалку Монмартра».

— Не опоздаем, — проворчал Кальман. — Император не может опоздать. Значит, все остальные пришли слишком рано.

— Что ты там бурчишь, Имрушка? Опять чем-то недоволен?

— Я люблю традиции. Мы должны зайти в детскую.

Наследный принц что-то строил из кубиков и не обратил на родителей никакого внимания, но из сетчатой кровати в бессмысленной радости загнуло новое существо в чепчике.

— Принцесса Елизавета! — торжественно произнесла Вера.

— Лили... — прошептал Кальман и отвернулся. — Не могу... сердце разрывается.

Воплощенное здравомыслие, Вера не поняла движения мужа.

— Ты что?.. Здоровая, крепкая девочка!..

— Но такая маленькая, хрупкая, незащищенная!.. — тосковал Кальман.

— Ничего себе хрупкая!.. Высосала одну кормилицу, сейчас приканчивает вторую.

— Может ли быть что-нибудь лучше детей? — сказал Кальман.

— Взрослые люди, если они не гады. Неизвестные величины всегда сомнительны.

— Это не ты придумала, — Кальман глядел на Верику,

словно видел ее в первый раз. — Ты не могла додуматься до такого.

— Ты считаешь меня круглой душой?

— О, нет! — убежденно сказал Кальман. — По-своему ты очень умна. Но только другим умом.

— Хорошо, что покался. За это будешь награжден еще одной наследницей или наследником.

— Веришка! — растроганно сказал Кальман. — Если тебе не трудно, то прошу еще одну девочку.

— Принято!.. И поедем. Слушай, а ты совсем перестал бояться премьер?

— Не знаю. Но я живу не только ими. Эта детская стала для меня важнее. И потом я верю в Губерта Маришку, как в бога. С ним не бывает провалов. Тыфу, тыфу, тыфу!.. — он сделал вид, будто плюет через плечо, и схватился рукой за притолоку.

Вера расхохоталась:

— В глубине души человек не меняется. В знаменитом Кальмане, Муже, Отце, Хлебосольном хозяине, Короле оперетты дрожит маленький провинциальный Имрушка.

— Возможно, ты права... — задумчиво сказал Кальман.

...Шла самая эффектная сцена из оперетты «Наездник-дьявол». Герой — лихой гусар и венгерский патриот — на всем скаку взлетает на вершину высоченной крутой лестницы и там подает императрице петицию о создании венгерского парламента. И впоследствии никто, кроме великолепного наездника и безумно смелого человека Губерта Маришки, не отваживался так играть эту сцену. Подвиг свершался скрытно от глаз зрителей, которые видели лишь результат: потрясенность императрицы и всех окружающих.

На репетициях, в том числе генеральной, Маришка великолепно выполнял этот опасный трюк, но тут конь почти на самом верху оступился, взмыл на дыбы, медленно и грозно повернулся на задних ногах и вместе с наездником грохнулся вниз. В последнее мгновение Губерт Маришка сумел выброситься из седла, конь и всадник упали поврозь. Каким-то чудом конь уцелел и поднялся на ноги. Маришка оставался недвижим. В зале царил мертвая тишина.

— Жизнь куда богаче любой фантазии, — шепнул Кальман на ухо Веришке. — Такого варианта провала даже я не предвидел.

Маришка приподнялся, оглянул грязные подмостки, себя, распростертого, и громко, с презрением сказал:

— Паркетный наездник!..

Зал облегченно захохотал и захлопал.

Ловким тигриным движением артист вскочил на ноги и дал знак дирижеру. Тот сразу понял его и заиграл вступление к танго-шлягеру, уже спетому Маришкой с огромным успехом. И Маришка запел, как не пел еще никогда:

Образ один, бывшее виденье

Ни сна, ни покоя не хочет мне дать.

Образ один, позволь на мгновенье

Печаль и томленье из сердца изгнать...

В богатой триумфами карьере любимца венской публики не было подобного успеха. Зрители стоя приветствовали артиста, с таким мужеством спасшего спектакль.

Отерев пот с чела, Кальман сказал Верушке:

— Молодец, Маришка! Я уже хотел отказаться от сталелитейных акций.

— Я тебе столько раз говорила: пока я с тобой, ничего плохого не случится.

Кальман поцеловал ее руку...

...Минуло около двух лет, и вновь они собрались на премьеру. Кальман не подозревал, что это окажется его последней премьерой в Европе, и уж подавно не подозревал, что «Жозефина» — во многом несовершенное, хотя и отмеченное блеском таланта, произведение — станет последним творческим актом в его жизни, а то, совсем немного, что еще появится под его именем, будет лишено кальмановского света — ремесленные поделки. Творческая воля иссякнет: будут лишь житейские взлеты и падения, бытовые радости и неудачи, много денег, не будет одного — Музыки. В конце жизни он обмолвится фразой, что творцу не надо слишком много жирного счастья, оно усыпляет, убивает живительное беспокойство. Писатель должен всегда чуть-чуть недоедасть, — говорил Лев Толстой. Это относится к любому художнику. Кальман уписывал за обе щеки. Он любил Верушку, свой красивый дом, внимание прославленных и высокостоящих особ, обожал детей и собирал их молочные зубы. Накопился целый мешочек, который незадолго до смерти он уничтожил: уходя, прибирай за собой, посторонним нет дела до твоих сентиментальных чудачеств.

Его безмятежное счастье не омрачилось даже тем, что впервые театр «Ан дер Вин» отказался от его новой оперетты: забит репертуар. Правда, к этому времени разорившийся «Иоганн Штраус-театр» стал кинематографом, а старый «Карл-театр», обветшавший и готовый обрушиться, закрыли, щадя зрителей. Премьеру играли в Цюрихе. Кальман любил

степенный, тихий Цюрих, ему нравилась тамошняя просто-душная, заранее расположенная публика. Лишь одно его огорчало: вопреки традиции, он не зайдет на этот раз в детскую, чтобы приветствовать новое существо, созданное его любовными усилиями. Но Верушка быстро его успокоила: «Оно ведь с нами», — сказала она, хлопнув себя по тугому, тщательно упакованному в бандаж животу. «Я не знаю, кто оно!» — жалобно сказал Кальман. «Девочка, — прозвучал уверенный ответ. — Илонка». «Илонка!» — повторил Кальман, как бы пробуя имя на вкус. — Я чувствую, что она будет моей любимицей». Так они и поехали втроем: Кальман, Верушка и незримая Илонка в упаковке материнского тела.

Премьера прошла успешно, добрые швейцарцы не жалели ладоней.

— А Наполеон был правда похож на тебя? — поинтересовалась Верушка после спектакля. — Или только на сцене?

— Ей-богу, не знаю. Но он был тоже маленький и тучный. А вот Жозефине до тебя далеко.

— А Жозефина — это я?

— Конечно! — с горячий нежностью откликнулся Кальман. — Ты была моей фиалочкой, сейчас ты императрица. Все ты и ты, только ты.

— Я не хочу отставать от тебя в щедрости, — Вера рассмеялась. — Наполеон был Кальманом на поле боя. — И вдруг, разом став серьезной, она спросила: — Ты часто вспоминаешь Паулу?

— Нет... — покачал головой Кальман, удивленный, почему она заговорила об этом.

— Вот не думала, что ты такой неблагодарный...

— Я просто никогда не забываю о ней, — искренне сказал Кальман.

Верушка нашла его руку и тихонько пожала. Будто прозвучала музыка только что замолкшей «Жозефины», музыка любви...

Да, это было счастье. А затем музыка оборвалась. Не только его, но и всякая музыка. Флейту и скрипку заглушили рев танков, топот кованых солдатских сапог — осуществляя «аншлюс», гитлеровские войска хлынули в Австрию.

На Европу опустилась ночь. Темная, непроглядная ночь. Политики-«миротворцы» — трусы и предатели — тщетно обшаривали непроглядь карманными фонариками. Гитлер, не скупясь на успокоительные заверения, гнал свою тьму

на Чехословакию, в Мемельский коридор. Затем настанет черед Польши...

ВЫБОР

Кальман вылез из машины неподалеку от канцелярии, ведающей Остмарком, так теперь именовалась Австрия, ставшая немецкой провинцией. Четко отпечатала шаг колонна коричневорубашечников. Проехал отряд немецких солдат на мотоциклах, наполнив улицу душной бензиновой вонью. В витринах магазинов, в окнах кафе — флажки со свастикой и фотографии человека с косой челкой и чаплиновскими усиками. На некоторых дверях висели таблички: «Юден Эйнганг ферботен». Какой-то парень смущенно и недоуменно разглядывал желтую повязку с изображением шестиконечной звезды на рукаве своей куртки.

Кальман вошел в кабинет. За дубовым письменным столом, под большим портретом Гитлера, сидел чиновник в мышиного цвета костюме — среднеарифметический человек по первому взгляду, так в нем все невыразительно, корректно, правильно и бесхарактерно, трупопожирательница-гигиена при ближайшем ознакомлении. Он не приподнялся, когда Кальман вошел, не ответил на поклон, не предложил сесть пожилому человеку и начал сразу, без предисловий и раскачки, неокрашенным четким голосом:

— Рейхсканцлер поручил мне сообщить лестное для вас известие. В знак признания ваших музыкальных заслуг вам присвоено звание почетного арийца.

Кальман поклонился.

— Что означает ваш поклон? — чуть ужесточил голос чиновник. — Изъявление благодарности или знак того, что вы меня слышите? — Он сделал паузу, но Кальман хранил молчание, и он продолжал: — Господин Франц Легар, чьей жене оказана такая же честь, был красноречивей.

— Господин Легар куда более светский человек, чем я, — своим тусклым голосом сказал Кальман. — Кроме того, политически он несравненно развитее. Я, простите бедного музыканта, кое-как разбирающегося в своей профессии, но темного во всем остальном, вообще не понимаю, что означает это почетное звание. Вернее, я чувствую, что мне оказан лестный знак внимания со стороны рейхсканцлера, хотя и ни о чем подобном не просил, и, видимо, не охватываю всей полноты чести и покровительства, мне оказанных.

Простодушная манера Кальмана ввела в заблуждение

чиновника; возросло лишь презрение к недоумку, более злые и опасные чувства еще молчали.

— Известно, что музыканты — люди не от мира сего, но я не думал, что до такой степени. Вы знаете хотя бы, что такое аншлюс?

— Да. Присоединение Австрии к Германии.

— Сразу видно, что немецкий не родной ваш язык. Вы не понимаете оттенков.

— Разумеется, я уроженец Венгрии.

— Аншлюс в данном случае, — начиная раздражаться и еще не отдавая себе отчета в причине своего раздражения, наставительно сказал чиновник, — это контакт, союз, соприкосновение. Австрия подалась к родственной ей Германии, добровольно приняв законы и нормы более великого партнера, в том числе связанные с чистотой крови. Инородцам: евреям, цыганам, славянам, всем низшим расам — не место в жизненном пространстве германцев. Эти недочеловеки подлежат устранению. Но фюрер ценит австрийскую музыку, вот почему счел возможным почтить высоким отличием, дающим права гражданства на немецкой земле, жену Легара и вас.

— Благодарю за исчерпывающее объяснение. Я не беру на себя смелость обсуждать национальную политику рейхсканцлера, скажу лишь о себе. Я родился в Венгрии и всю жизнь ощущал себя венгром. Думал, как венгр, чувствовал, как венгр, и свою музыку создавал, как венгр.

— Но ваш отец?..

— Он тоже считал себя венгром. Но главное: я не австрийский, а венгерский композитор.

— При чем тут австрийский?.. При чем тут венгерский? — с белой яростью зашипел чиновник. — Оперетта — еврейская музыка. Ее пишут одни евреи: от Оффенбаха до Абрахамса.

— А как же говорят о «венской» школе?

— Что такое Вена, да и вся Австрия? — зашелся чиновник. — Сплошная Иудея. Куда ни плюнь — попадешь в обрезанца!..

— Неужели? — тем же тусклым голосом сказал Кальман. — Господин Шикльгрубер, он же рейхсканцлер Гитлер, — австриец. Я видел дом, где он родился...

— Молчать! Вы приговорили себя, Кальман. Либреттиста Легара мы уже отправили в Бухенвальд. Вы составите ему компанию.

— Вы думаете, у нас с ним получится? В последние годы мне не хватало хорошего либреттиста...

— Вы свободны! — гаркнул чиновник.

— Это единственное, что мне хотелось услышать, — про-
бормотал Кальман и вышел.

Наверное, когда человек так долго был императором, ему невозможно сразу стать рабом — иначе Кальман и сам не мог объяснить своего странного мужества, мгновенно покинувшего его на пустой лестнице гитлеровской канцелярии. Колени его подгибались. Бледный, с залитым потом лицом он спустился вниз, цепляясь за перила, и почти упал на подушки своего «кадиллака»...

...Адмирал Хорти, диктатор Венгрии, скучал в своем огромном пустынном кабинете. Этот странный адмирал без морей и флота был уже старым человеком, не поспевавшим за временем, о чем в глубине души он и сам знал, как знал и о своем неминуемом отстранении Гитлером. Порой адмирал задумывался: примет ли опала форму физического уничтожения или малопочетной отставки, но с годами мощный инстинкт самосохранения в нем пригас. Он прожил большую жизнь, но так и не выполнил своего главного назначения: не восстановил обобранной Версальским миром Венгрии, и твердо знал, что Гитлер ему в этом не поможет. Адмиралу, в сущности, все стало безразлично, он подчинялся лишь инерции власти.

Вошел начальник его канцелярии, старик с пергаментной кожей и голым пятнистым черепом, — единственный приближенный, которому Хорти полностью доверял.

— Кальман, — сказал тот.

— Что Кальман?

— В Будапеште. Гитлер присвоил ему почетного арийца и право жить в Австрии. А Кальман сказал, что считает себя венгром, и уехал.

— Ну и ну! — вскинул брови Хорти. — Откуда такая прыть?

— Нам его прыть ни к чему. Он здесь не нужен.

— Отошлем назад.

— За него просят все Эстергази.

— Пусть и дают ему убежище.

— Адмирал или в очень хорошем, или в очень дурном настроении, — ворчливо сказал начальник канцелярии. — Тут не до шуток.

— Да. Такого оскорбления Гитлер не простит. Что вы предлагаете?

— Дать ему и всей семье венгерские паспорта и венгер-

ский флажок на радиатор. Пусть катят во Францию, а оттуда в Америку. Через «большую лужу» гестапо его не достанет.

— Вот не знал, что вы такой поклонник оперетты!

— Я ее терпеть не могу. Признаю только органную музыку добаховского периода. Но это мое личное дело. А Кальман принадлежит миру.

— Да... — задумчиво сказал Хорти. — Он принадлежит миру, этот маленький, пожилой, слабый человек. А мир — не фикция?.. А будущее — не фикция?.. Кто знает?.. Во всяком случае, раз в жизни можно позволить себе добрый поступок...

Довольно невзрачный, старый, но знавший лучшие дни океанский лайнер «Котте ди Савойя» приближался к концу своего долгого путешествия, к земле обетованной многочисленных беженцев из Европы.

...Кальман стоял на палубе и неотрывно глядел на пенящиеся валы; казалось, волны убегают к милой и проклятой Европе, которую его семья покинула в лихорадочной спешке — война могла разразиться со дня на день.

Полгода, проведенные в Париже, стоили Кальману многих лет жизни. Зловещая тьма расплывалась над Европой, гася одну звезду за другой, а Париж, то ли бросая вызов року, то ли в бездумье обреченности, жег свою ночь лохматыми кострами бесшабашного, больного веселья. И Верушка очертя голову кинулась в этот огонь — Жанна д'Арк безрассудства и наслаждений. Никогда еще так самозабвенно не отплясывал Париж — ритм румбы захватил даже министра иностранных дел Бонне, которому естественней было бы в роковые дни напрягать голову, а не ноги, — никогда еще Париж так самозабвенно не влюблялся. И тщетно утешал себя Кальман, что с самого начала провидел свою участь, что тридцать лет возрастной разницы неминуемо скажутся рано или поздно и что ревность — законное человеческое чувство, которое так же необходимо испытать каждому, как любовь, страсть, упоение, печаль и отчаяние, — все это мало помогало. Боль давила его так поздно проснувшееся сердце, он был глубоко несчастен и утратил душевную высоту в своем страдании. Отвратительные, унижающие в первую голову его самого сцены ревности, бессмысленные, ничего не разрешающие объяснения, потоки самозащитной лжи лишь способствовали разъединению. Он не хотел за океан, но стал почти счастлив, когда широ-

кая полоса воды отделила борт старой посуды «Котте ди Савойя» от набережной Гавра.

Он не ждал рая за «большой лужей», не строил иллюзий, но избавлялся от кошмара, воплотившегося в Париж. Зачем думать о том, что ждет его в Америке, достаточно, что там будет по-другому, и общее стремление уцелеть, выжить на новом месте сблизит семью, затянет образовавшуюся брешь. Он услышал восторженные вопли детей:

— Земля!.. Земля!..

Повернул голову, увидел надвигающийся берег и пошел к своим.

— Америка! — восторженно кричали дети.

— А где же небоскребы? — обескураженно вспомнил Чарльз Кальман, глядя на пустынный пристанский пейзаж, украшенный двумя пыльными пальмами, колючим кустарником и плоскими грязно-белыми строениями. Дальше, в розовой пыли проглядывалось какое-то поселение.

— И статуя Свободы! — закричала капризно Лили.

— Это другая Америка, детки, — ласково сказала Верушка. — Папа впопыхах взял билеты не на тот пароходик. Мы прибываем не в Соединенные штаты, а в Мексику.

— Папа брал билеты впопыхах, — угрюмо сказал Кальман, — потому что мамочка едва не дотанцевалась до начала войны.

— Имрушка, детям неинтересны твои выдумки. Лучше позаботься о чемоданах.

Пароход толкнул хлипкую пристань своим грузным океанским телом, отчего, казалось, содрогнулся весь окрестный мир с пальмами, кустарниками, белыми домишками под плоскими крышами и даже призрачный поселок, плавающий в розовой мути.

Следом за остальными сошли на берег Кальманы, чей немалый багаж тащили с десятков оборванцев в соломенных шляпах.

Паспортный контроль проходил прямо под открытым небом. Молодой толстый меднолицый свирепо-добродушный контролер, похожий на людоеда-вегетарианца, быстро и ловко просматривал документы приезжих маленькими цепкими глазками, со вкусом прихлопывал штемпелем и что-то записывал в лежащей перед ним конторской книге.

Он быстро просмотрел документы Веры, несколько дольше задержался взглядом на ее прелестном лице, потрепал по голове Чарльза, нажал на кнопку носа малышки

Илонны, заставив ее весело рассмеяться, сунул банан Лили. И вот уже Вера Кальман оказалась по другую сторону рубежа, откуда наблюдала, как ее муж протянул паспорт контролеру.

Тот посмотрел, полистал, подул на печать, но почему-то не приложил ее к паспорту, а вновь округлившимися глазами вперился в документ. Затем позвал к себе другого паспортиста, они о чем-то поговорили и радостно-иронично, белозубо рассмеялись.

— Так не пойдет, приятель, — на ломаном английском сказал первый паспортист. — Клеить свою фотографию на чужой паспорт, к тому же женский, — попахивает уголовщиной.

Кальман оторопело посмотрел на веселящегося офицера погранвойск и ничего не сказал.

— Он онемел, — заметил второй паспортист, и оба от души расхохотались.

— Имре, ты скоро там? — нетерпеливо крикнула Вера. — Вечно с тобой недоразумения.

— При чем тут я? — откликнулся Кальман. — Меня не пропускают.

— И не пропустят, фройляйн, — издевательски сказал толстяк.

— Не забывайтесь!..

— Нет, фройляйн Ирма, мы не забываемся. — Толстяк перестал смеяться, в нем появилось что-то хищное, опасное. — Но если вы думаете, что мы здесь такие дураки, то глубоко заблуждаетесь.

— К дикарям приехал! — подхватил его товарищ.

Кальман устал от жизни, от людей, получивших вдруг какую-то странную власть над его существованием. То ему предлагают данайские дары, то вынуждают к бегству, то не пускают, он уже начисто не располагает собой.

— Можете вы объяснить толком, что у меня не в порядке? — сказал он со вздохом.

— Скоро вы там? — крикнула Вера.

Он передернул плечом и не ответил.

— А то, господин хороший, что мужского имени Ирма не бывает, — сказал офицер, — и это нам так же хорошо известно, как и вам.

— Какая еще Ирма? Я — Имре.

Офицер ткнул ему под нос паспорт.

— Ирма Кальман, — прочел композитор. — Только этого не доставало!.. Простая описка, господин офицер...

— Куда же вы раньше смотрели? Каждый гражданин

обязан проверить получаемые документы. Я вас не пропускаю. Можете отправляться назад.

— Имре, сколько можно? — Вера подошла к барьеру.

— В паспорте перепутали, там стоит «Ирма». Они не пропускают меня. Считают, что я украл женский паспорт.

— Да вы с ума сошли! — накинулась на паспортистов Верушка. — Не знаете знаменитого Имре Кальмана. А еще офицеры!..

Поразительная перемена произошла с главным паспортистом.

— Вы... вы великий Кальман?.. Боже мой!.. Пепе, Хуан, Панчо!.. Вы видите, кто это? Сам Имре Кальман. Вива, Кальман!... Вы даже представить не можете, что для меня значит!.. Я играл свадьбу под вашу музыку. Ах, если б Розалия знала!.. У нас была самая красивая свадьба во всем Матаморосе, во всей провинции. Мы танцевали до упаду под ваши божественные вальсы.

Он схватил стройного Панчо и закружил его в вальсе, напевая во все горло:

Брось тоску, брось печаль,
И гляди смело вдаль,
Скоро ты будешь, ангел мой,
Моею маленькой женой!..

— Гитару!.. Вина!.. Гости приехали!.. — совсем зашелся счастливый офицер.

— Опомнись, Хулио, мы же на работе, — остановил его Пепе.

— Ох, простите!.. Но вы еще будете в Мексике, синьор Кальман? Теперь вы знаете, как вас здесь любят. Милости просим в Матаморос. А маленькая ошибка в паспорте ничего не значит. Верно, сеньор?

— Конечно! — улыбнулся Кальман. — Равно как и то, что вы пели музыку моего старого друга Ференца Легара, — и перешел границу...

ПЛАТИНОВАЯ НОРКА

У американцев оказалась такая сердечная манера здороваться: с громкими восторженными криками, похлопыванием по спине, прижиманием бритой, но все равно колющейся щеки к твоей щеке, что поначалу Кальман вообразил себя долгожданным гостем. Но постепенно убедился, что за всей этой мнимой сердечностью ровным счетом ничего нет.

Эти приветливые люди в подавляющем большинстве своем понятия не имели, кто он такой, даже имени его не слышали. Правда, среди них попадались такие, что могли бы насвистывать песенку из «Княгини чардаша» или танго из «Наездника-дьявола».

Никаких предложений не поступало. Особенно разочаровал Голливуд. Ласки и приветов тут изливалось больше, чем во всей остальной Америке, но ни единому продюсеру не вспало на ум заказать ему музыку для фильма или накрутить одну из его популярных оперетт. С глубоким огорчением он вскоре понял, что старый друг Сирмаи, давно прилепившийся к Голливуду, сыграл не последнюю роль в его фиаско. Здесь не признавали сантиментов, и Сирмаи вполне пропитался местным духом: конкурент опасен — устрани его. Ну а мюзик-холлы, эстрада, бродвейские театры, радио — должны же они откликнуться на появление «короля оперетты»? Он ждал, потом перестал ждать, но все же после недолгой утренней прогулки, не сняв пальто и шляпы, набрасывался на многочисленную почту. В основном то были рекламные проспекты автомобилей, парусников, холодильников, ключек и всего снаряжения для гольфа, теннисных ракеток и мячей, пылесосов, детских колясок, садовых поративных косилок, бандажей, пишущих машинок, велосипедов... Кальман раздраженно перебирал яркие бумажки, роняя их на пол. Потом шли просьбы благотворительных обществ, приглашения на всевозможные вечера, какие-то церковные послания.

Спустившаяся в холл Верушка застала мужа за обычным занятием. Скромно, но изящно одетая, она стала по-новому быстрой и деловой. Видимо, ее пластичная натура усвоила энергичный американский стиль.

— Что ты тут мусоришь? — укорила она мужа.

— Можно подумать, что нас только и ждали, — раздраженно сказал Кальман. — Отовсюду приглашения на всевозможные партии, даже от вовсе незнакомых лиц, наверное, опять с кем-то путают, как в Матаморосе. И хоть бы одно деловое письмо. Хоть бы один заказишко на музыку. Им тут ничего не нужно. Голливуд молчит. Старый друг Сирмаи бдительно следит за своими владениями. На что мы будем жить — ума не приложу.

— Ты что же, потерял все деньги?

— Не все, конечно, но больше, чем хотелось бы. И мы живем явно не по средствам.

— Скромнее некуда. Мы никого не принимаем.

— Недавно ты устраивала прием и довольно шумный.

Что у американцев за манера тащить в гости кого ни попало? Пригласишь пару — явится десять человек.

— В каждом обществе свои обычаи. У них море обаяния.

— Вот уж нет! Наигранная сердечность, объятия — все-му этому грош цена. Внутри же — ледяной холод. Стрикли бизнес.

— Хватит ворчать, Имрушка. Сейчас ты порадуешься. Я иду работать.

— Что-о?! Ты — работать?.. Я этого не допущу.

— Я же не в судомойки иду. А в салон верхнего платья. Самый светский в Нью-Йорке. В отдел меха. Я кое-что понимаю в мехах, и вкуса не занимать. Уже обо всем договорено. И тебе не придется тратить на мои туалеты.

— Ты собираешься так много зарабатывать?

— Нет,— засмеялась Вера,— так скромно одеваться.

Меховой отдел роскошного магазина не мог похвалиться обилием покупателей, но те, что были, спустились с вершин Олимпа. Здесь разлит лунно-серебристый свет, и некая лунность отличает плавные движения продавщиц. Обслуживание клиентов напоминает священнодействие. Ни резких движений, ни быстрой походки, ни напряжения голосовых связок. Плавно, бесшумно закрываются двери, не слышны шаги на толстых коврах. Эта тихая замороженная жизнь отражается в десятках зеркал. Но и это очарованное царство очнулось, когда в магазин вошла Грета Гарбо — величайшее чудо Голливуда.

Молчаливая, сдержанная, погруженная в себя, почти без косметики, ненужной ее совершенной красоте, малообщительная, серьезная, Грета Гарбо тем не менее мгновенно становилась центром, вокруг которого вращалось мироздание. Весь магазин немедленно переключился на Грету, но главная роль в обслуживании знатной клиентки отводилась Вере.

— Что угодно, мадам? — улыбаясь своим прекрасным ртом, любезно, но без малейшей приниженности спросила Вера. — Вы оказываете нам честь.

Грета Гарбо медленно распахнула ресницы. И видимо, продавщица произвела на нее впечатление. Она улыбнулась:

— Что-нибудь хорошее. Но по-настоящему хорошее.

— Вот это специально для вас.

Грета Гарбо подставила плечи, мех словно облил ее стройное тело. Она коснулась пальцами нежного ворса.

— У вас прекрасный вкус, мадам,— проговорила она хрипловатым, волнующим голосом.

— Хотите еще что-нибудь примерить?

— Нет. Лучше не будет... — Гарбо пристально, без улыбки смотрела на Веру. — Вы так красивы. Почему вы не снимаетесь в кино?

— Я бездарна, мадам. Мне удастся играть лишь одну-единственную роль.

— Какую?

— Роль жены Имре Кальмана.

Брови актрисы поползли вверх.

— Вот как!.. Но ваш муж так популярен в Америке...

Вера заметила это «но».

— Наверное, колесо должно раскрутиться.

— Не сбрасывайте со счетов Голливуд. Это, конечно, пакость, но веселая и, главное, денежная пакость. — Гарбо протянула Вере свою карточку.

— Спасибо,— сказала Вера. — Мне кажется, что мы еще встретимся. До свидания.

И, глядя в спину уходящей актрисы, прошептала:

— У меня будет такая же шуба... А тебя я раздену в своем доме.

В магазин зашла пара: стандартно красивая молодая дама и хрупкий, изящный горбоносый господин, с порывистыми жестами француза-южанина. Дама направилась в отдел накидок, жакетов, горжеток; а ее спутник, ненароком увидевший Веру, вдруг замер посреди магазина, и вид у него был тот самый, о котором в Сицилии почтительно говорят: расшибло громом...

Вечером они сидели в маленьком, очень дорогом ресторане, помещавшемся в трюме парусной яхты, заякоренной посреди искусственного озера. Небольшой тихий черный джаз играл медленное, тягучее, с кошунственным церковным оттенком танго.

Француз пригласил Веру. Оба оказались первоклассными танцорами.

Когда они возвращались за столик, он сказал с таким видом, будто никто и никогда не произносил этих заезженных слов:

— Мы созданы друг для друга.

— Я замужняя женщина,— поникла головой Вера.

— Здесь есть город, где разводят и женят за десять минут.

— Постарайтесь узнать его название,— словно издали улыбнулась Вера.

— Рено! — выдохнул экспансивный француз и ненароком сшиб бокал шампанского.

— Это к счастью,— сказала Вера.

— Проклятая война никогда не кончится! — Кальман с раздражением отшвырнул газету.

Верушка, в легком, отделанном песцами пальто, достала из шкафа чемоданчик крокодиловой кожи.

— Я ухожу, Имрушка, — сказала она.

— Я думал, мы вместе пообедаем, — рассеянно отзывался тот. — С Голливудом опять сорвалось. Там мафия покрепче сицилийской. Вся киномузыка в руках у Тёмкина и компании. Сирман самому достаются крохи...

— Сейчас тебе будет полегче, Имрушка, — с грустной улыбочкой сказала Вера. — Семья уменьшится на одного едока. Меня уже не будет за семейным столом.

Кальман был так подавлен своими заботами и так далек от мысли потерять Верушку, что слышал только слова, начисто не ощущая весьма прозрачного подтекста.

— Ну, ты и так почти ничего не ешь! — заметил он.

— До чего же ты бестолковый! — начала злиться Верушка. — Я ухожу!.. Понимаешь, ухожу!..

— Куда?

— К Гастону.

— Зачем?

— Чтобы выйти за него замуж, болван!

— А для чего? — как-то по-бытовому удивился Кальман. — Я же тебе ни в чем не мешаю.

— Жизнь стала бесперспективной. Мне не хочется продавать манто, которые покупает Грета Гарбо. Праздники кончились. А я не могу так... У каждого в жизни свое предназначение. У тебя — музыка, жаль, что ты не создаешь ничего нового, у меня — блистать. Я из тех, кто вертит земную ось.

— Ты можешь бросить наших детей? — Суть происходящего наконец-то дошла до Кальмана.

Вера провела рукой по глазам.

— Ты же не отдашь их мне?

— Конечно, нет.

— Я это знала...

— Кто он такой?

— Француз. Молод. Сказочно богат. Удивительно танцует и влюблен в меня без памяти.

— Обещал жениться?

— Имрушка, за кого ты меня принимаешь? Как только я получу развод, мы поженимся и уедем в Южную Америку.

— Это еще зачем?

— Так мне легче будет. Здесь я буду все время думать о детях... о тебе тоже и мучаться. Потом мне интересно

посмотреть на живых аргентинцев, бразильцев, папуасов.

— Это в Океании.

— Что?

— Папуасы. В Южной Америке — индейцы. Коренное население.

— Спасибо, Имрушка, ты такой умный. Сейчас самое важное — уточнить состав южноамериканского населения.

— И все-таки, прости меня, я не понимаю, зачем тебе все это нужно? — искренне сказал Кальман. — Так усложнять жизнь!..

— Ну... я же люблю его, Имрушка. Влюблена до безумия. — Вера подкрашивала чуть потекшие от слезной влаги густые длинные ресницы.

— Куда же девалось... куда девалось все наше?... — томился Кальман.

— Имре, милый, пойми: день есть день, а ночь есть ночь. Ты же сам всегда говорил, что тридцать лет разницы между нами когда-нибудь скажутся. Вот они и сказались.

— Я это знал и не мешал тебе, — он смотрел ей прямо в глаза.

— Я не злоупотребляла своей свободой, — ответила она словам, а не взгляду. — Слушай, нет ничего нуднее и безнадежнее выяснения отношений. Давай прекратим... Вещи я уже собрала. Завтра пришлю за ними. Утром, когда тебя не будет. Все связанное с разводом я беру на себя. Но будь мне до конца другом: подготовь детей.

— Ты даже не попрощаешься с ними?

— Перед отъездом в Америку. Приведи их в парк... Нет, лучше к Земледельческому банку, природа настраивает на слишком грустный лад. Я дам тебе знать.

— Как все это неожиданно!..

— Просто ты был невнимателен и слишком уверен во мне. Не замечал моих метаний.

— Почему, я видел, как тебя пришибла норка Греты Гарбо.

— Да! И не только это. Я перестала быть Жозефиной, я стала Золушкой. Тут уважают только деньги, ничего больше. Ты сам приучил меня быть наверху. Мне противно, что на нас смотрят сверху вниз здешние нувориши.

— Я этого не замечал.

— Ты вообще ничего не замечаешь. Паришь в облаках, а я земная. Я дала тебе все, что могла: любовь, детей, лучший дом в Вене. Теперь я имею право пожить для себя... Не провожай! Так будет легче и тебе и мне.

Вера поднялась, быстро, не глядя на Кальмана, пересекла комнату и вышла — из дома, из его жизни.

Кальман стоял у окна, из которого не мог видеть Верушку, только крыши невысоких старых домов, гаражей, сараев, трубы на горизонте, задымленные облака. Он думал: «Когда-то в мою жизнь вошла семнадцатилетняя девочка, а мне казалось, что я обзавелся гаремом, так много ее было, так много сопутствовало ей шума, людей, обязанностей, отношений. Я всегда стремился к тишине, но принял эту сумбурную, суматошную жизнь, потому что ей так нравилось. За измену себе я заплатил музыкой. Но любовь и дети казались мне достаточным возмещением. Потом любовь потребовала отдельной платы — болью, ревностью, унижением. Я смирился и с этим. И все-таки не сохранил ее. Остались дети. Я отвечаю за них, я должен жить... Но почему же минувшей ночью не раздался грохот вскрывающегося Балатона? Все значительные перемены в моей жизни предвещались этим сном. А мне снилось, что я покупаю на распродаже Центрального парка летние носки по три доллара за дюжину. Балатон не явился, Балатон молчал, как странно!..»

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вера вышла из машины возле Земледельческого банка. Ветер гнал по земле пожелтевшие листья. Тонкий шорох наполнял утреннюю тишину. В этот ранний час улица делового центра, еще не запруженная служащими, была пустынна. Неужели всегда аккуратный Кальман опаздывает? Вера взглянула на ручные часы, где бриллиантики заменяли цифры, — нет, это она приехала слишком рано.

Длинношерстная такса долго мочилась на тумбу. Справив нужду, поскребла задними лапами асфальт в атактическом заблуждении, что таким образом уничтожает свои следы, и побежала дальше. Из-за поворота вышел Кальман с детьми — небритый, кое-как одетый, в незатянутом галстуке — прежде он не позволял себе таких вольностей.

— Внимание! — сказал он, бросив взгляд на тумбу. — Чарли, не зевай.

И тотчас возле тумбы возник блю-терьер с заросшей мордой.

— Пописает! — азартно крикнул Чарли.

— Не спорю, — согласился отец, к большому его разочарованию.

На смену блю-терьеру подбежал коротконогий скотч.

— Пописает! — вскричал Чарли.

— Нет. Ставлю доллар.

— Идет!

Пес почти добежал до тумбы, но тут учуял сучку, приреченную наметанным глазом Кальмана, и желание мгновенно вытеснило иные физиологические потребности.

— Гони доллар. — потребовал Кальман.

Чарльз унаследовал отцовскую неторопчивость. С крайне кислым видом он достал из кармана доллар и отдал отцу.

— Больше не играю, — сказал он хмуро, — три доллара за одну прогулочку — многовато.

— Я считался чемпионом этой игры, когда тебя и в проекте не было, — горделиво сообщил отец. — Так и быть: получите мороженое. Принимаю заказы.

— Мне шоколадного! — быстро сказала Лили.

— А мне орехового, — решила Илонка.

— А мне шоколадного и орехового! — плотоядно сказал Чарльз.

— Пожалуйста. Мне не жалко. Оплата из твоего проигрыша.

Напоминание о проигрыше вновь погрузило Чарльза в пучину мрачности.

Они заметили черную машину у портала Земледельческого банка.

— Кажется, это Верушка, — сказал Кальман. — Ну, детки, быстро попрощайтесь с мамочкой, не задерживайте ее. Мамочке нужно в Южную Америку. И не говорите, что я здесь.

Он спрятался за колонну, а дети побежали к матери.

Верушка схватила их, принялась целовать, глаза ее затуманились слезами.

— Милые вы мои!.. Бедные вы мои!..

При этих жалобных словах маленькая Илонка начала кукситься, сама не понимая с чего.

— Ну мама!.. Ну чего ты?.. — капризно сказала Лили.

— Сиротки бедные!.. Чарли, мальчик мой!.. Да как же я буду без вас?.. А вы без меня?..

Лили начала покусывать губу, Чарльз, и без того расстроенный проигрышем трех долларов, часто заморгал.

— А где же он... голубок мой старенький?.. — острые глаза молодой женщины углядели спрятавшегося за колонну Кальмана. Она кинулась к нему.

Кальман казался очень смущенным тем, что Верушка его обнаружила.

— Ты прости, Верушка, я не хотел...

— Какой ты небритый, запущенный!.. За тобой никто не смотрит!..

— Я не успел побриться... А ну, ребята, оставьте маму в покое. Она спешит...

— Как ты можешь, Имрушка?.. Спешит!.. При виде этих ангелов!..

— Тебе надо собраться. И неловко перед твоим мужем.

— О чем ты говоришь? Забудь об этом человеке. Я никуда не еду.

— Он что — обманул тебя? — вскипел Кальман. — Тогда он будет иметь дело со мной!

— Угомонись, Имрушка!..

— Не угомонюсь! — вскричал бесстрашный Кальман. — Я заставлю его жениться. Я вызову его на дуэль. По матери я из рода отважных куруцев. О, Верушка, ты увидишь, как дерется потомок не ведавших страха. — Кальман сделал выпад воображаемой шпагой. — Это будет удивительный пример этнического возрождения. Я приведу его на веревке к алтарю.

— Успокойся, Имре, мы давно зарегистрировали наш брак. Он безумно любит меня.

— Попробовал бы не любить! — кровожадно сказал Кальман.

— Но я поняла, что не люблю его... Я люблю вас, мои единственные. Я даже не знала, что так привязалась к тебе, дорогой ты мой!

— Верушка, — глубоким голосом сказал Кальман, — я никогда не позволю себе разрушить чужую семью.

— Какая там семья! — отмахнулась Вера. — Вы моя семья. Мама остается с вами.

— Мама остается, мама остается! — обрадовались дети.

— Но мне неудобно перед этим человеком... твоим мужем, — жалобно сказал Кальман. — Судя по всему, он славный малый.

— Много ты знаешь!.. Истерик, скандалист, по три раза в день кончает самоубийством. Орет и плачет по каждому поводу. Ревнив, как мавр, хотя сам — французик из Бордо-дри-дри. Красивый дурак и сумасшедший. К тому же лопух, перевел на меня почти все деньги.

— Верушка, — очень серьезно сказал Кальман, — если ты действительно хочешь вернуться, то отдай ему все деньги до копейки. И ты придешь домой в том, в чем ушла. Иначе дверь окажется на замке.

В доме Кальманов готовилось большое торжество. И это крайне волновало маленькую Илонку.

— Ну, Лили, — приставала она к сестре, — разве сейчас рождество?

— Какое рождество, дурочка?

— А почему — ящики, коробки? Я думала, это подарки от Санта-Клауса.

— У нас сегодня свадьба. Папа и мама женятся.

— А разве они неженатые?

— Нет!.. Отстань!..

— Значит, мы незаконные, — последовал весьма логичный для невинного дитяти вывод.

— Дура, дура! — выгадывая время, бранилась Лили. — Мы совершенно законные. Папа и мама были женаты, потом сделали перерыв, как отпуск или каникулы, а сейчас отдохнули и опять женятся.

— И будут новые законные дети? — полюбопытствовала Илонка.

— Это я тебе не скажу, — по-взрослому неискренне ответила Лили. — Детей, как ты знаешь, приносит аист. Если они его хорошенько попросят...

— Они не будут просить, — задумчиво сказала малышка. — Мама так бережет фигуру...

Лили не успела отозваться на слова сестры. Дверь распахнулась, впустив некий драгоценный блеск, сверк—невозможно было сразу постигнуть, что это: поток драгоценного металла, хрустальный водопад, сгусток серебристого света или чудо, не имеющее разгадки, а затем определилось, что это дивный, переливчатый, нежнейший мех, некогда приютивший тело Греты Гарбо, а сейчас с не меньшим успехом укутавший девичью фигуру Веры.

Девочка замерла в молитвенном экстазе, и тут вошел Имре Кальман.

— Лили, Илона, марш отсюда! — с непривычной строгостью скомандовал он дочерям, взор которых горел не детским, а женским огнем.

Когда те с неохотой вышли, с его трясущихся губ слетело:

— Ты нарушила уговор. Свадьбы не будет.

— С ума сошел, Имрушка? Я назвала столько гостей! И какой договор я нарушила?

— Эта шуба стоит целое состояние. А я сказал: вернись, в чем ушла, и ни гроша чужих денег.

— Как ты меня напугал! Можешь успокоиться — тут только твои деньги.

Но это сообщение отнюдь не успокоило Кальмана, скорее наоборот.

— Господь с тобой! У меня нет таких денег.

— Поищи. Найдутся. Это твой свадебный подарок.

— Я не могу дарить тебе шубку ценою в двадцать тысяч долларов.

— В сорок, милый. Попробуй купить платиновую норку такого качества за двадцать тысяч. А эта не хуже, чем у Греты Гарбо. Я тогда еще поклялась иметь такую же.

— Ты губишь меня!..

— Я тебя спасаю. Ты не понял Америки. Здесь все решает реклама. Нищий Кальман никому не интересен. Кальман, дарящий жене шубу за сорок тысяч, нужен всем. Моя шуба принесет тебе несказанный успех!..

На рассвете из дверей кальмановского дома вывалились сильно подгулявшие гости. Мужчины в помятых, залитых вином фраках, дамы в не менее пострадавших вечерних туалетах.

— Недурно погуляли! — заметил один из гостей. — У европейцев есть чему поучиться.

— Но старик Кальман каков! — подхватил другой. — Увел лучшую женщину!..

— Да, — с серьезным видом согласился первый. — Прежняя жена была не бог весть что, эта — высший класс!..

И, расхохотавшись, разошлись по машинам...

А Верушка оказалась пророком. Шубка сработала. Кальману предложили концертное турне по всей стране. Очнулся Голливуд: Луис Б. Майер, один из шефов крупнейшей студии «Метро Голдвин Майер» приобрел право на постановку «Марицы». Подзабытые оперетты снова вошли в моду. Он даже тряхнул стариной и разразился слабой «Маринкой» о некогда шумевшей и давно всем надоевшей в Европе Майерлингской трагедии, когда кронпринц Рудольф застрелил свою любовницу баронессу Мари Вечора и покончил самоубийством сам. Но и на это вялое творение усталого духа повалили валом. Америка всегда поклонялась удаче.

ОТКРЫТЫЙ ДОМ

Кальманы зажили на широкую ногу. Таких приемов не бывало даже в цветущие венские дни. За столом сходились мировые знаменитости, князья по происхождению и князья

духа: наследный принц Отто Габсбург чокался с писателем-изгнанником Эрихом Марией Ремарком, прославленный режиссер Эрнст Любич спорил с Джорджем Баландиным, а им ласково внимали маленький Артур Рубинштейн и дылда-княгиня Талейран де Перигор.

Кальман предпочитал этим шумным сборищам занятия с сыном, обнаружившим несомненный музыкальный талант. Чарли доверил отцу великую тайну: он сочинял сонату ко дню рождения мамочки. С рубиновыми от волнения ушами, он играл адажио, когда ворвалась перевозбужденная Верушка в полном параде, то есть почти обнаженная.

— Имре, ты не переодевался?

— Дай нам кончить урок.

— Завтра наиграетесь. Чарли, марш на свою половину! Сын послушно собрал ноты и вышел.

— Почему такая паника?

— Ты забыл?.. Я пригласила Грету Гарбо.

— Ну и что с того? Мало мы перевидали голливудских див?

— Имрушка, постыдись! Гарбо — не дива. Это великая актриса.

— И великие были, — скучным голосом сказал Кальман. — Марлен Дитрих, Ингрид Бергман. Бет Девис, кто-то еще.

— Гарбо — это Гарбо. Она никому не чета. И потом — это мой реванш.

— Как — а шубка?..

— Этого мало. Она видела меня продавщицей.

— Вольно ж тебе было!.. Но в Америке никто не стыдится своего прошлого, напротив, гордятся.

— Звезды экрана. А я не звезда. Я свечусь твоим отраженным светом.

— Спасибо. Я довольно тусклый источник.

— Тебе непременно надо испортить мне настроение?

— Такая попытка обречена на провал.

— Да. У меня хватает оптимизма на двоих.

— Даже больше...

— Будь хорошим, Имрушка. Не огорчай меня.

— Сколько народа ты назвала?

Вера расхохоталась:

— Я сказала Грете, что будут только свои. Человек десять от силы. Но ты же знаешь американцев. Съезжаться только начали, а там уже столпотворение. Спускайся поскорее.

— Я что-то не в форме. Спущусь, когда придет Гарбо.

Вера убежала. Кальман прошел в гардеробную, но перед этим принял лекарство, запив его водой из сифона. Послушал пульс, покачал головой и с неохотой стянул домашнюю куртку.

Он только успел повязать черную бабочку, когда ворвалась крайне возбужденная Вера.

— Имре, немедленно вниз! Пришла Грета!

— Пришла-таки... — промямлил Кальман, натягивая фрак.

— Ты не представляешь, что там было!.. Грета — существо дитя. Она всему верит. Я сказала, что будут только свои, и она явилась в спортивной юбке и свитере. А тут человек четыреста и драгоценностей на полтонны. Я испугалась, что она удерет. Не тут-то было. Подмигнула мне, усмехнулась и пошла танцевать. Все только на нее и смотрят. Великая женщина! Ну, пошли!

Кальман потащился за женой — сутулый, старый, усталый, с погасшим взором.

Когда они пробирались сквозь плотную массу гостей, Кальман обменивался кое с кем поклонами, порой рукопожатием, но большинству он просто не был знаком.

— Слушай, а кто этот старичок? — спросила одна из дам своего мужа. — Я его вроде где-то видела.

— С ума сошла? Это муж хозяйки.

— А кто он такой? Бизнесмен?

— Знаменитый композитор. Кальман.

— Сроду не слыхала.

— Только помалкивай об этом. А то сразу поймут, что ты круглая дура.

Кальман пробрался к танцующим. Грета Гарбо узнала его издали и сразу оставила партнера. Узкая юбка и черный свитер облегали ее, как вторая кожа. Но она выделялась в толпе не только спортивной простотой, а исходящим от нее ведем большой личности. Она не смешивалась с окружающими, не была частью целого, она была сама по себе.

— Мой муж, — представила Вера и сгинула.

Грета открытым мужским жестом протянула руку.

— Я воспитывалась на вашей музыке. И вот вы... живой, с теплой рукой и грустными глазами. Это все равно что увидеть Верди, или Грига, или Сальвини.

— Я кажусь таким старым?

— Нет, таким вечным, — улыбнулась Гарбо. — У вас



весело. Но я не люблю американского веселья. Я пришла, чтобы увидеть вас. И увидела.

— Только не уходите, — попросил Кальман. — Вера так ждала вас, так взволнована вашим приходом.

— Я догадываюсь — почему. Не бойтесь, я ее не разочарую. Ради вас. И потом — мне нравятся люди, которые точно знают, чего хотят. А вы не танцуете?

— Увы... Мальчиком я возомнил себя организатором бала. Я открыл танцы, тут же наступил на подол девочки-партнерше, уронил ее и сам шлепнулся сверху. С тех пор с танцами было покончено.

— Какой вы милый!.. — Я так рада, что пришла. Хотя, по правде, не люблю танцев, шампанского и подробных трапез.

Ее пригласили. Она улыбнулась Кальману. Он склонился и поцеловал ей руку. Грета поцеловала его в темя. Затем добросовестно, как и все, что она делала, принялась отплясывать с очередным профессиональным красавцем.

Кальман заметил, что Грета Гарбо исчезла сразу после обеда, попробовав, не ломаясь, всех кушаний, исчезла, точно уловив момент, когда выпитое ударяет в голову и званный обед переходит в голливудского пошиба бесчинство. Это случилось неизбежно, но Кальман так и не мог привыкнуть к заокеанскому стилю.

Присутствие Греты Гарбо сдерживало гостей, но сейчас все энергично наверстывали упущенное. Толстый актер, преемник знаменитого Фатти, плохо кончившего партнера Чаплина, делал стриптиз, обнажая чудовищную гору мяса; окружающие покатывались от хохота.

Но еще больший успех имела актриса Джинджер Роджерс; она исполняла на столе один из самых известных номеров примы, с меньшим искусством, зато без всяких одежд.

Кальман с сигарой во рту помыкался среди гостей, затем поднялся на второй этаж, думая уединиться в одной из спален. Но всякий раз, открыв неплотно прикрытую дверь, он бормотал: «Пardon!» — и поспешно отступал.

После очередного извинения дверь распахнулась, оттуда высунулась обнаженная женская рука, схватила Кальмана за отворот фрака и попыталась втянуть в комнату.

Кальман с трудом вырвался.

— На кладбище торопишься, папашка? — послышался нетрезвый женский голос. — Пришли мне Джорджа.

— Какого Джорджа?

— Вашингтона, мурло! — и девица захлопнула дверь. Кальман засеменил по коридору, зажимая рукой сердце...

ПОД ОСЕННЕЙ ЗВЕЗДОЙ

Пронеслись годы. Правда, для много и тяжело болевшего Кальмана время порой ковыляло черепашим шагом. Старый, желтый, как китаец, он полусидел на кровати, укутав ноги в плед из верблюжьей шерсти. Ему перевалило за семьдесят, жизнь прожита, и сейчас он дотлевал под бдительно-любовным присмотром неотлучно находящейся при нем сиделки, старой девы Ирмагд Шпис. Черты Кальмана мало изменились, но лицо как-то обвисло, волосы над ушами и по-прежнему густые усы сохранили свой темный цвет, но весь он сморщился, сжался, запал в самого себя, а левая рука утратила подвижность от мозгового удара. В комнате полумрак, свет затененной настольной лампы позволяет различать предметы старинной обстановки: кресла жакоб, позолоченные багетные рамы картин, отмеченный бликом угол кабинетного рояля. Кальман завершал земной путь отнюдь не в богадельне, а в прекрасной квартире на тихой улице одного из аристократических кварталов Парижа.

— Нет, дорогая Ирмагд,—твердо произнес Кальман.— Я не обмолвлюсь словом до гуляша. Я чувствую, что он давно готов.

Ирмагд охнула и кинулась в прилегающую к кабинету крошечную кухню, где она собственноручно готовила нехитрую еду для больного.

Кальман устроился поудобнее и с хитро-алчным видом гурмана стал ждать обеда.

Расторопная сиделка вкатил стол на колесиках, в серебряной супнице аппетитно дымился гуляш. Было тут и немало приправ, а кроме того, тарелка с овсянкой-размазней.

— Садитесь поближе ко мне, — попросил Кальман, получив тарелку с кашей и ложку.

Сиделка пристроилась у изголовья; острый венгерский гуляш предназначался ей, но своим густым ароматом он сдабривал Кальману осточертевшую кашу. У больного и сиделки были хорошо отработанные приемы: гуляш исходил паром прямо в нос Кальману, кроме того, Ирмагд проно-

сила ложку мимо его рта, и перично-пряный дух скрашивал безвкусную овсянку.

— Неплохо! — похвалил Кальман. — Надо сдобрить эту остроту глотком вина.

Сиделка безропотно извлекла из-под кровати бутылку эгерского красного и бокальчик. Наполнив его, она поднесла вино к носу Кальмана, после чего сделала добрый глоток. При этом они оба пожелали друг другу доброго здоровья.

Каша и гуляш были доедены, и сиделка попыталась оттянуть ремешок на юбке, но это ей не удалось.

— Вы такой обжора, господин Кальман, что скоро на мне ничего не будет сходиться.

— На мой вкус легкая округлость стана лишь красит женщину. Вы очень посвежели, милая Ирмгард.

Сиделка покраснела.

— Вы ищете?..

Кальман взял ее руку и поднес к губам.

— Ой, мои руки пахнут гуляшом! — вскричала сиделка.

— Это и прекрасно, — заметил Кальман. — А теперь, по обыкновению, немного подымим.

Сиделка чуть поколебалась, потом вынула из кармашка халата сигару, зажигалку, под села к Кальману, который собственноручно отрезал кончик сигары, закурила и выпустила изо рта голубой дым. Ноздри Кальмана жадно раздулись, он ловит сладкий аромат «кэпстайна» — курить ему строжайше запрещено.

— Ах, господин Кальман, вы сделаете из меня заядлую курильщицу, — не без кокетства сказала Ирмгард.

— Надо же иметь хоть какой-то порок. Не то вас живьем возьмут на небо. А мне не хотелось бы лишиться моей верной Ирмгард.

— Вы всегда смеетесь надо мной! — Ирмгард притворялась обиженной, но в глубине души была донельзя польщена. — С моей стороны не будет бестактным вернуться к прерванному разговору?

— Ничуть. Но при одном условии: за картами.

Ирмгард достала порядком заигранную колоду и сдала: половину карт Кальману, половину — себе, «пьяница» — единственная карточная игра, которая его не утомляла.

— Вас интересует, Ирмгард, чем занимался я все эти годы без музыки? Стоп!.. Не думайте меня обмануть: дама бьет валета. — Он жадно забрал взятку. — Переодевался: пиджак, визитка, смокинг, фрак, шляпа, котелок, цилиндр, замшевые, кожаные, лакированные туфли. Что еще?.. Обедать: дома, в ресторанах, клубах. Приемы, приемы, приемы.

Что-то мне присуждали: какие-то степени, награды. Поль Бонкур вручил офицерский крест Почетного легиона. Ах, это было уже при вас. Но балатонский лед не трещал, нет... Ирмгард, не жульничайте, червонный туз мой... Каждому творцу надо немного недобирать во всем: в любви, признании, деньгах, особенно в последнем. Иначе душа засыпает. Деньги текли ко мне со всех материков. Хорошо еще, что Верушка обладает редким умением их тратить. Наша жизнь была под стать оперетте, она шумела, пенилась и вся шла под музыку. Верушка неумолимая танцовка... Ну, что еще?.. Радовал Чарльз своей музыкальной одаренностью. Развлекали и болезни: один инфаркт, другой, перелом руки, инсульт, все это очень наполняет жизнь. Но все-таки не до конца. И после долгих колебаний я взялся за «Леди из Аризоны». Это моя благодарность приютившей нас стране. Боюсь, что благодарность слабая. Остались техника и навыки, вдохновение ушло. Да и как могло оно не уйти в напряженной пустоте моей жизни. И все-таки мне хотелось бы дожить до премьеры...

— Дожить! — с негодованием вскричала Ирмгард. — Если хотите знать, такие люди, как вы, вообще не имеют права умирать.

— Сильно сказано, Ирмгард, хотя вы расходитесь с Гёте. Тот считал смерть самым красивым символом из всех, придуманных людьми. Так или иначе, но вы проиграли, Ирмгард, хотя ваш проигрыш не идет в сравнение с моим. Вы пьяница. Вы не можете без рюмки кюммеля.

Ирмгард покорно достала из ночного столика маленькую бутылку «Доппель-кюммеля», налила в мензурку и медленно выцедила ее. Кальман делал глотательные движения, потом облизал губы.

— Сдавайте, Ирмгард, может, возьмете реванш... Мне не о чем думать, наверное, поэтому я все чаще задаюсь мыслью: а мои старые оперетты имеют хоть какую-нибудь ценность? Знаете, меня это по-настоящему мучает.

Ирмгард сделала порывистое движение протеста.

— Вы не можете быть объективной, Ирмгард, вы слишком привязаны ко мне. И я к вам привязан. Все мои теперешние радости от вас. Запах гуляша и запах сигары, выпитое вами вино и рюмка кюммеля, азартная карточная игра, умный разговор. Я отраженно наслаждаюсь жизнью. «На старости я сызнава живу». Кто это сказал?.. Неважно. Я могу с полным правом отнести к себе эти слова... У нас не испытано еще одно удовольствие: просмотреть курс акций.

— Это перед сном, вместо сказки. Господин Кальман, а почему вы не вернулись в Венгрию?

— Спросите Верушку, Ирмгард. Она вам скажет: потому что фашисты убили моих сестер Илонку и Милекен. Как будто весь народ отвечает за преступления кучки вырождков!.. В Венгрии мало танцевали после войны.

— Вы хотели жить в Париже?

— Нет. Если не дома, то хотя бы в Швейцарии. Я всегда любил тихий Цюрих, и меня там любили. Но это слишком мелко для Верушки. Она сознает свое назначение в обществе и не желает манкировать высокими обязанностями. Мне создали Цюрих на дому. Тишина, полная изоляция, за окном деревья, на столе эдельвейсы.

Дверь распахнулась, и влетела запыхавшаяся Верушка.

— Ну, как вы тут, мои дорогие?

— Ты уже вернулась? — со сложной интонацией спросил Кальман.

— Только принять душ и переодеться. Там было ужасно душно. Хорошо вам прохладиться, а у меня еще благотворительный базар.

— С танцами? — невинно спросил Кальман.

— Не знаю. Может быть, немного потопчемся потом, для разрядки. Ты хорошо себя вел?

— Как самый послушный мальчик, — подделываясь под Верушкин тон, ответила сиделка.

— Ей-богу, вам позавидуешь! Идиллия, да и только.

— А ты оставайся с нами, — лукаво предложил Кальман. Верушка притуманилась.

— Каждый должен нести свой крест, Имре. Общество не прощает дезертирства. Я должна быть на посту.

— Не щадишь ты себя, Верушка!.. А знаешь, я закончил оперетту «Леди из Аризоны».

— Ого! — голос обрел неподдельную серьезность. — Ну, Имрушка, ты молодец! Так бы взяла и поцеловала... Теперь у твоей женушки прибавится хлопот. Реклама, пресса, интервью. Но я этого не боюсь.

— Спасибо, родная. Ты — стойкий оловянный солдатик.

— Не сомневайся... — Она чмокнула Кальмана в макушку и устремилась к дверям. Здесь, что-то вспомнив, она повернулась и спросила кокетливо: — Надеюсь, главная героиня — как всегда, я?

— А как же иначе? — бодро ответил Кальман.

Верушка послала ему воздушный поцелуй и скрылась.

— А кто у вас главная героиня? — поинтересовалась Ирмгард.

— Лошадь, — прозвучал спокойный ответ.

Смущенно кашлянув, Ирмгард сказала:

— Господин Кальман, я знаю вас уже несколько лет, но кажется — всю жизнь. Вы всегда посмеиваетесь, даже когда вам плохо. Скажите, а вы знаете, что такое слезы? — и, выпалив это единым духом, она залилась краской, проникшей и за вырез белого халата.

— Боже мой, Ирмгард! — засмеялся Кальман. — В детстве я был отвратительным плаксом. Ревел по каждому поводу. В школе меня часто обижали — за маленький рост, наивность, полное отсутствие спортивности, но я научился пускать в ход кулаки и перестал плакать. Да, да, можете себе представить?.. Паула растопила мое бедное сердце, я опять начал сочиться, как незавернутый кран. Но Верушка его завернула, до отказа. Я стал непробиваемым. Впрочем, вру. Я заплакал, когда узнал, что в освобожденном Будапеште, в первом открывшемся кинотеатре показывали мою «Княгиню чардаша». И знаете, кто ее снял? Русские. Во время войны, такой войны, они поставили на Урале фильм по моей оперетте. Я так жалел, что мне не удалось увидеть... Знаете, я каким-то таинственным образом связан с Россией, где никогда не бывал. В блокадном Ленинграде тоже поставили «Сильву» — так они называли «Княгиню чардаша». Певучая венгерская крестьяночка подымала настроение голодным людям. Русские даже выпустили листовку, мне ее прислали. — Кальман с усилием приподнялся, достал бювар из тумбочки и вынул тонкий голубой квадратик бумаги.

Он протянул его Ирмгард, но листовка выскользнула из его пальцев и, покачиваясь в воздухе, словно в ночном небе войны, медленно опустилась на пол. Сиделка проводила взглядом коротенький полет и лишь тогда подняла листовку.

Она увидела красивый театр с колоннами, афиши на стене, темные фигуры людей, голые рослые деревья.

— Какой чудесный театр!.. И сколько людей!.. Надо же!.. А кто ее вам прислал?

Кальман не ответил.

— Уснул, — нежно сказала Ирмгард и поправила подушку. — Даже про акции забыл.

Кальман спал. И снова, после многих, многих лет, ему снился тот самый сон о Балатоне, который в детстве был явью, проникающей в сновидение: со страшным, оглушительным грохотом рвется ледяной покров. И как всегда, бессознательно провидя некий перелом жизни: то ли

радостный, то ли горестный, — он стонал, метался, вскрикивал.

Устроившаяся рядом в кресле с откидной спинкой Иргард поднялась, стала успокаивать больного. Он продолжал метаться и стонать. Она прилегла рядом, прижала его голову к груди.

— А?.. Что?.. — он открыл глаза. — Это вы, Иргард?

— Вам неприятно?

— Что вы! После иллюзии выпивки, курения и насыщения мне не хватало лишь иллюзии близости. Не обижайтесь, Иргард, это шутка. Мне приснился старый, страшный и любимый сон. Да, так бывает: страшный и любимый.

— Спите, спите... Ничего не бойтесь. Я с вами...

КОНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ

Звучат последние аккорды «Леди из Аризоны». Зал стоя рукоплещет, требуют автора.

Он выходит своей тяжелой походкой, волоча ногу, в черном элегантном фраке, сидящем несколько мешковато. Белая крахмальная рубашка подчеркивает желтизну лица. Чуть приметным наклоном головы Кальман отвечает на овации зала. Его темные, будто исплаканные глаза равнодушно пробегают по лицам приветствующих его мужчин и женщин. Внезапно зрачки наполняются удивлением и жизнью. В ложе бенуара он обнаруживает странную компанию: завитые белые парики по моде XVIII века, кружевные воротники, камзолы. Боже мой! Ему аплодируют сам великий Иоганн Себастьян Бах и его удачливый соперник Гендель! Он видит округлое лицо Моцарта с чуть припухлыми щеками, а рядом великолепную голову Бетховена с гривой путаных седеющих волос. А затем он видит Гайдна, Шуберта, Верди, Листа, Чайковского!.. Они все пришли сюда, чтобы воздать ему должное, они признают его своим. Удивление, ошеломленность, гордость до боли — все уходит, уступая место святой умиротворенности: он получил ответ на терзавший его душу вопрос: зачем он жил.

Он сходит со сцены и, уже не волоча ногу, легкой и твердой поступью идет сквозь расступающуюся толпу к ложе бенуара в братские руки тех, кому он поклонялся, смиренно сознавая свою малость перед ними. И вот они принимают его в свой круг.

— Неужели то, что я сделал, чего-то стоит? — говорит он с глазами полными слез.

— Вы гений! — порывисто воскликнул Моцарт. — Хотите услышать это от самого Сальери, не сказавшего и слова неправды. Куда он опять запропастился?

— Он все время ищет Сальери, — с улыбкой заметил Чайковский, пожимая Кальману руку. — Минуты не может без него.

— Бедняга, — вздохнул Ференц Лист, — глупую сплетню, пущенную невесть кем, он замаливает, как собственный грех.

— Нет второго такого сердца, как у Моцарта, — с глубокой нежностью сказал Чайковский.

Кальман вглядывался в любимые лица, и внезапная догадка пронзила сознание.

— Если я вас вижу... говорю с вами... значит, я тоже умер?

— Конечно, дорогой, — спокойно сказал Чайковский. — Почему это вас пугает?

Кальман промолчал. Догадка оказалась страшной лишь в первое мгновение: он слишком привык быть живым. Но что может быть лучше, чем оказаться среди таких людей? Он, видимо, отошел во сне, без боли, страха и мучений, в добрых руках Иргард — когда-нибудь они встретятся снова...

Театр исчез, теперь все они двигались по тянувшейся вверх дороге, странной, клубящейся, словно облака, залитой серебристым светом дороге; ноги не чувствовали тверди, но это не мешало, идти было легко, надежно, мышцы не напрягались, и он чувствовал, что уже никогда не испытает усталости.

— Куда мы идем? — спросил он Чайковского.

— К Главному капельмейстеру, разумеется. Вам же надо представиться.

— Ну конечно, как я сам не догадался!..

— Не робейте, мы будем с вами.

— А мои друзья, — неуверенно проговорил Кальман, — Якоби, Лео Фаль?..

— Вы всех увидите, попозже, — Чайковский внимательно посмотрел на Кальмана. — Понимаете, здесь тоже существует известное разделение...

— Как — и в раю?..

— Меньше, чем где бы то ни было, но полное равенство, очевидно, недостижимо. Ведь и у ангелов есть чины и степени. Михаил и Гавриил — действительные тайные со-

ветники, а есть крылатые коллежские регистраторы. Вы попали, вполне заслуженно, в высший круг. А у милейшего Якоби — какой славный человек! — Оскара Штрауса, Лео Фалля — своя компания. Все любят легкую музыку, но стесняются в этом признаться. Рай не исключение.

— А кто же из наших...

— ...в «высшем обществе»? — со смехом подхватил Чайковский. — Только Оффенбах, Иоганн Штраус и вы. Долго не знали, что делать с Легаром. Его подвел недостаток самобытности. Вот вы не дали захватить себя стихии венского вальса.

— Мой дорогой отец! — воскликнул Кальман. — Его совет пригодился и на земле, и на небе. Держись чардаша, говорил он, и ты спасешься! Боже мой, сколько же я тут узнаю! — произнес он растроганно. — Я разговариваю с вами, могу обратиться к Баху, Бетховену!.. Голова идет кругом.

— Постепенно вы привыкнете и будете считать это в порядке вещей.

— Петр Ильич, я имел наглость считать себя вашим учеником. Никого не любил я так, как вас, и никому так не верил. Можно я еще кое о чем спрошу?

— Пожалуйста, дорогой. О чем угодно.

— Святой Петр в форме?

— Как вам сказать? Вы же знаете, его распяли вниз головой. С тех пор он страдает приливами крови. Но вообще, старик крепкий.

— А по службе?.. Справляется?..

Петр Ильич сдержал шаг и пристально поглядел на Кальмана.

— Я понял, что вас беспокоит. Можете быть уверены, ни один посторонний сюда не проникнет. У святого Петра глаз — алмаз. Он стоит в воротах, позванивая ключами — признаться, раздражающая привычка, ключи у него почему-то всегда вызывают первые три такта из «Ночи на лысой горе» нашего Мусоряннина, — видит все. Обмануть его невозможно. Так что будьте уверены: вас тут не потревожат. Никто. Никогда.

Тени великих музыкантов продолжали двигаться по серебристой дороге, к чертогу Вседержителя.

Поезд, отошедший много, много лет назад от платформы будапештского вокзала, прибыл по назначению...

ВСПОМНИМ О ГРЕШНОЙ ЗЕМЛЕ...

Если в небе был порядок, то на земле обстояло куда хуже.

Бьется, словно в приступе эпилепсии, на грязных подмостках Джонни Холлидей. Ревет, стонет, беснуется наэлектризованная толпа: волосатые, с пеной на губах юнцы и растерзанные, почти обнажившиеся девки. Холлидея сменяет лондонское музыкальное трио, которое в исходе шестидесятых едва ли не побило рекорд лжемузыкального безумия; каждый из участников имел свое амплуа: дебил, баба (естественно, то был мужчина) и бесноватый, это трио доводило молодую аудиторию до пределов скотства. Мелькают и другие герои на час, сводившие с ума растерянную молодежь семидесятых и, чудовищно нашумев, канувшие неведомо куда. Гремят кошмарные дискотеки с неистовствующими танцорами; в их танцах нет сближения, нежности, нет «пары», вокруг одного шелкающего в прострации пальцами и двусмысленно вихляющего бедрами кавалера может изгаляться с десяток «дам»; здесь достоинство музыки оценивается лишь по степени ее громкости, здесь в смердящей потом, кишасей влажными телами полутьме утрачивается ценность человека; здесь нет ни мужского, ни женского начала, никто не помнит, какого он пола, нет ни красоты, ни праздника, лишь наркотическое забвение, уход от реальности. Грохочут рок-оперы, разрушающие барабанные перепонки, оргийное громовое хамство, в которое так быстро выродилась новая эстетика музыкального спектакля.

Страшнее всего поведение зрителей, особенно на концертах любимых «звезд», то пресловутое «соучастие», в котором иные социологи видят ключ к пониманию движения времени и загадочной сути граждан завтрашнего мира. Деграция музыки естественно сочетается с деграцией зрителей. Это поведение можно определить словами одного французского писателя: «Все жалкое, что есть в человеческой природе, разнуздывается перед вечностью». Конечный смысл этих вакханалий — отказ от самоуважения и уважения к чему-либо вне тебя. Ведь идолов тоже не щадят: их обсыпают всякой дрянью, заглашают, в них швыряют жеваной бумагой, окурками, чуть ли не оплевывают; они не более, чем повод для разнуздывания дурных страстей.

А завершится все тем безмерно печальным зрелищем, что явлено на знаменитой картине Виктора Васнецова «После побоища», только вместо богатырей в кольчугах

и шишаках, на опустевшей земле, под багровым солнцем и тенями громадных хищных птиц, будут валяться длинноволосые, бесполое молодые люди, а вместо мечей и бердышей — искореженные электроинструменты.

И тогда в отдалении возникнет фигура одинокого цыгана. Он взмахнет смычком, и польется вечная чистая песня. Встанут с земли поверженные с юными, прекрасными, задумчиво-тихими лицами — и это будет спасением.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Эти вкусно пахнувшие, обставленные в уютном стиле конца прошлого века кафе будапештцы до сих пор называют по имени прежнего владельца — «Жербо». В одном из таких кафе, по всей вероятности помнившим Кальмана, мы и встретились. Место встречи, конечно, выбрал Пал, театральный критик на покое, сильно пожилой, смуглый и очень крепкий человек (язык не повернется сказать — старик), которому чуть приметная хромота и зажатая в руке тяжелая, с медным набалдашником трость придавали вид ветеранской уверенности и напора, хотя Пал никогда не носил военной формы.

Я все откладывал нашу встречу, запланированную общими друзьями чуть ли не на день моего прилета в Будапешт. Они считали, что путь к Кальману идет через Пала, в первую очередь через Пала, его современника, близкого знакомого, отчасти коллеги, поскольку Кальман долгое время подвизался в газете в качестве музыкального критика. Но я боялся, что собеседник сразу превратится в моего наставника, уж слишком ярок был отсвет творца «Княгини чардаша» на его челе. Меня всегда страшило попасть под пресс чужого, выношенного мнения, готовой «теории» творца и человека. Это лишает внутренней свободы, гасит то, что пышно именуют «творческим импульсом». Мне надо до всего доходить своим умом, даже если путь предстоит окольный и неторный. К тем писателям, поэтам, композиторам, о которых мне довелось писать, я старался приблизиться прежде всего через их творчество, вживаясь в человека с помощью созданного им, а не исследователями. Каюсь, не люблю специалистов, мне с ними душно. «Очевидцев» тоже не больно жалую, они, как правило, ничего не помнят по-настоящему, но каждый цепко держится за свою легенду. Если я пишу о композиторе, то мой строительный материал: много, много

музыки, биографические сведения, минимум писем и воспоминаний. И ко дню нашей встречи с Палом в «Жербо» я не только наслушался Кальмана до отупения, но повидался с его родственниками и с очаровательными в своей легкой и опрятной старости актрисами — участницами кальмановских премьер, — каждая показывала, как драгоценность, сухую увядшую руку, которой касались губы благодарного маэстро, наскочил я и на сочинителя веселой музыки, то ли продолжавшего, то ли преодолевавшего традиции Кальмана, и на дряхлого музыковеда, судившего о нем на уровне тех критиков, что обвиняли «Княгиню чардаша» в сервизизме, и на согбенного режиссера, ставившего «Наездника дьявола» в одном провинциальном театре до войны, прочел мемуарную книгу Веры Кальман, прелестные и досадно краткие воспоминания самого композитора, а главное — выработал свое собственное к нему отношение. Словом, я уже не боялся встречи с Палом.

Мы заняли столик с круглой мраморной столешницей, сделали заказ, обмениваясь ничего не значащими замечаниями. Заказ был выполнен на диво быстро, перед каждым оказалась чашка с дымящимся кофе, кусок вишневого торта, сливочница и стакан с холодной водой.

Аккуратно откусив прекрасными вставными зубами кусочек торта и запив глотком кофе, Пал с решительным видом заявил, что «Венгрия — страна Бартока, а не Кальмана», и для убедительности стукнул ладонью по мраморной крышке столика.

— Мне кажется, вы себя обедняете. Венгрия — страна Листа, Эрккеля, Бартока, Кодая, Кальмана и Легара. При желании список можно увеличить.

— А зачем?

— Искусство — это трамвай, в котором никогда не тесно.

— Чьи слова? — спросил он заинтересованно.

— Аристотеля.

Он серьезно кивнул, но тут же спохватился и захохотал:

— Маленькие нации должны быть разборчивее к своим знаменитостям.

— Скорей уж — бережнее.

— Это тоже из Аристотеля?.. Поймите, Кальман стал писать оперетты, потому что не выдержал конкуренции Бартока и Кодая на ристалище серьезной музыки.

На это я сказал, что он объяснил мне заодно и феномен Штрауса, поднявшего вальсовую музыку на небывалую высоту. По-видимому, все дело в том, что он не потянул в заоч-

ном соперничестве с Гайдном и Шубертом, ему ничего не оставалось, как стать «королем вальса».

— Но вы же не станете утверждать, что равным творческим усилием созданы «Варварское аллегро» и «Принцесса цирка»?

Я с простодушным видом спросил, что стоило тяжело нуждавшемуся Бартоку стиснуть зубы да и размахнуться «Принцессой цирка» — на всю жизнь хватило бы.

— Барток был слишком принципиален и горд для этого.

— Но не считал же он унижительным для себя просить поставщика музыкального брик-а-брака устроить его сочинения в печать. Просьба, кстати, была немедленно выполнена, о чем Барток нигде не упоминает.

— Зато Кальман хвастается напропалую.

— Не хвастается, а гордится, что помог великому человеку. Но мы говорим не о том. Барток просто не мог сочинить «Принцессу цирка», как Кальман — «Варварское аллегро». Разные типы одаренности. Даже гениальности. Ведь назвал же Шостакович, творец величайших симфоний и посредственной оперетты «Москва, Черемушки» Кальмана гением.

— Он его в самом деле так назвал?

— Да. И сделал это печатно. Из творцов легкой музыки он возвел в гении лишь Кальмана и Оффенбаха, не причислив к ним короля вальса Иоганна Штрауса.

— Каждый имеет право на собственное мнение.

— Конечно. Но надо полагать, что в существе таланта творцы разбираются лучше критиков. Один музыковед — не из числа самых глупых — утверждал, что Кальману было трудно выдвинуться в Вене, тогда он решил написать великую оперетту. И возникла «Княгиня чардаша». А не прими он решения, так бы и сорил всяким дрянцом.

Видно, вкусный торт и ароматный кофе подействовали умиротворяюще на моего собеседника.

— Давайте считать, что тема «Барток—Кальман» еще ждет своего исследователя.

— А вы считаете, что такая тема правомочна?

— Они были соучениками по консерватории, дружили, годы шли рука об руку. Кальман привил Бартоку любовь к Чайковскому — ненадолго, правда, но в «Кошут-симфонии» ощущается влияние увертюры «Тысяча восемьсот двенадцатый год». Они и позже встречались, Барток пытался обратить Кальмана в свою политическую веру. Да тут материала на несколько диссертаций!

— Кому они нужны?

— А кому нужны девяносто девять процентов всех диссертаций? Только самим диссертантам. Но в оставшемся одном проценте оказалась «Частная теория относительности» Эйнштейна, и этим амнистирован весь остальной мусор.

— Я надеялся, что вы расскажете мне что-то новое о Кальмане. Вы же знали его...

— Ну, знал — слишком громкое слово! — живо перебил Пал. — Что мы вообще знаем друг о друге? Мы виделись с десяток раз, как-то перекинулись в картишки. Он играл вдумчиво, медленно и плохо. На проигрыш разозлился, но умеренно. Был не речист. А вообще — серьезный, положительный, работающий человек. Мастер своего дела. И набит мелодиями до ноздрей. Опереточный Верди.

— Это общеизвестно.

Пал задумался, а потом сказал с веселыми искорками в карих непогасших глазах:

— Хотите, я расскажу вам маленькую историю, никому или почти никому не известную?

— Еще бы! — вскричал я. — Вишневый торт мне вреден, от кофе — сердцебиение, а хулы на Кальмана я наслушался предостаточно.

— Жил-был обожатель Бартока и, естественно, ненавистник Кальмана, журналист, писавший иногда о музыке, хотя музыкальным образованием не обладал. Он был любителем высшей пробы — с абсолютным слухом, завсегда ем концертов, другом крупных музыкантов. К его мнению прислушивались. Он много сделал для популяризации Белы Бартока. Прожив долгую, очень долгую жизнь, он долго, очень долго, хотя и без особых мучений, умирал от болезни, ставшей бичом нашего времени. Мы все родились под тропиком рака. Угасал медленно, отказываясь постепенно от всего, что любил. А любил он многое: тонкую еду, хорошее вино, женщин, общество друзей (он попрощался с ними, когда слег, и запретил навещать себя); наконец очередь дошла до книг и газет, телевизора и последних известий по радио, его не интересовало, что происходит в мире длящих жизнь. Из живых существ при нем оставалась лишь старая жена, из неотвратимостей — музыка. Когда он не спал и не проваливался в забытие, то включал магнитофон и слушал Бартока, иногда крутил приемник, чтобы найти Бартока в пустом шуме мироздания. Незадолго до кончины он уже не мог прослушать какую-нибудь вещь Бартока до конца: не хватало ни душевных, ни физических сил. Теперь он крутил ручку приемника почти машинально, выхватывая из хаоса случайные звуки. Однажды он наткнулся на знакомую, но

забытую мелодию. Он стал слушать и слушал так долго, что из кухни прибежала обеспокоенная жена. Она-то знала, как ненавистна ему эта музыка, и решила, что он кончается.

Слабым движением он отвел ее руку, протянувшуюся к приемнику.

— Не надо... — прошептал он. — Мне так хорошо... Эти молодые женщины... Им весело... Они, наверное, танцуют... Как прекрасен и радостен мир!... Я наконец-то понял... Жить можно... нужно с Бартоком, умирать — с Кальманом...

И этот поклонник творца «Варварского аллегро» отошел под большой финал не то «Княгини чардаша», не то «Марицы», вы же знаете, я плохо разбираюсь в опереттах...

СОДЕРЖАНИЕ

Князь Юрка Голицын	5
Блестящая и горестная жизнь Имре Кальмана	151

Часть I

Источники	152
Величие и падение зерноторговца Кальмана	154
Изгнанник	164
Музыка земли	169
Юность немятежная	171
Героическое решение	175
Маршрут: «Будапешт — Бессмертие»	183
Паула	186
«Цыган-премьер»	190
Бунт Паулы	203
«Княгиня чардаша»	208
Время славы	220
«Марица»	224
Император	228
Не уходи!!	230
Разговор с корреспондентом	234

Часть II

Ничто не кончилось	239
Верушка	243
Счастье	259
Выбор	266
Платиновая норка	272
Возвращение	278
Открытый дом	282

Под осенней звездой 287
Конечная станция 292
Вспомним о грешной земле 295
Вместо эпилога 296

**Юрий Маркович
Нагибин**

**Музыканты
Повести**

Редактор **О. Кугук**
Художественный редактор **А. Дманиш**
Технические редакторы **И. Децко, В. Котова**
Корректоры **Г. Панова, О. Червякова**

ИБ № 3965.

Сдано в набор 15. 10. 85. Подписано к печати 03. 10. 86. А 13181. Формат 84х108/32. Гарнитура литер. Печать офсетная. Бумага офсетн. № 1. Усл. печ. л. 15,96. Усл. краск.-отт. 61,74. Уч.-изд. л. 17,92. Тир. 200 000 (100001-200000) экз. Зак. 4402. Цена 1 р. 60 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 445043, Тольятти, Южное шоссе, 30